Д 68

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

РОЛЛАН ДОРЖЕЛЕС

ПРОБУЖДЕНИЕ МЕРТВЫХ

ПЕРЕВОД Э. Л. ВЕЙНБАУМ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ А. Н. ГОРЛИНА

ОБЪЕДИНЕННАЯ БИБЛИОТЕКА И. К. П.
162662

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД
1924

Государственное Издательство
типография
ПЕЧАТНЫЙ ДВОР
Ленинград

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР
№ 162662

Гиз. № 6902. Ленинградский Гублит № 4960. Отп. 5.000 экз.

Предисловие к русскому изданию.

В глухой ночи империалистического Запада „Пробуждение мертвых“ сверкает произведением, исполненным мощи и жизни. Мы не сомневаемся, что его остро почувствует сердце русского читателя, гражданина трудовой России, ибо книга эта рождена великой человеческой скорбью. Подобно тому как „В огне“ Анри Барбюса отразило ужасы войны, в „Пробуждении мертвых“ запечатлены бессмертными чертами бедствия послевоенного периода. Читатель услышит в этом произведении вопль безмерного страдания, подымающийся с земли, изрытой снарядами и обезлюдевшей вследствие мировой бойни. К нему доносется также дыхание и грозный ропот неодолимого, как буря, бунта, взметающего прах в пустыне смерти, где белеют людские кости, на которых прогнившее и разлагающееся общество еще пытается, при помощи новых преступлений, поправить свои дела, присоединяя к убийству воровство, к безумному кровопролитию — эксплоатацию. В грандиозном видении, которое, быть может, вдохновит пролетарского художника, читателю предстанет зрелище современного капиталистического государства, до самых своих основ потрясенного одним

лишь пробуждением слишком скоро забытых мертвецов. Знаменитая отныне карикатура Гранжуана изобразила под личиной гиены зловещего Пуанкаре, вбирающего в себя насыщенный разложением кладбищенский воздух. Произведение Роллана Доржелеса является ответом на эту карикатуру. Приподнимая покров тонкого слоя наспех насыпанной земли, оно обращает наши взоры туда, где павшие жертвами великой войны сбрасывают с себя оковы вечного сна, чтобы схватить за горло шакалов — господ настоящей минуты.

В этом страшном поединке между людьми живыми и мертвыми, живые — мертвы, а мертвые одерживают над ними верх. Ибо это не только призраки, это — подлинная действительность. Те, кто, по мнению гнусных спекулянтов, порожденных гнилым общественным строем, были погребены навсегда, — живы в людях и направляют их шаги. Сначала смутно и неопределенно, затем со все возрастающей силой, они овладевают их сокровенными помыслами и мало-по-малу подымают их руку на подвиг мести. Там, где, в густо напоенной кровью земле, ослепленные правители рассчитывали найти еще золото, они лицом к лицу сталкиваются со смертью. Наступает момент решительного сведения счетов, от которого, как им казалось, они избавились навсегда.

ПРОБУЖДЕНИЕ МЕРТВЫХ

РОМАН

I.

— Ах, какая красавица! И вся белая! — воскликнул какой-то весельчак, сидя верхом на стене.

Ракета, описав кривую, рассыпалась на своем пути к звездам, и вдруг из ночной темноты выступил целый уголок пейзажа. Лесистые холмы и поля на склонах левого берега Эны, на которых громоздилось несколько домишек, показались, под ярким сиянием, совсем близкими; затем, колеблемый с минуту ветром, свет стал гаснуть, все быстрее и быстрее, и все видение вновь погрузилось во мрак, поглотивший вдали и деревеньку, в которой китайцы пускали фейерверк.

Как только восстановилась темнота, холод стал чувствоваться резче, и, в течение нескольких мгновений, ослепленные глаза не различали звезд. Люди голосом нащупывали друг друга.

— Ты здесь, Морис?

— Да, здесь...

Ночь была непроницаемо темной; не видно было ни одного освещенного окна, ни фонаря, и только по звучавшим то тут, то там окликам можно было догадаться о присутствии живых существ.

Каждый вечер собирались таким образом обитатели Кресси для прогулки на „Горе“ и, любуясь фейерверком, беседовали о приезжих и о необходимости помощи, которая ниоткуда, однако, не поступала.

Ракеты — то красные, то белые, то зеленые — появлялись одна за другою, как бы подымаясь на дрожавшей золотой проволоке. В траншеях их нашли несколько сот ящиков, и китайцам это развлечение было обеспечено надолго. Иногда вспыхивал целый букет, в котором перекрещивались огненные стебли, и тогда, в этой неожиданно наступавшей заре, выступала, совершенно обнажаясь, вся уснувшая местность. Это зрелище вызывало возгласы восхищения. Даже начинал петь вводимый в заблуждение петух...

Жак Ле-Водуайе прижал к себе свою жену.

— Тебе хорошо?—тихо спросил он.—Тебе не холодно?

— Нет... Хорошо...

Но Жак взял плащ Елены и натянул его ей на плечи, чтобы лучше ее закутать. Вокруг них встречались люди, которые не виделись в течение пяти лет, и, сталкиваясь носом к носу, громко смеялись, стараясь разглядеть друг друга. Дети с криком играли в прятки, пользуясь ночной темнотой.

Наступило затишье, после которого вспыхнула одинокая красная ракета.

— Заградительный огонь! — громко крикнул старый солдат, вспомнив об окопах.

Жан захотел объяснить это восклицание своей жене.

— Понимаешь, на фронте, когда требуют артиллерию...

Но Елена сейчас же схватила его за руку:

— Не говори мне о войне, умоляю тебя!..

Он замолчал, и, как бы прося прощения, тихо пожал ее руку. Затем, чувствуя, что ветер стал холоднее, он приподнял воротник своего пальто. Взвилась еще одна красная ракета, за нею — другая.

— Недолет! — прозвучал в темноте тот же голос.

Красную звезду унесло ветром. Она упала, должно быть, в реку, как раз там, где траншея тянулась по береговому откосу.

Со стороны китайского лагеря послышались взрывы гранат, словно желтолицым захотелось усилить гулом и грохотом иллюзию войны.

— Ну, вот, они опять начинают драться, — проворчал Дидье Роже, фермер из Маруваля. — В прошлую ночь они забавлялись так больше двух часов, и пришлось вызвать взвод солдат, чтобы разогнать их.

Крестьянка, сидевшая недалеко от них на куче досок, высказала и свое мнение:

— Если бы, в один прекрасный день, они перебили друг друга, это было бы не так плохо.

В ту же минуту на поле высыпала группа китайцев с фонарями в руках.

— Вот они тут как тут! Целая банда! — воскликнула Елена.

И, в самом деле, то было шествие китайцев, возвращавшихся в свой лагерь. Они шли процессией, закутанные либо в слишком длинные солдатские шинели, либо в изношенную штатскую одежду, которая висела на них; на одних были надеты кепи, на других бескозырки, надвинутые до ушей; один китаец, очень высокого роста, напялил даже себе на голову меховой малахай, украшенный помпоном.

— Посмотрите-ка на них, — снова сказала сидевшая женщина: — разве это не настоящие ряженые!

Для того, чтобы лучше видеть, или просто для того, чтобы позабавиться, несколько китайцев устроили себе большие фонари, на которых были нарисованы разноцветные драконы, что придавало их отряду вид факельного шествия. Некоторые несли дождевые зонтики и клетки для птиц. На-ходу они смеялись и тараторили без умолку, а рожи у них были хитрые-прехитрые.

— Какие смешные! — заметила Елена, видя, как неохотно они удалялись.

Шум толпы утих. Скоро виден был только большой желтый фонарь, раскачиваемый чьею-то рукою. Оживившаяся на одну минуту площадь стала внезапно еще печальнее. На левом берегу реки все реже взлетали ракеты, и тянувшаяся вокруг обширная ночная пустыня производила потрясающее впечатление. Елену охватил озноб.

— Вернемся, — сказала она: — больше не на что глядеть.

И, не ожидая, она взяла мужа под-руку и увлекла его. Дидье Роже последовал за обоими супругами, у которых он был на обеде.

— Да, вы капризны, — сказал он шутя. — Париж портит вас... Подумайте-ка: ведь не все обитатели освобожденных областей имеют, как мы, китайцев, которые могут показывать им фейерверк. Мы еще на особом положении.

Они пошли по узкой улице и увидели развалины. Война ничего не пощадила. Шаткие стены, кучи мусора, большие черные дыры... То тут, то там виднелся висевший над пустотою остов крыши, лишенной черепицы, или вдруг появлялся фасад, за которым не было ничего; он торчал, как декорация, зияя отверстием развороченной снарядом стены. Редко попадавшиеся, еще неразвалившиеся дома имели угрюмый вид, благодаря пустым окнам, похожим на выколотые глаза. На каждом шагу мелькали широкие трещины, сквозь которые проступало небо...

Спотыкаясь о камни, Елена, вцепившись в руку мужа, указывала ему, проходя мимо, движением подбородка:

— Лавочка... булочная... табачная...

Еще дальше, около черной дыры какого-то погреба, возле которого торчали обломки стены, она сказала:

— Это вилла мадемуазель Фаржетон. Война разорила бедную женщину.

Из развалин робко выкралась кошка и одним прыжком перескочила через улицу.

— Вы долго жили перед войною в Кресси? — спросил Дидье Роже.

— Пять лет... Мой первый муж купил домик сейчас же после нашей свадьбы. Вы себе представить не можете, как красив был этот уголок...

Жак Ле-Водуайе с тоскою оглянулся вокруг. Как могла она так хорошо разбираться в местности!?

С обеих сторон тянулась пустопорожняя земля, заваленная щебнем, — только кучи его были немного выше, если разрушенный дом был больше. Даже шоссе было разворочено и прорезано колеями, так что прохожие поминутно выкручивали себе в темноте ноги. На месте опустошенной деревни было огромное свалочное место...

— Хватит для вас, архитекторов, работы, неправда ли? — спросил фермер.

— Да, хватит... Слишком много работы, слишком много! — повторил Жак.

Он указал на церковную колокольню, от которой оставалось только четыре обломка.

— Когда-то еще будут здесь опять благовестить к обедне!—произнес он с видом сомнения, качая головою.

— Ну, конечно, будут! Без этого не обойдутся!— возразил Дидье Роже. — Это произойдет скорее, чем думают... Вот увидите... В конце концов, ведь нет еще четырех месяцев, как война кончилась.

— Да, и еще ничего не сделано.

Фермер философски пожал плечами.

— Ба! Всю войну бездельничали, и все же в результате победа.

— Да, но цена, которую за нее заплатили...

Елена вдруг остановилась и стала прислушиваться.

— Слушайте!.. Слышите?

С юга ветер доносил звуки взрывов.

— Пустяки! опять гранаты! Они продолжают веселиться, — сказал фермер.

— Нет, это здесь, совсем близко... Вы не слышите?

Они прошли еще немного вперед и скоро расслышали голоса, выходившие, казалось, из-под земли. Среди груды разбитых камней был расчищен вход в погреб, и там, внизу, где оканчивались ступеньки, сквозь разошедшиеся доски двери пробивался перламутровой сеткой свет. За дверью выл мальчишка.

— Если ты не замолчишь, — говорил голос женский, — я пошлю за китайцами...

Было слышно также, как мололи кофе, и пахло супом.

— Эти только сегодня вернулись, — заметила Елена. — Странно, но Кресси как будто опять заселяется.

Ежедневно возвращались, таким образом, на старые места десятки обитателей. Не имея ни домов, ни денег, ни работы, они все же возвращались. Старики — вскарабкавшись на войсковые одноколки, а скарб и детишки — на тачках, причем никто не знал, придется ли ему завтра поесть. Устраивались в землянках, под листовым железом, там, где раньше спали немцы и французы, раскладывали соломенные тюфяки, и не прошло и трех месяцев после подписания перемирия, как под развалинами уже стала, словно таинственно прозябающее зерно, восстанавливаться жизнь.

У перекрестка большой дороги, там, где она спускается к Эне, уже поселилось около десятка семейств на их старых пепелищах; они починили стены досками, а вместо крыш положили листы пропитанной горной смолой бумаги. Наиболее догадливые или менее бедные из поселенцев немедленно превращали свои лачуги в лесной материал, а другие, лишенные всего, жили, перебиваясь со дня на день и умоляя о помощи проезжа-

вших мимо молоденьких мисс из У. М. С. А. [1]), автомобили которых плясали на колеях, и солдат из соседних лагерей, приносивших немцам и китайцам корзины с хлебом и мясом. Бельгийский продовольственный отряд тоже распределял продукты: кому пятьдесят кило манной крупы, кому тридцать коробок лососины, и кто больше охал, тот больше и получал, зачастую с тем, чтобы продать полученное менее удачливому.

— Откуда берется у них мужество возвращаться? — сказал Жак, когда они снова пустились в путь.

— Это не мужество, это необходимость, — поправил его своим хриплым голосом Дидье Роже. — Там они были беженцами, то-есть чем-то вроде нищих, между тем как здесь они — дома и, в свою очередь, могут свысока поглядывать на бедняков, приходящих сюда зарабатывать на пропитание... Если бы с ними лучше обращались в городах и деревнях, куда администрация выслала их, они не возвращались бы так скоро.

— Нет, возвращались бы, — возразил Ле-Водуайе. — Дело не в этом.

Движением головы он указал на немой мрак деревни и еще выше — на темный кряж холмов, терявшихся в ночной темноте.

— Все уничтожено, а все же это родная сторона...

У дома Ле-Водуайе фермер отвязал спавшую в оглоблях лошадь и простился со своими друзьями.

— Подумайте о моем плане, — крикнул он, уезжая, Жаку.

— Будьте спокойны... До скорого!

Супругам не было надобности проходить через калитку, чтобы войти в сад: стен не существовало. Перед

---

[1]) У. М. С. А. — начальные буквы названия общества Young Men Christian Association, то-есть „Союза Христианской Молодежи", в Америке *(Прим. ред.)*

остовом разрушенного дома, на месте прежней теплицы, германские военнопленные построили барак, и в нем-то, в ожидании того времени, когда будет отстроено их жилье, помещались Ле-Водуайе. Дикие кусты переплелись своими побегами поперек аллей, а на поломанных стволах высохших сосен оставалось лишь несколько обрубков ветвей.

Когда, пять недель тому назад, Ле-Водуайе, в воскресное утро, бледное и морозное, приехали в Кресси, Жак, ошеломленный, остановился перед домом, о котором так часто говорила ему Елена. Он увидел только три почерневших стены, без лестницы и крыши, посреди поросшей терновником пустопорожней земли... За два года, которые он провел на фронте, он видел, конечно, немало развалин от Артуа до Вердена, и знал, приезжая сюда, что найдет очень немного из своего имущества; но, несмотря на все, он был поражен тем, как мало это походило на знакомые ему фотографические снимки. Даже пейзаж был не тот: холмы обнажены, без виноградников, без домов, без деревьев.

— Вы едете в страну, где неприятель все сравнял с землей, — сказал ему какой-то чиновник на вокзале в Суассоне.

Так оно и оказалось в действительности. Деревня и вся округа были гладки, как пустыня: молот войны вколотил все в землю.

Елена удивила мужа своей энергией. Она только немного побледнела, сказала вполголоса: „Вот оно что!" — и, почти сейчас же овладев собою, стала хладнокровно обдумывать положение. Она поняла, что отсутствующие не получат ничего, и предложила Жаку, желавшему устроиться архитектором в разоренных областях, остаться жить в Кресси. Таким образом, ему можно будет следить за тем, чтобы их не обошли, и у него будет то преимущество, что он окажется на месте к началу больших работ. Жак согласился, и в следующее воскресенье, когда плотничьи инструменты еще не были вынесены из барака, они явились с грузовиком, на котором уложена была мебель, и Елена, лично помогавшая при кладке печки, впервые затопила ее.

Жизнь пионера прельщала молодого человека. Теперь ему стали противны и административные дела, и проверка счетов, и красные чернила, и вся бумажная волокита. Потеряв четыре года в окопах и госпиталях, он, в тридцать лет, считал, что ему невозможно создать себе положение в Париже; на бывшем же фронте, — думал он, — где тысячами надо было отстраивать дома, найдется место для деятельного человека.

Его, конечно, останавливала мысль о разлуке с женою, но Елена, которую удерживал в Париже магазин, обещала ему, что каждую субботу, как только восстановится движение по маленькой Суассонской ветке, она будет приезжать к нему. Это положило конец его колебаниям. Он нашел женщину, которая должна была заниматься его хозяйством, и зажил отшельником в своем дощатом домике, где пахло свежим деревом.

Начало было не слишком ободряющим. Никто не знал, как будет улажен вопрос об убытках, и лишь одни промышленники, которым У. В. П. [1]) выдавало, не считая, авансы, могли помышлять о том, чтобы строиться; остальные пострадавшие, вернувшиеся в свои развалины, должны были ожидать чуда. И не этим несчастным, у которых только и было что вспомоществование в тридцать пять су в день на пропитание, мог архитектор предложить свои услуги.

Жак Ле-Водуайе решил, тем не менее, добиться своего.

Он объехал всю область, попутно представился всем видным лицам и, в результате, получил работу. Пострада-

[1]) Управление по восстановлению промышленности. *(Прим. ред.)*

вшие в Кресси промышленники, желавшие восстановить в Суассоне фабрику, пригласили его, по рекомендации знакомого, архитектором, а Дидье Роже, которого он встретил в Вайи, поручил ему отстроить его ферму в Марувале.

Так как обе эти постройки, где шла пока расчистка земли, отнимали у него всего несколько часов, то остальное время он проводил над своей чертежной доской и изучал, посмеиваясь, планы буржуазных домов, фермы и мерии — все в курьезном суассонском стиле, где торчат вверх уступообразные шпицы, напоминая странные лестницы, по которым ползет солнце.

Жак думал, что деревенский образ жизни восстановит его здоровье, но он плохо переносил сырой речной воздух. С тех пор, как он в 1916 году попал в газовую атаку, самое ничтожное недомогание валило его с ног. Во время его вторичного пребывания в госпитале, главный врач сказал ему:

— Берегитесь малейшей простуды: для вас она может быть пагубной.

А в его плохо сколоченный барак ветер проникал сквозь все щели, и, как только печка гасла, в нем нельзя было согреться. За последние дни Жак уже несколько раз принимался кашлять. Так и теперь: едва лишь очутившись дома, он почувствовал, что, словно мокрым бельем, охвачен холодом.

— Ты здесь замерзнешь, — сказал он Елене, зажигавшей лампу.

Но она стала мило шутить.

— Да нет же, встряхнись немного! Как только ляжешь в постель, сейчас же согреешься!

Не имея мужества раздеться, Жак уселся в кресло, бросив пальто на его спинку.

— Ты простудишься, — заметила ему жена.

Усталость парализовала Жака. Под правой лопаткой он ощущал колотье, как от большой иголки. Он слышал, как Елена, пройдя за ширму, налила полный кувшин холодной воды и спокойно занялась своим ночным туалетом. Ее здоровье вызвало в нем зависть.

— У меня колики в спине, — пожаловался он, когда она показалась опять.

— Вот видишь, я тебе говорила. Но, ведь, ты никогда не слушаешься меня. Ну, скорее в постель!

Лежа около нее, он согрелся. Боли его, казалось, успокоились. Он съежился, сделавшись совсем маленьким, приложил голову к ее теплой шее, так что ее растрепавшиеся волосы щекотали ему лоб. Он крепко обнял ее, охватив своими ногами ее ноги, словно думал, прижавшись к ней, набраться у нее немного здоровья.

— Хорошо тебе? — спросила Елена.

Он ответил счастливым мурлыканьем. Спокойствие, охватившее все его существо, было лучше сладострастия. Он отдавался ему с ровно бившимся сердцем.

Когда они разлучались, он всегда тревожился: сначала о ней, так как почта не действовала и он подолгу не получал от нее известий, а потом и о себе при мысли, что он может заболеть в этом гиблом краю, где до первого врача надо было ехать несколько верст. Его мечтою было иметь Елену постоянно около себя.

— Ах, как я был бы счастлив, — вздыхал он, — если бы мы всегда могли жить вместе! Правда, здесь не очень-то хорошо...

Она не отвечала, тихо и равномерно дыша.

— Знаешь, я был в Марувале, — продолжал он. — В каком состоянии эта ферма — просто ужас! Ничего не осталось...

— Баиньки хочу!—попросила она, прижимаясь к нему.

Слово это, без всякой причины, привело его в восхищение. Приподнявшись немного на подушке,

чтобы лучше поддерживать молодую женщину, он нежно взял ее за затылок и поцелуем прикоснулся к ее лбу.

— Я столько мял твою дорогую головку,— прошептал он, — что она приняла форму моих рук.

Но Елена уже не слышала его. Правильно и спокойно поднималась и опускалась ее грудь. Он замер, боясь разбудить ее. После целого дня, в продолжение которого она безостановочно разговаривала, жестикулировала, переходила с места на место, она разом уснула, перейдя без сумерек от ясного дня к ночи.

Положив руку на голую грудь Елены и прильнув щекой к ее разметавшимся волосам, Жак чувствовал, как она спала безмятежным сном без сновидений. Но через минуту рука у него затекла, и он попытался опустить растрепанную голову жены на подушку. Это встревожило Елену, и она пробормотала:

— Не надо, не шевелись, мне хорошо так...

И она чмокнула губами, словно целуя, как делают дети. Нежным материнским жестом он опять прижал ее к себе:

— Спи, моя славная...

Он не шевелился больше. Моментами его словно ланцетом кололо под лопаткой, и он невольно делал гримасы.

Чтобы заснуть, он старался ни о чем не думать. От времени до времени он еще видел, как в его окне зарождалась и умирала ракета, словно чей-то утомленный глаз моргал ресницами. Затем ничего... Ночь заполнила собою все окно.

Не слышно было никакого шума. Ни собаки на фермах, ни повозки на дороге, ни поезда в полях... Как только наступал мрак, весь край погружался снова в ужас тех ночей, когда их наполняла своим дыханием война. Все молчит, все прислушивается. Опять на

страже мрак развалин, словно беспокойное молчание фронта...

И Жак, незаметно для себя, тихо уснул.

* * *

Когда потерпевший от войны возвращался на родину покинутую им в 1914 году, и с Суассонской дороги замечал невероятные разрушения и холмы мусора, в которых все исчезало, вплоть до следов улиц, он чувствовал, как мужество разом покидало его.

Расчистить все эти груды, заполнить все эти провалы, построить что-нибудь на этих кучах обломков, — нет, это невозможно!

И все же, когда человек проводил несколько ночей у себя в погребе или под картонной крышей, а дни среди прокаленных огнем камней, к нему возвращалась надежда. И скоро он жил среди развалин, как солдат в грязи, приспособляясь к своему положению...

Настроение улучшилось даже у самых отчаявшихся, когда в Кресси учредили „Управление работами неотложной необходимости", преобразованное из прежнего „Комитета фронтовых сооружений" и обещавшее все сделать: расчистить, исправить, отстроить. Стоило только произнести эти четыре волшебных буквы У.Р.Н.Н., как пострадавшим обитателям начинало казаться, что сложенные и процементованные стены сами собою вырастали из земли.

В огромном гражданском лагере, каким стал разрушенный городок, царила постоянная суматоха. Еще не были окончены последние бараки, как уже в них трудилось человек двадцать чиновников, а так как рабочих было при этом только двенадцать, то они не переставали красить и вколачивать гвозди.

Начальник округа, дородный отставной майор, одетый, по старой привычке, в красные штаны и сюртук с золотыми

пуговицами, внушал потерпевшим тот же страх, какой полковник нагоняет на своих солдат. Он обладал всеми полномочиями, но ему приписывали еще больше, и когда он проезжал верхом по Кресси, то пострадавшие, только накануне демобилизованные, машинально подносили руку к козырькам своих фуражек.

Но что особенно поднимало дух обитателей — людей делеко не набожных — это возвращение старика-кюре, который в 1914 году не покинул своего храма и был уведен немцами в качестве заложника. А когда, в это воскресенье, он служил свою первую обедню, то все вернувшиеся на родину сбежались взглянуть на него.

Так как от церкви оставалось только несколько камней без свода, причем арка входной двери еле удерживалась в равновесии на столбе, грозя обрушиться при малейшем порыве ветра, то священник приказал очистить позади своего дома двор, где стояли грузовики, и там, на открытом воздухе, отправлял службу перед кучей щебня, заменявшей алтарь.

Снежное небо, пересекаемое полетом громко каркавших ворон, нависло над землею; было так холодно, что кюре предложил мужчинам не снимать шапок. Не было ни одной скамейки, чтобы присесть. Все верующие, дрожа от ледяного ветра, собрались в кучу; ноги их вязли в грязи, образовавшейся из земли, талого снега и колесного сала. Слышно было, как на улице мальчишки громко топали, чтобы согреться.

Жаку казалось, что если он пойдет с женою на эту обедню, то на него перестанут смотреть, как на чужого, что он сделается как бы „земляком". По пути туда, некоторые обитатели Кресси, увидав Елену и не зная, что она вторично вышла замуж, кричали ей:

— Здравствуйте, мадам Дельбо.

Другие, напротив, едва приветствовали ее кивком головы и с любопытством оглядывали ее мужа.

В первый раз Жак находился среди вернувшихся на родину людей и украдкой присматривался к ним, стараясь угадать состояние каждого из них. Старухи в черном бормотали молитвы. Эта горсточка живых, поминавшая своих покойников, представляла собою целый край.

С осыпавшейся стены виден был весь город Кресси: его можно было охватить одним взглядом. Четыре года войны прошли по нему, словно несколько веков разрушения и запустения. Дома без крыш открывались, как пустые коробки. С проломанных потолков свисали планки и штукатурка. Лестницы с искривленными перилами, без всяких подпорок, странно уходили кверху, а на уцелевших стенах можно было различать, по обоям, этажи. Надписи, то тут, то там, рассказывали историю недавних событий. Сначал немецкая оккупация: *Platz-Kommandantur*. Потом — продвижение вперед французов: *Осторожно! Газохранилище! Приготовить маски!*

С противоположной стороны, на той высоте, где недавно были виноградники, виднелась лишь срытая до мелового слоя земля. Тем не менее, прежнюю дорогу еще можно было различать; она тянулась совершенно ровно, как слеза по лицу. А на хребте склона — несколько ощипанных султанов: все, что осталось от рощицы.

Налетавший порывами ветер трепал ризы священника. Чтобы он не унес гостии [1]), ему пришлось покрыть дискос крышечкой, как это делают на море, на палубе корабля. Мальчик из хора, с замерзшим носом и в облепленной грязью сутане, то приходил, то уходил куда-то опять.

---

[1]) Гостии — облатки из пресного пшеничного теста, употребляемые при причастии в католической церкви. *(Прим. ред.)*

— Не уйти ли нам? — попросила окоченевшая Елена.

Но в эту минуту кюре, стоя на коленях, запел De profundis [1]). Все подхватили вполголоса.

Вдали, на „Дороге виноградарей", солдат, услышав псалом, вернулся с шапкою в руке.

— Пойдем, — настаивала Елена, дергая мужа за рукав.

Но они не успели, потому что при последней фразе все устремились к калитке. Несколько человек, чтобы скорее выйти, взлезли на стену, позади которой верующие поджидали друг друга.

Все, мужчины и женщины, смотрели на Елену и толкали друг друга локтем, указывая на ее шубу. Девчонки, в восхищении, широко раскрывали глаза. Какая-то старуха, у которой ветер закрутил ее креповую вуаль, даже остановилась посреди улицы, чтобы лучше разглядеть молодую женщину. Руки были у нее скрещены на молитвеннике, и она с серьезным видом смотрела прямо перед собою.

— Кто это? — тихо спросил Жак у жены.

Елена не дала ему обернуться.

— Пустяки, — ответила она. — Это здешняя старуха, с которой у меня были неприятности. Пойдем...

И, опираясь на руку мужа, она удалилась, чувствуя позади себя взгляды шептавшихся обитателей Кресси.

---

[1]) Католический заупокойный гимн. *(Прим. ред.)*

II.

Взойдя на косогор, ведущий в Маруваль, Жак присел, чтобы перевести дыхание. Перед ним простиралась пустынная, плоская равнина, вплоть до фермы — длинного дощатого барака со сверкавшей на солнце крышей из листового железа. На этом расстоянии нельзя было различить даже стен, составлявших прежние постройки. Ничего не было возделано, нигде ни одной запашки. Едва можно было видеть дорогу, напрямик пересекавшую сухую траву и пучки чертополоха. Колена траншей перерезывали шоссе в двух местах, образуя там водоемы, так как насыпь тотчас же осыпалась от дождей.

— Можно подумать, что я отсюда и не уходил, — пробормотал архитектор.

Вся страшная обстановка войны была еще налицо. Колючая проволока чертила по всем направлениям широкие, ржавого цвета, аллеи; на огромном, поросшем бурьяном поле их можно было насчитать десять или пятнадцать впереди густой сети окопов и вдоль их ходов. Там и сям валялись большие куски листового железа, изрешетенные взрывами снарядов и покоробившиеся, как картон. Вся почва была покрыта причудливыми грудами: были тут и манерки, и шанцевый инструмент, и свален-

ные в кучу „свиные хвосты“ [1]), и колеса от повозок... Немного подальше извивалась змеей газовая труба. Ямы, вырытые гранатами, соединялись вместе, и в более глубоких из них выступал белый подпочвенный мергель. Огромная воронка, наполовину наполненная водой, смотрела в небо. А на краю, отражаясь в мутной жидкости, стоял крест...

„И у Дидье Роже хватает мужества поселиться здесь“, — подумал, вставая, Жак.

Взгляд его, не найдя на чем остановиться, охватил все поле. Тут— приходится цепляться, там —теряешь под ногами почву...

Сероватая и жесткая земля, словно застывший отлив, расплывается неопределенными волнами до самого горизонта. Где начать ее расчистку? И чего достигнешь этим? Ведь, это — отравленная почва, где переплелась корнями стальная ежевика; ведь, все это — высохшие глыбы, изрешетенные взрывами...

— Нет! это безумие! — сказал, на этот раз громким голосом, Жак Ле-Водуайе, пускаясь в путь. — Здесь ничего не соберешь, кроме железного лома и костей.

Тропинка шла по краю широкого, оставшегося нетронутым, рукава окопа; в нем, на далеком друг от друга расстоянии, открывались черные пасти отвесно спускавшихся вниз лестниц: то были сапы, блиндажы и землянки. Тут не было ни пяди неизрытой почвы. В ней торчали зарывшиеся в нее снаряды, задняя часть которых, готовая взорваться, возвышалась над землей.

В пятидесяти шагах от себя Жак заметил застрявшую в проволочном заграждении серую шинель германца. На минуту Ле-Водуайе остановился и пригляделся внимательнее. Нет, она не была пустая... Можно было различить вытянутую вперед руку, словно солдат упал,

[1]) Особый вид коротких сверл. *(Прим. ред.)*

бросая гранату. Каска его откатилась в сторону. Он умер для того, чтобы завоевать этот уголок поля. И, мертвый, он им владел. Его вытянутые пальцы, казалось, говорили: „Это — мое!“

Совсем близко к баракам был расчищен небольшой участок. Туда перенесли все, еще годные к употреблению и оставшиеся от прежней фермы, камни, которые немецкие пленные привозили целыми тачками; и по мере того, как уменьшалась груда развалин, заметно росла куча песчаника. Дидье Роже рассчитывал, что таким образом он вернет себе убытки по постройке конюшни, сараев и гумен. Когда менее предприимчивый фермер иногда его спрашивал: „Зачем вы производите эту работу, раз вы не уверены даже, что вам вернут расходы?“ — он, всегда оптимистически настроенный, отвечал: „Ба! то, что сделано, не придется делать еще раз... А к тому же, я плачу пленным всего по сорок су в день, что очень выгодно. Недолго продержится у нас такая заработная плата“.

Ничто не могло обескуражить нового фермера. Когда увидели, что он начал распахивать поля красной зоны,— той, которую администрация считала мертвою, — сельскохозяйственные техники стали его отговаривать.

— Для этих работ вы не получите кредита ни на один су. Довольно дела в других местах. У нас на этот счет совершенно определенные инструкции из министерства.

А один из них даже прибавил:

— У нас уже было довольно хлопот с размежеванием красной зоны.

Дидье Роже не сердился. Насмешник по природе, он только спросил наиболее недовольного инженера:

— Вы не потребуете, надеюсь, чтобы я привел поля в то состояние, в котором получил их? Извлеченные мною снаряды явились бы к тому серьезной помехой.

Затем он обратился к другому:

— Поверьте мне, ваша красная зона растает, как сахарная. Не пройдет и десяти лет, как от нее и десятины не останется. Тем более, значит, надо взяться за работу теперь.

Ферма, на вид, гроша ломаного не стоила. Там был собран всевозможный, оставшийся после войны, хлам. Три барака, на одном из которых еще красовался знак амбулатории Красного Креста, служили и жильем, и ригой, и конюшней; непроницаемый барьер из разного рода кольев и рогаток заменял собою забор. Курятник окружили трельяжем из колючей проволоки, а так как он служил свиньям хлевом, то его покрыли волнистым листовым железом, опиравшимся на огромные круглые поленья. Всюду виднелось что-то вроде скамеек: то были амбразуры для пулеметов. Перед овином лежала даже большая куча ружей, которые догнивали и покрывались ржавчиною, причем окружное управление и заведывавший этим сектором офицер поочередно отвечали, что это дело их не касается.

На другом конце двора, представлявшем обширную клоаку с островками из мусора, Жак заметил Дидье Роже в споре с каким-то кабилом в шинели цвета хаки. Рядом с этим долговязым молодцом фермер казался ниже ростом, чем был на самом деле: коренастый, опустив низко голову, он держал руки в карманах.

— Так и есть! — сказал про себя архитектор. — Еще один возчик, который не может рассчитаться.

По хриплому крику и яростным жестам кабила легко можно было догадаться, что объяснение принимало дурной оборот. Жак, на всякий случай, ускорил шаги. Дидье, узнавши его, сделал, было, движение, чтобы пойти ему навстречу, но туземцу это не понравилось, и, продолжая вопить, он схватил своего хозяина за руку. Быстрым скачком в сторону, фермер от него

освободился, но взбешенный кабил в то же мгновение бросился на него.

Военнопленные, издалека наблюдавшие за этим зрелищем, пустились, конечно, бежать на помощь, но ни они, ни Жак не успели вмешаться. Собравшись в комок, Дидье Роже со всего размаху ударил туземца прямо в лицо, и пока тот неловко, не переставая орать, наносил удары впустую, он колотил его по физиономии, заставляя отступать шаг за шагом. Когда Жак, запыхавшись, подбежал, двое немецких пленных уже схватили кабила, губы которого были в крови. Немного бледный, Дидье Роже силился улыбнуться.

— Еще одного научил порядку, — медленно произнес он, поправляя галстук. — Все они таковы эти арбисы [1]): вечно выканючивают вперед деньги, а когда уходят, то забывают об этом. Пусть убирается, и чтобы я больше не слышал о нем!

Но в ту минуту, когда туземца, не переставшего ругаться на своем наречии, собирались отпустить, прибежал, потрясая сбруею, с кнутом на шее, извозчичий старшина Ахилл.

— Хорошие дела натворил этот проклятый басурман! — кричал он.

Оказалось, что кабил, прежде чем уйти, изрезал ножом все поводья, какие только нашел, и распотрошил во всю длину два седла.

— На этот раз он заплатит мне! — вспылил фермер. — Ахилл, пошлите вашу девчонку за жандармами.

Потом он оглянул с головы до ног злобно смотревшего на него туземца.

---

[1]) Арбисы — племя, живущее в Белуджистане. Дидье Роже употребляет здесь слово „арбисы" наподобие того, как мы иногда называем всех черных арапами. *(Прим. ред.)*

— Да, вот что, — размышлял он, теребя свои усы,— у нас только три жандарма на весь округ с одним мотоциклом на всех: они, пожалуй, приедут не раньше, чем завтра. Что мне с ним делать до того времени?

Но он быстро сообразил:

— Здесь Вальтер? — спросил он, поворачиваясь к группе пленных.

Толстый немец с одутловатым и бритым лицом, с надвинутой по уши, как купальный колпак, шапкой подошел, покачивая головою, словно он все уже понял. Так как он ни к чему не был пригоден, то его заставляли чистить овощи к супу, а когда шел сильный дождь, он должен был караулить своих товарищей, пока французские солдаты, в прикрытии, перекидывались в картишки.

— Ты отведешь этого молодца в карцер, слышишь? А сегодня вечером, отправляясь в лагерь, вы, остальные, представите его жандармам. Я сейчас скажу об этом капралу.

Немец тотчас же связал веревкою руки кабила и, сопровождаемый Ахиллом, который щелкал кнутом, потащил его к риге.

— Таковы-то печальные превратности нашего земного бытия, — сказал Дидье Роже, указывая на это странное трио. — Теперь у нас полицейские обязанности исполняют боши. Поистине, чего не насмотришься в этих местах!

Вся эта история вернула ему хорошее расположение духа, и, болтая, он увлек с собой архитектора.

— С этими сиди [1]) никогда не знаешь покоя... Если они вам напакостят, их почти невозможно накрыть: они передают друг другу свои книжки, меняются паспортами и, в конце концов, оказывается, что всех их зовут Магометами... Право, в Тонкине я подвергался меньшему риску.

[1]) На языке африканских арабов слово „сиди" означает „господин". *(Прим. ред.)*

Вместе они отправились посмотреть на фундамент прежней фермы, на котором собирались строить новую. Сводчатые погреба отлично сохранились, некоторые части стен, там и сям — тоже; но больше всего поразил их чудесным образом уцелевший пол, замощенный красными плитами и отмечавший, казалось, на земле план кухни и общей столовой.

Когда Жак все вымерил, они подошли к краю поля. Там тянулся глубокий овраг, склоны которого поросли деревьями; большей частью, они были превращены в обрубки или, вырванные с корнем, лежали во всю длину на кустарнике. Многие из них были отравлены газами; сосны все высохли, но некоторые, более крепкие породы, как акация и вяз, устояли, и на их израненных ветвях виднелись развивавшиеся почки. В фруктовом саду, съеденном палочной травой, оставались лишь почерневшие скелеты яблонь, а несколько стволов, после града попавших в них снарядов, щетинились, как кактусы своими колючками. Почти на всех деревьях внизу была сделана глубокая косая зарубка или тщательно снят целый пояс коры, а некоторые были срублены.

— Вот смотрите, — указал своему другу фермер: — это работа бошей в момент перелома на фронте, в семнадцатом году. Они бежали, они издыхали, вероятно, от усталости, и все таки у них хватило еще времени разрушать — бессмысленно, просто для удовольствия.

Жак Ле-Водуайе, который никогда не верил, когда читал об этом в газетах, наклонился, чтобы лучше рассмотреть.

— Все эти деревья погибли? — спросил он.

— Как вам сказать... На пространстве в пятьдесят футов я спасу, может быть, семь или восемь, но сидр будет стоить очень дорого... Взять ферму в таком виде... уверяю вас, это очень тяжелый труд.

— Дорого заплатили вы за нее? — поинтересовался архитектор.

Дидье Роже остановился и расхохотался.

— Заплатил? Чем же это? У меня нет денег, а на жалованье поручика я не мог купить земли. Я спрашивал себя, что я буду делать по окончании войны. Вернуться в колонии? Меня туда не тянуло. К счастью, на фронте я подружился с молодым офицером, получившим в наследство Маруваль. Когда, бывало, со стороны Шеменде-Дам немцы начинали наседать, мы его всегда поддразнивали. „Ну, и достается же вашей вотчине!"—говорили мы ему, сидя у котла с супом. Но он только посмеивался, ибо совершенно в ней не нуждался. После заключения перемирия, мы вместе приехали сюда, и он передал мне свою собственность: выпутывайся, как знаешь.

Дидье Роже остановился и указал на яму у дороги:

— Вот в этой дыре я провел первые ночи вместе с мальчиком-бельгийцем, которого нанял в Лане, и с солдатской лошадью, за которую заплатил восемьсот франков. Здесь втроем мы спали на соломе... И всетаки я надеялся... Я говорил себе, что скоро у меня будет барак. А теперь, когда он у меня есть, я думаю о своем доме.

— А когда у вас будет дом?

— Я буду думать о месте на кладбище, старина, потому что это — наш неизбежный конец. И мы даже не будем иметь права жаловаться, ибо тот, кто вернулся с войны, должен быть доволен теми остатками, которые он получил после нее.

При этих словах Жак вспомнил убитого немецкого солдата, которого он заметил, идя сюда.

— Не у всех даже есть место на кладбище, — ответил он. — Сейчас вот, в конце поля, я видел непохороненного германца. Вы знаете где?

— Ну, конечно,—с досадой сказал фермер. — Я уже указал его гробокопателям, но это такая же бестолковая команда, как и все другие. Подождите, — они, должно быть, сейчас на выгоне: пойдем к ним.

В течение доброй четверти часа им пришлось итти вдоль оврага, то перескакивая через траншеи, то продираясь через колючую проволоку; затем они пошли по полю. На пàжити можно было найти все, что угодно: то была разоренная новина, где валялись куски кожи, пулеметные ленты и осколки снарядов. Во всю ширину ее пересекало наполовину осыпавшееся колено окопа.

В нескольких местах, где только что выкопали из земли тела, остались зияющие ямы, в которых видна была свежая земля. Эти солдатские могилы не отличались глубиной. Их, ведь, рыли наскоро ночью, когда летали шальные пули. Несколько ударов мотыкою — и тотчас же показывалось синее сукно мертвеца.

С утра китайцы, видневшиеся вдалеке, разворотили около дюжины таких могил. На дне одной из них Жак разглядел грубые башмаки. Кресты оставляли на местах. Наклонившись, можно было разобрать на сгнившей перекладине имя или номер полка. Здесь лежал пехотинец, там, дальше, — солдат колониальной армии...

— Собирают ли, по крайней мере, надгробные надписи? — поинтересовался Жак.

Дидье Роже покачал головой.

— Меня это удивило бы... Да, вот, посмотрите сами...

И, нагнувшись, он сорвал с трехцветной кокарды цинковую пластинку, на которой было выбито имя.

Жак, с сердечной болью, останавливался у каждой могилы. Земля, как простыня при пробуждении, лежала тонким слоем на краях ям. Во время войны солдаты накопали себе таких углублений во всю длину траншеи, не шире и не длиннее, чем надо было; они занимали

ровно столько места, сколько нужно было, чтобы спать.

С затуманенными глазами смотрел молодой человек вокруг себя. Где были убиты все эти люди? В этом колене окопа?... И он представлял себе, как товарищи тащили еще теплый труп; как потом, прежде чем пойти копать, они пробовали воздух, как пробуют слишком холодную воду: „Не стреляют ли? Можно ли пойти туда...“

Свою последнюю ночь они, может быть, провели в этом шалаше, узкая дверь которого виднелась совсем близко. Стоило им вытянуть шею, и они увидели бы место, где стояли их могильные кресты... Кто они были? Сапер, который, утомившись шлепать по грязи в извилистых траншеях, махнул напрямик по равнине? Возвращавшийся с разведки патруль? Дозорный, убитый наповал у своей амбразуры?.. А может быть, все они пали в один день, в один час, в одной и той же схватке? И в самом деле, легко можно было вообразить, что эти ступеньки из мешков с землею, эта поставленная вертикально лестница — „эшафот“, как называли ее солдаты, — была сапой, предшествовавшей атаке.. И Жаку казалось, что он видит доблестную цепь несчастного, одурманенного человеческого скота, заряжающего в дыму свои винтовки...

Когда китайцы вытаскивали тело, они клали его на большое полотнище для палатки, концы которого они привязывали к середине палки; каждый из них брался за конец, и они уносили солдатские кости, как когда-то у себя на родине уносили с полей собранный рис.

— Взгляните, — крикнул Жак, обращаясь к Дидье Роже, шедшему впереди него, — они не обшарили даже до конца эту могилу!

И действительно, во вскопанной почве виднелись человеческие останки и лоскутья шинели. На краю могилы валялось большое портмоне, кем-то уже опорожненное.

— А вот опять башмаки... Странно! — заметил фермер.

Дидье Роже и Жак пошли быстрее по направлению к команде желтых рабочих. Наклонившись, почти в уровень с землею, над могилою и подсунув лопату под труп, один из гробокопателей старался изо всех сил вытащить из ямы мертвеца. Капрал, — с безбородым и тупым лицом, — наблюдавший за работою, скосил глаза в сторону подошедших незнакомцев и неопределенно поклонился, приложив руку к козырьку.

— Ничего не говорите, — тихо посоветовал Дидье Роже своему спутнику.

Тело солдата согнулось. Когда его хоронили, его завернули в коричневое одеяло, и этот, весь изъеденный, саван закрывал его лицо. Китайцы, вынув останки из могилы, швырнули их на протянутый холст.

— Медаль! — сказал капрал, указывая на бляху, которую покойный носил на руке вместо удостоверения личности.

Один из желтокожих сорвал ее и передал французу, положившему ее в карман. Тем временем другие гробокопатели уже окружили следующую могилу и тотчас же вытащили оттуда страшное тело, истерзанное, вероятно, снарядом. Не обыскивая его, они разложили его около другого.

Капрал, которого, видимо, стесняли неожиданные свидетели, наклонился и сделал вид, будто ищет на руке и на шее покойника его жестянку. Затем он поднялся.

— Это будет неизвестный,—медленно проговорил он.

Дидье Роже пристально посмотрел на него.

— Почем вы знаете? Вы даже не обыскали его. Может быть, у него есть книжка, бумаги.

— Ну нет! это бывает редко! — с недовольным видом возразил капрал. — Да и к тому же, эти молодцы

не очень-то охотно обшаривают мертвецов, — им это противно.

Один из китайцев, понявший, повидимому, в чем дело, раздвинул в стороны отрепья мундира и вытащил вздувшийся от писем и перетянутый веревочкой бумажник.

— Вот видите, — снова сказал Дидье Роже. — А кстати, посмотрите, что я нашел вон там, на краю одной могилы.

Он показал цинковую бляху, которую сорвал с какого-то креста. Капрал волей-неволей должен был взять ее и прочесть имя.

— Да, конечно, — проворчал он. — Но я не могу поспеть повсюду. Как вы думаете?

Вслед затем, чтобы положить конец разговору, он опустил жестянку к себе в карман, где она смешалась с другими, и подал своей команде знак — тронуться с места.

Но фермер остановил его

— Знаете ли вы, по крайней мере, с какого тела снята бляха, которую я сейчас вам дал?

Капрал сморщил нос: его начинало раздражать это приставание.

— Почем я знаю? Постараются узнать... Вы, может быть, думаете, что это очень веселая работа! Я делаю только то, что мне велено, и больше ничего... Эй вы там! Ступайте! На сегодня мы уже кончили...

И толпа китайцев удалилась. Носильщики шли впереди, с согнувшейся от тяжести палкою на плечах. Когда они выбрались на дорогу, одна из жердей с сухим треском сломалась, и холст упал. Следовавшие сзади желтолицые рассмеялись. Затем видно было, как они наклонились и собрали рассыпавшиеся останки.

Когда порядок восстановился, шествие тронулось дальше. Передовые носильщики уже исчезли за горизонтом, направляясь в Кресси; издали они были похожи на человечков на китайских ширмах, которые кучками проходят по лакированному пейзажу с кипами гаоляна [1]) на длинном бамбуке.

Когда Жак и фермер дошли до дороги, они увидели забытые там кости. Дидье Роже громко выругался.

— Его башмаки! — указал он пальцем.

Китайцы бросили их там, и фермер вдруг понял, почему он видел столько солдатской обуви вокруг могил. Эти грубые, подбитые гвоздями и тяжелые от приставшей к ним земли сапоги, зажимавшие, как тиски, мертвое мясо, были очень громоздки. Поэтому, когда они не слишком крепко держались, их оставляли в яме или бросали на-ходу, чтобы облегчить себя. Ноша всегда остается ношей для того, кто ее тащит на себе...

Люди, в течение стольких месяцев топтавшие эту ненасытную почву, никогда уже больше не покинут ее; она будет хранить все эти солдатские ноги, она превратит их в свою плоть и в свое удобрение.

Бедные ступни пехотинцев, всегда болевшие, всегда натруженные! Они мерзли в ледяной грязи Вердена и в снегах Вогезов; их засасывали болотистые овраги Артуа; они распухали и истекали кровью в делавшейся твердой, как рог, коже, когда, вместо отдыха, им приходилось часами шагать под солнцем.

Солдаты спали скорчившись в лисьих норах траншей, и об их ноги с проклятием спотыкались товарищи, бывшие в наряде; лошадиные копыта и колеса зарядных ящиков задевали их, когда, шатаясь от усталости, располагалась на отдых, на откосе дороги, партия солдат, только что сменившая другую. Когда уносили на носилках раненого, покрытого одеялом, из-под него всегда торчали грубые, подбитые гвоздями сапоги, и даже

[1]) Растущее в Китае гигантское просо. *(Прим. ред.)*

мертвый солдат все еще показывал свои ноги, несуразные, огромные, вылезавшие из окопа, куда его закопали, свои жалкие, несчастные ноги, на которые товарищи повесили бы торбы, сказав, для собственного успокоения: „Это бош".

Лопата и сапоги — вот что было эмблемою войны, а не каска и винтовка.

Жак шел, опустив голову, и ему казалось, что в каждом холмике он различает труп, в каждой доске — крест. Сколько неизвестных, оставшихся навсегда зарытыми в полях, приходится на несколько разысканных могил! Неужели эти мертвецы не дергаются под своим земляным покровом, как человек в кошмаре, когда он извивается, парализованный, и не может издать ни звука! Неужели они, опираясь на свои жалкие серые руки, не закричат: „Сюда товарищи, сюда! Не оставляйте меня!" Но живые проходили мимо, ничего не слыша...

— Брр... какая это мерзость — война! — пробормотал потрясенный до глубины души Жак. — И подумать только, что мы верили в нее, что мы приветствовали избиение этих несчастных!

Дидье Роже, напротив, оставался совершенно спокойным.

— Да, не очень-то красивое дело, — заметил он все тем же, слегка глухим голосом. — Но если бы люди действительно так ненавидели войну, то давно уже перестала бы литься кровь. Устраивают бои быков, а не баранов.

Архитектор, почти рассердившись, перебил его:

— Нет, больше драться не будут! Кончено! Слишком много было убийств!

Фермер покачал головою.

— Подите вы!.. Подождите только несколько лет, и вы увидите. Одни будут проповедывать гражданскую войну, другие требовать союза с Германией, чтобы

задушить англичан, и найдутся еще такие, которые все еще будут кричать: „В Берлин!" Не надо создавать себе иллюзий. Мы, может быть, не примем участия в следующей войне, но наши сыновья пойдут вместо нас.

Жак указал рукою на разрытое поле и раскрытые могилы.

— Опять начать все это?

— Ну да, рано или поздно, — спокойно подтвердил фермер. — У меня бывают стычки с моими кабилами, пленные часто схватываются друг с другом, а их стража вступает в рукопашную из-за карт; почему же народам не делать того же? Это уже у нас в крови...

Они вышли на дорогу в Кресси, которая спускалась, извиваясь, к Эне; с этой высоты виден был весь городок в развалинах.

— Несомненно, что в четырнадцатом году вся эта местность имела более нарядный вид, — сказал Дидье Роже. — Кто знает: если бы не война, я, может быть, и сейчас наблюдал бы за рубкою леса на Светлой реке или умер бы от лихорадки в госпитале в Ганои. А потому, я мирюсь с случившимся.

Оба приятеля, высказав друг другу все, что у них было на душе, постояли некоторое время молча, погрузившись каждый в свои мысли. Затем, обменявшись рукопожатием, они расстались: один вернулся к себе на ферму, а другой пошел в Кресси.

* * *

В первый день, когда Жак заметил Каниве, этот последний работал позади своей хижины, и представившееся архитектору зрелище было столь необычно, что он в изумлении остановился и стал наблюдать. В штанах с кантами и в синих обмотках, придававших ему вид военного в отпуску, этот осторожный человек, пострадавший

от войны, вбивал колья в мусор и, отграничив таким образом около десятины щебня, старательно окружил это пространство железной проволокой; дело было ясно: он огораживал свой сад. Пока что, это была выгребная яма, полная отбросов и обвалившейся штукатурки, но все же это был его сад, и никто не имел права войти туда: каждый должен иметь свой угол.

Почувствовав, что за ним наблюдают, человек повернулся к Жаку. У него была добродушная и сморщенная, словно печеное яблоко, физиономия, слишком густые для его маленьких красных щек усы, и он простодушно смотрел своим единственным глазом. Другой, под опущенным веком, был у него пустой.

— Теперь, понимаете, сюда приезжает столько народу, что надо держать ухо востро, — начал он объяснять еле сдерживавшемуся от смеха архитектору. — Каждый захочет выкроить себе огород, как ему вздумается, да и залезет, того и гляди, за ограду к соседу... Вот я и принимаю меры предосторожности.

Парижанин, почувствовавший к нему симпатию, похвалил его за дальновидность. С минуту они поболтали, и со времени этой встречи Жак Ле-Водуайе, проходя мимо, останавливался каждый раз, чтобы поговорить с садовником.

Странный человек был этот Каниве. Он не пользовался в Кресси репутацией большого хитреца, но это была натура честная, на редкость доверчивая, невероятно упрямая и готовая протянуть руку первому встречному. Искалеченный на войне (у него был выбит глаз и изуродована левая рука), с матерью и племянником на своем попечении, он никогда не жаловался на судьбу и часто повторял:

— Есть понесчастнее меня.

Глупость человеческая его не удивляла — по вполне понятной причине, — но и злоба тоже. Так, он любил

рассказывать, что его демобилизовали только 16-го ноября, в день заключения перемирия, и что генерал, председательствовавший в комиссии, заметил шутливым тоном:

— Тебе везет, мой друг: сегодня мы не очень строги.

Кривой находил это очень забавным, и каждый раз, передавая слова начальства, не забывал прибавить:

— Да, это был предобродушный старик.

Каниве вернулся в Кресси первым, в середине декабря, когда все покрыто было на два фута снегом. В течение двух недель он жил один, ночуя в погребе и питаясь вместе с солдатами. Как только он выстроил себе хижину, — удивительно, как ее не унесло первым порывом ветра, — он выписал мать и племянника, и бедная семья зажила почти счастливо, считая себя даже богатою в те дни, когда она получала, каждые три месяца, 170 франков пособия, полагавшегося одноглазому солдату, и деньги за содержание племянника.

Возвращаясь в этот день из Маруваля, Жак Ле-Водуайе был очень рад встрече с Каниве. Разговор с ним заставит его думать о другом. Кривой, по обыкновению, был занят вывозкою известкового мусора из своего сада.

— Здравствуйте, господин Ле-Водуайе, — сказал он с сияющим лицом. — Кажется, дело в шляпе: нас, как будто, собираются отстраивать.

Жак с удивлением посмотрел на него.

— Я ничего не знаю. Есть какие-нибудь новости?

— Это очень вероятно, — ответил, подходя к нему, садовник. — Я знаю это от одного американского начальника, который сегодня утром остановился около нашей двери, чтобы переменить шину. Повидимому, союзные правительства решили, что военнопленные, раньше чем вернуться на родину, должны отстроить все, что они разрушили во Франции. Это идея Клемансо. Ловко,

неправда ли? Вы можете быть уверены, что теперь-то Фрицы здорово возьмутся за дело.

Жак, понявший все с первых же слов, хотел, было, объяснить ему, что этот способ восстановления, придуманный на летучей кухне У. М. С. А.[1]), — не серьезен, но Каниве уперся и все твердил: „Это идея Клемансо". В конце концов, он, однако, сказал:

— Ну, а если правительство передумает, я, на всякий случай, увеличу свой шалаш на одну комнату и положу заплату на крышу.

На поле валялся всякого рода строительный материал: доски, листовое железо, балки, свертки просмоленной бумаги, нагроможденной там в 17-м году, когда предполагалось наступление, и все потерпевшие, нужно ли было им строить себе барак или развести огонь, черпали из этого своеобразного общественного склада. Следуя этому порядку, садовник взял тачку и, вместе с парижанином, спустился в покинутый парк. Прибыв туда, он окинул взглядом собственника находившийся там материал.

— Для начала я возьму несколько толстых дубовых досок, — сказал он. — Как вам кажется, достаточно ли длинна вот эта?

И опытною рукою он стал взвешивать ее, как вдруг чей-то голос с дороги закричал:

— Эй, вы там! Не надо ли вам помочь?

То был жандарм, тот самый, за которым в этот день была очередь ездить на мотоцикле. Каниве взглянул на него, не выпуская доски из рук: так он был уверен в своем праве.

— А что такое? — осведомился он. — Я не делаю ничего дурного; я хочу взять несколько досок.

— Это запрещено, — угрожающе ответил жандарм и сделал вид, что направляется к садовнику.

[1]) См. прим. на стр. 13.

Тот в смущении выронил доску.

— Запрещено? — сказал он с меньшей уже уверенностью. — А с каких это пор? В воскресенье я еще брал отсюда...

— В воскресенье было дозволено, а теперь запрещено, — коротко отрезал жандарм. — Вчера получен приказ из префектуры.

Без иронии и даже без досады, кривой произнес, покачивая головою:

— Ну, уж если префектура начинает нами заниматься, значит, все хорошо...

И, словно боясь, как бы жандарм не вздумал поисследовать материал, из которого построена была его лачуга, он осторожно взял за оглобли свою тачку и удалился вместе с Ле-Водуайе, отказавшись от дальнейшего обсуждения полицейского приказа..

— Я приду сюда ночью, — философски заметил он. — Или повременю, пока приказ будет отменен...

Тем не менее, дорогою он немного побрюзжал: „Еще месяца не прошло, а уж три перемены. Одну неделю каждый имел право брать в старых парках армии все, что хотел, а через восемь дней жандармы стали охотиться за вами, если видели, что вы подобрали клубок железной проволоки".

— Все бедствия выпадают только на долю деревни, — заключил он. — Совсем как во время войны: только мы и страдали.

И, обратившись непосредственно к Жаку, прибавил:

— Городские лучше выпутались. Вы, например. Я уверен, вы не долго сидели в окопах, а?

— Два года, — просто ответил архитектор. — Благодаря протекции, я попал в солдаты второго призыва, а теперь получил чистую отставку.

— Вот как! — сказал удивленный Каниве. — А я полагал, что вы получили свой боевой крестик в каком-

нибудь штабе или в автомобильной роте. Впрочем, не подумайте, пожалуйста, что я хотел обидеть вас своими словами. Напротив...

С минуту он шел, ничего не говоря и делая зигзаги, чтобы избежать ям; затем, глядя прямо перед собою своим единственным глазом и словно доверившись своей тачке, он произнес:

— Если бы вы служили в кирасирах, вы встретили бы среди них славных парней... Ведь, это могло бы случиться... И было бы очень смешно...

Видя, что молодой человек, погруженный в размышления, ему не отвечает, он подумал еще с минуту и прибавил:

— Как хотите, а ведь это тоже не совсем обыкновенно, что вот мы с вами встречаемся...

Жак Ле-Водуайе думал о другом. Как только он вступил в центр городка, он с любопытством стал приглядываться к движению народа. Женщины входили и выходили из своих погребов совершенно естественно, словно они были у себя. Несколько еле обитаемых домов были починены — хорошо ли, худо ли — досками и просмоленной бумагой. Прежняя *Kommandantur*, стены которой осыпались, превратилась уже в винную лавку, и у дверей ее стоял немецкий пленный, с совершенно розовым черепом — так коротко он был остижен — и ощипывал какую-то птицу. Несколько поодаль китайцы входили и выходили из кабачка Вору, сделавшегося для них местом свиданий. Вместо того, чтобы, как всегда, подпустить им грубую шуточку, Каниве, занятый другим, только взглянул на них.

— А что, — спросил он вдруг Жака, без малейшего к тому повода, — хорошо вы живете с вашей женой?

Удивленный парижанин, однако, не обиделся, зная, как наивен и бесцеремонен был садовник.

— Конечно, хорошо, — улыбаясь, ответил он.

Каниве больше ничего не спрашивал. Когда они подошли к дому архитектора, он выпустил свою тачку и долго смотрел на ограду. Затем, указывая на развалины, он сказал другим тоном:

— Не раз приходил я сюда в прежнее время.

Жак Ле-Водуайе не сразу понял:

— Когда же это?

— Во время...

Каниве искал подходящего слова и повторил:

— Во время... при жизни прежнего хозяина... Андрэ Дельбо... Да... Вы, наверно, не знали его?

— Нет, — ответил смущенно Жак.

Садовник стоял, опустив глаза в землю и поскребывая один о другой свои грязные солдатские башмаки.

— Вот, клянусь, был человек! Никого из приятелей я не жалею так, как его.

Потом, снова помолчав, он пояснил:

— Мы совсем маленькими знали друг друга. Его отец работал на вокзале. Потом он создал себе положение в Париже, но всетаки приезжал в Кресси и был такой же простой, как раньше... В мобилизацию мы уехали вместе, были в одном и том же эскадроне и не разлучались около трех лет, пока его не убили в Лаффо... Я здорово его жалел...

Жак Ле-Водуайе не знал, что отвечать.

— Наконец, — прибавил садовник, причем молодой человек не понял, что он этим хотел сказать, — каждый устраивается по своему вкусу... До-свиданья, господин Ле-Водуайе.

Жак, в дурном настроении, с тяжелым сердцем, с путавшимися в голове мыслями, вошел в свой барак. Теперь он жалел о своей встрече с Каниве.

Его приходящая прислуга ушла, и ему предстояло пробыть в одиночестве до самого обеда. Он зашел в комнату, служившую ему кабинетом, и сел перед

печкою. Согнув спину и зажав сплетенные пальцы рук между коленями, он смотрел, как позади маленькой решетки плясало пламя. Мысль его едва работала. Когда огонь спадал, он подкладывал новые поленья. Часто они бывали очень толсты, и тогда, не вставая с кресла, он брал топорик и раскалывал их на-двое. Пол был у него весь изрублен в том месте, где он этим занимался. Когда пламя начинало гаснуть, Жак чувствовал себя еще более одиноким и быстро принимался ворочать головни, чтобы освободить место для новых дров.

Он, действительно, ни о чем не думал, а между тем одна мысль, совсем маленькая, серая и незаметная, шевелилась у него в мозгу.

Скоро ему стало жарко у огня и он пересел на высокий табурет. Опершись локтем о свою чертежную доску и положив голову на руку, он рисовал разукрашенные буквы и узоры, думая совсем о другом. О чем?.. Ни о чем определенном. Обо всех этих покойниках, безыменных и безликих, которых он видел на равнине. И еще об одном... Особенно о нем...

В первый раз Жак подумал о том, кого он заместил. Он еще слышал голос Каниве:

— Вот был человек...

Он ничего не знал о нем, кроме этих нескольких слов, сказанных крестьянином, да и то он знал скорее не слова, а их интонацию. Почему Елена никогда не говорила ему о нем? Конечно, не из страха огорчить его; он сам деликатно расспрашивал ее, даже несколько раз, и разговор меняла всегда она... Никогда не подслушал он ее вздоха, не уловил нотки сожаления в ее голосе, не видел у нее печального взгляда. Нет, никогда... Значит, она забыла его?

Жаку хотелось чувствовать удовлетворение, но он не мог.

Забвение... Вполголоса повторял он это ужасное слово, и перед его глазами мелькало шествие, которое он видел на равнине: китайцы, бездельник в мундире и мрачные гамаки, в которых судорожно сжимали друг друга в объятиях два мертвеца.

Забвение... Слово это падает, как бросаемая лопатой земля. Машинально писал его молодой человек на кальке, рассеянно и тщательно выводя огромные „З“, с их двумя ужасными, пустыми и мертвыми глазами...

III.

Несколько дней Жака преследовала мысль об Андрэ Дельбо. Ему хотелось знать о первом муже Елены и другие подробности, хотелось знать, какой он был человек, как он был убит; но расспросы по этому поводу, так как речь шла о покойнике, стесняли его, и, боясь, чтобы его беспокойство не сочли за низкое любопытство, смешанное с ревностью, он ни у кого ни о чем не осведомлялся. Он даже избегал в течение целой недели садовника, опасаясь, как бы тот не подумал, что он вызывает его на разговор.

Одну вещь в особенности архитектор никак не мог себе объяснить: почему Елена никогда не говорила ему о своем первом муже. Женщина не забывает так скоро человека, с которым прожила годы. Он решил, что Андрэ Дельбо заставлял ее страдать.

Но, с другой стороны, он вспоминал свои первые встречи с нею у знакомых на Монмартре, когда она еще не была вдовою; она не казалась ему тогда несчастною. Она была даже самою веселою из всех.

Когда заходила речь об ее муже, она говорила:

— Он служит в кирасирах. Ему там не плохо...

И она ожидала его приездов в отпуск без нетерпения, но и без страха.

Если бы Андрэ был пехотинцем, как и он, Жак никогда не стал бы ухаживать за Еленой. Такая подлость внушала бы ему ужас. Кроме того, он находился тогда в периоде выздоровления, думал, что скоро вернется на фронт, и полагал, что это принесло бы ему несчастье. Но кирасир, — это совсем другая статья! Он видел их на войне, где они охраняли окрестности спокойных участков и весело шутили с девушками на порогах домов. Ему казалось, что он просто мстил за себя. О, эти вылощенные кавалеристы, рысцой проезжавшие мимо, поднимая пыль, которую глотала пехтура...

— Эй, ты, послушай, ты ошибся: окопы не там.

Каждый в свой черед...

Словом, Елена сделалась его любовницей. Потом, из-за какого-то пустяка — она была слишком властная, а он слишком капризный — они разошлись, и только несколько месяцев спустя он встретил ее в глубоком трауре в Тюильри и узнал от нее о смерти ее мужа, убитого в мае в бою у Лаффо.

Он не знал Андрэ и, стало быть, жалел только Елену. Он попросил разрешения навещать ее, чтобы развлечь и утешить, и скоро связь их возобновилась, как прежде. Никогда она не говорила ему о своем муже, разве только случайно, по поводу ее пенсии или вступления во владение магазином, за который Андрэ не успел выплатить все взносы, что пришлось сделать Жаку. Ни разу также не выразила она желания поехать на могилу покойного и на обращенный к ней однажды вопрос — ответила:

— Тела его не нашли.

Никаких дальнейших разговоров на эту тему у них не было.

Из всех этих воспоминаний и фактов Жак старался сделать какой-нибудь вывод. Если Елена никогда не

была несчастна, в буквальном смысле слова, то, может быть, она никогда и не любила Андрэ, выйдя замуж по расчету. Только этим можно было объяснить ее молчание и забвение... А может быть, она молчала из деликатности, из боязни не понравиться ему...

Эта неизвестность была неприятна Жаку, и, желая покончить с нею, он дал себе слово, что, когда жена приедет, он заставит ее заговорить.

Но в это время Елена не могла уехать из Парижа в течение трех недель; то был сезон, когда был большой спрос на перья и цветы; а с другой стороны, была такая плохая погода, что лучше было подождать, пока Дидье Роже получит свою тележку и сможет в воскресенье выехать на Суассонский вокзал, чтобы привезти путешественницу.

Мало-по-малу Жак стал думать о других вещах. Он встретился, конечно, с Каниве, но тот, слишком занятый собственными неприятностями, ни о чем с ним не говорил. Пострадавшие не могли найти себе работу, и те, у кого не было денег, жили почти как нищие.

Во всем округе, начавшем понемногу оживать, употребляли в качестве рабочих только военнопленных и китайцев; и в то время, как желтолицые, сытые и тепло одетые, скитались по всему краю, берясь иногда вчетвером за одну пустую тачку, или проводили целые часы, сидя на куче развалин, которую они должны были разобрать и увезти, жители, лишенные всего, только озлоблялись в своем безделии.

Китайцы сделались хозяевами всей долины. Лагери их встречались в Мисси, в Шасми, в Куврелле, и, за исключением торговцев, кормившихся от них, все остальное население смотрело на них, как на бич божий. Молчаливые и невидимые, они втирались повсюду и так же мало стеснялись перелезть через стену, как и отпереть закрытую дверь; обитатели, возвращаясь домой, застава-

вали их у себя за столом, причем лица их не только не были угрожающими, а наоборот — приветливыми; с лукавыми вокруг глаз морщинками и с растянутыми ртами, смеявшимися, казалось, надо всем на свете, незваные гости выслушивали сыпавшиеся на них упреки, но не двигались с места. Выпроводить их не было возможности: они делали вид, что ничего не понимают, и мило лопотали по-китайски, предоставляя владельцу дома или барака, пунцовому от гнева, понапрасну драть глотку.

— Что же мне делать? — неизменно отвечал жалобщикам начальник лагеря. — На партию в тридцать пять китайцев у нас один только надсмотрщик, а надо бы скорее столько же надзирателей, чтобы смотреть за одним желтолицым: так хитры эти наглецы... Вы недовольны их работою? Это дело управления освобожденными областями... Если же вы их обвиняете в грабеже, тогда обратитесь в министерство иностранных дел, потому что они подчиняются только китайским законам. А я завишу исключительно от военного министерства. Выбирайте.

И, чтобы кончить разговор, он прибавлял как бы в утешение:

— Желайте одного: чтобы они не взбунтовались; у меня десять солдат стражи на целый лагерь, а так как их тысяча сто человек с гранатами и ружьями, запрятанными по разным углам, то...

Но китайцы и не думали бунтоваться; они чувствовали себя во Франции очень хорошо и боялись, напротив, как бы их не отослали домой. Это были, по большей части, хулиганы и бездельники, набранные в портах, кули, никогда не державшие в руках заступа, а также несколько человек бедных студентов, придумавших этот способ изучения французского языка и ознакомления с Европой, не затратив на это дело ни одного

таэля [1]). Их законтрактовали на четыре года; два они работали в Лионе на военных заводах, и французским властям оставалось пользоваться ими еще в течение двух лет.

То были лучшие в мире покупатели; они восхищались всякой безделушкой, не находили ничего слишком дорогим, и все торговцы в Кресси, которых в этих разоренных городишках было так же много, как на фронте, завидовали Вору, сумевшему заполучить их в качестве постоянных клиентов, благодаря, как говорили, хитрой хозяйке, сделавшей одного из китайцев одновременно и слугой в своем трактире и своим возлюбленным.

Ловкие, как обезьяны, они шмыгали по всем дорогам, катаясь на новеньких велосипедах, или сидели на корточках перед клетками из ивовых прутьев, занимаясь дрессировкой птиц. Это была их главная работа.

Правда, желтолицые очистили также от камней несколько улиц, засыпали несколько траншей, но это делалось, некоторым образом, помимо их воли, силою времени, просто потому, что сделать меньше было физически невозможно. Что касается уборки снарядов, то они сразу же отказались от этого дела, находя его слишком опасным, и гранаты, ожидая в полях прибытия французских фейерверкеров, нередко взрывались под плугом, разнося в куски и земледельца и лошадь.

В хорошую погоду китайцы, растянувшись, дремали у огонька; но при первых же каплях дождя они бросали свои инструменты, убегали и прятались в землянки, где играли в карты до того времени, когда надо было возвращаться в лагерь.

Жак Ле-Водуайе, часто подсчитывавший про себя стоимость вывозки мусора и распашки земли, установил,

[1]) Таэль — китайская серебряная монета в виде бруска, стоимостью 2 р. 20 коп. *(Прим. ред.)*

что каждый перевезенный китайцами кубический метр обходился в пятьдесят франков, между тем как потерпевшие от войны жители выполнили бы это за двадцать су [1]).

— Это делается для того, чтобы нам надоело числиться пострадавшими от неприятеля, — повторял Каниве. — Мы щелкаем тут клювом, а эти макаки выхватывают лучшие куски.

Тем не менее, кривой отлично с ними ладил и, не заставляя себя просить, принимал от них угощение в виде чарочки белого винца, причем никогда не отплачивал им тем же.

— За те четыре месяца, что я вернулся, государство уплатило мне ровно двадцать франков, — объяснял он, — а на эти деньги я не могу угощать людей.

Он чуть было не просрочил получку этих несчастных двадцати франков, так как не мог добиться удостоверения о своем возвращении в родные места. Впоследствии разоренные жители должны были получить тысячу франков каждый на покупку мебели, но при приезде в свои развалины ни один из них, как бы нищ он ни был, не мог требовать больше, чем четыре пятифранковых бумажки. Это было то подаяние, которое газеты с чувством называли „возможностью для потерпевших отстроить свой очаг".

— Впрочем, не в этом дело, — говорил садовник, никогда не приходивший в отчаяние: — пусть мне отстроят мою хижину, и я буду доволен тем, что есть. С моими шестьюстами восьмидесятью франками пенсии, которую, рано или поздно, увеличат, с тем, что моя старуха получает для Амедея, и с тридцатью пятью су, которые мне назначили, уже можно изворачиваться, не обращаясь ни к кому за помощью... Это уже почти независимость...

[1]) То-есть за один франк. *(Прим. ред.)*

Так как Каниве не говорил больше об Андрэ Дельбо, то Жак, в конце концов, о нем забыл.

В одну дождливую субботу приехала, наконец, Елена. Она была в убийственном настроении, так как зябла и в поезде и во время долгого переезда на тележке, причем еще подскакивала на своей скамеечке при каждой рытвине. Она, не переставая, брюзжала.

— Весело в деревне, нечего сказать! — вполголоса ворчала она.

К счастью, на следующий день настала хорошая погода, и Дидье Роже заехал за ними и повез их к себе на ферму завтракать. Ветки зеленели легким пушком, и в окопах пробивалось немного травы. Дидье Роже даже указал супругам, как на редкость, на белую буквицу в овраге: то был единственный цветок, который можно было найти на трехстах гектарах равнины.

После обеда Жак и его жена захотели прогуляться. Дорогою они прошли мимо оборванных кабилов. С их коричневой кожей, свирепыми взглядами и лохмотьями цвета хаки, они были очень похожи друг на друга, и архитектор, вспомнив драку в Марувале, вдруг испугался: в этой пустынной местности, где каждая сапа могла служить засадой, на них легко могли напасть. Он обернулся, желая убедиться, что никто не следовал за ними: он никого не заметил, но в эту минуту, когда он меньше всего об этом думал, он увидел на горизонте, на другом конце долины, длинный, совершенно обнаженный кряж, на котором не было ни деревца, ни развалины, — Лаффо... Жаку показалось, что его словно ударили прямо в грудь.

Моментально к нему вернулись все, раньше мучившие его, мысли. Прежнее беспокойство овладело его сердцем. Он взглянул на Елену: она шла своим быстрым шагом, размахивая тросточкой и вдыхая свежий воздух.

— Вот видишь, — сказала она, указывая пальцем на склоны Конде, — перед войною все это было покрыто виноградниками...

Жак ничего не ответил. Теперь, когда ему оставалось только спрашивать, он почувствовал, как это тяжело, и не знал, как начать.

— Как печально смотреть на все эти могилы! — произнесла Елена, немного погодя, когда они шли вдоль траншеи, окаймленной деревянными крестами. — Как ты думаешь, всех их откопают?

На этот раз он вздрогнул. Что это, совпадение? Не внушил ли он ей своей мысли?.. Уже ли заговорит она сама?

Но нет: шагов через десять она заинтересовалась совсем другим.

— В следующий раз ты возьмешь с собою аппарат и снимешь меня на развалинах блокгауза, хорошо?

Жак молчал в нерешительности. Слова, готовые вырваться, застревали у него в горле. Наконец, не замедляя своего хода, он повернул голову и указал на голубой кряж на далеком горизонте.

— Там, ведь, Лаффо? — спросил он с видом вполне естественным, но показавшимся ему натянутым.

Елена остановилась и взглянула в ту сторону.

— Да, как раз против нас, — ответила она. И ничто не взволновало ее голоса. — А направо, в глубине, то синее пятно, которое ты видишь, это форт Мальмезон. А вот там, все эти деревья в углублении, это долина Санси.

Жак отвернулся, словно боясь, что она угадает его мысли. Затем, видя, что она замолчала, он спросил немного тише:

— Ведь твой муж был убит в Лаффо?

Елена, казалось, была удивлена.

— Ты отлично это знаешь, — ответила она.

В ее сухих словах ему почуялось раздражение, и вдруг он понял, что так расспрашивать ее — глупо, ибо это не подвинет его ни на шаг вперед. Тем не менее, робким голосом и почти против воли, он продолжал:

— Да, правда, ты уже говорила мне об этом... Но, видишь ли, — он окончательно смутился, — ты так редко об этом вспоминаешь...

Елена пожала плечами.

— Может быть, тебе и было бы интересно, чтобы я все время об этом говорила... Но это лучший способ заставить меня молчать...

В свою очередь, он запротестовал:

— Заставить тебя молчать, — кротко возразил он:— нет, нет... Почему же? Раз об этом заходит речь, так отчего же...

Она его перебила.

— Так, так! Но если ты слишком щепетилен, чтобы об этом говорить, то и я достаточно деликатна, чтобы молчать. Вот и все...

Несмотря на раздраженный тон жены, Жак почувствовал, что у него на душе сразу стало легче. Достаточно было этих нескольких слов, чтобы рассеялось томившее его навождение. Ну, конечно, она только потому и не говорила ему о своем первом муже, чтобы не оскорблять его, Жака. Минуту тому назад между ним и ею как бы висело какое-то стеснение, — теперь же, напротив, и тоже без причины, он воспылал к ней благодарностью.

— Если бы ты знала, моя хорошая, как я тебя люблю! — воскликнул он, схватив ее в восторге за руку.

Елена, привыкшая к переменам его настроения, не очень удивилась.

— Ах, ты, глупый мальчик! — сказала она ему, улыбаясь. — И подумать только, что тебе приходит

в башку!.. Тебе не следовало быть архитектором! Ты рожден поэтом!

Он посмотрел на нее счастливыми глазами.

— Я не поэт, а художник, — весело возразил он.— И потому я напишу большую картину, огромное полотно, какого никто еще не создавал, нетленное произведение из камня, черепиц, шифера и кирпичей. Какая палитра, а? Пусть-ка они приходят со своим ультрамарином и пурпуром!.. Я буду получать краски целыми грузовиками. Увидишь, какой прекрасной будет моя картина: это будет целый городок по склону косогора, поясом будут окружать его деревья, а внизу будет река, в которой он будет омывать свои ноги. Его будут беспрестанно оживлять и молодить сменяющиеся времена года: весною он будет зеленый, осенью — золотистый, а зимою — совершенно белый, и небо, словно красавица, будет смотреться в воды его реки. Ты увидишь, — я уже знаю всякую его подробность, — ты увидишь, какая там будет церковь с колокольней, такой остроконечной, что места там хватит разве только для ласточки. Я вижу фермы, виллы, лавочки и наш дом, такой красивый, с его высокой черепичной крышей, надвинутой на него, как шляпа, до самых глаз. И я подпишу этот великолепный пейзаж: мое имя будет выгравировано на фронтоне мерии и в вечерний час его будут чертить на небе трубы своими черными буквами из дыма...

Он показался ей смешным и угадал это по ее улыбке. Наделенная здравым смыслом, с известной долей лукавства, Елена не доверяла идеалам и сказала мужу, словно пожурила мальчика:

— Глупый! Я не сомневаюсь, что если бы господин Жоссе тебя слышал, он взял бы другого, чтобы построить ему фабрику.

Сомнения Жака окончательно рассеялись. Он даже спрашивал себя, как мог он мучиться из-за такого

пустяка. Как мог он беспокоиться об отношении его жены к человеку, которого она не любила? Он жал ей руку, не спускал с нее глаз, и сердце его переполнялось любовью при мысли, что Елена принадлежит ему, ему одному и навсегда.

Они дошли до „Горы". От некогда великолепных вязов оставались только два захиревших дерева, с обломанными сучьями и обнаженными стволами. Дома вокруг все были разрушены, и маленькая площадь, казалось, заключала в себе все, что было живого среди развалин.

Дети играли с собаченкой, заставляя ее лаять, и родители их испытывали столько же, может быть, удовольствия, сколько и ребятишки, так как это был первый пес, снова появившийся в Кресси. Казалось, что своим лаем он выводил городок из его оцепенения.

У дверей одного барака калякали женщины.

— Все равно, это очень милая парочка, — решила прислуга кюре, когда архитектор с женой проходили мимо.

Мать Каниве следила с минуту за ними глазами, теребя угол своего фартука. Потом, когда они исчезли, она пробормотала:

— Сейчас видать, что вы не знали ее первого мужа: его она тоже любила.

Но служанка давно уже знала, что стоили все трауры и сожаления.

— Что делать, соседка, — вздохнула она: — нельзя жить с покойниками.

* * *

Хотя это и может показаться странным, но в воскресенье китайцы умудрялись работать еще меньше, чем в будни. Когда их не удерживало в лагере какое-нибудь устроенное ими развлечение, они наводняли

улицы Кресси своими веселыми толпами, к которым часто присоединялись разодетые по-воскресному девицы.

Наглые и бесцеремонные, они всех задирали и подымали на смех жителей городка, которые считали себя, конечно, умнее желтолицых. Лишенные красочности европейские имена ничего не говорили их уму и сердцу, и потому всем, с кем они приходили в соприкосновение, они давали особые прозвища. Так, жену Вору они величали не иначе как „Татус", т.-е. „толстуха", и это так подходило этой огромной, с короткими ногами особе, что даже муж не называл ее иначе.

— Эй, послушай, Татус! — кричал он ей из-за прилавка.

А китайцы хохотали, показывая свои черные зубы.

Все они одевались по-европейски, не носили кос, щеголяли в изящных ботинках, немилосердно жавших им ноги, и в узких брюках и воротничках, стеснявших их движения. Только некоторые из них сохранили из национального костюма черные атласные панталоны, широкая верхняя часть которых спадала им до половины ляжек. Многие из желтолицых франтов гуляли даже в ясную погоду с зонтиком в руке, памятуя, что на их родине это особая привилегия мандаринов.

Люди, встречавшиеся с Еленой, оборачивались, и Жак слышал, как за его спиною они болтали на ее счет. В конце концов, это привело его в раздражение, и он предложил жене еще засветло вернуться домой и взять немного белья, которое она хотела распределить между жителями. Он знал, что ей нравились такие благотворительные прогулки. В последнюю свою поездку она привезла простыни, пеленки, кофты и башмаки, собранные ею в разных учреждениях и у знакомых, а кроме того, благодаря ее хлопотам, торговый дом „Уют и Комфорт" прислал целую телегу с мебелью для более пострадавших обитателей.

Сначала Елена думала, что ее примут в убогих хижинах за добрую волшебницу, и, гордясь приносимым ею счастьем, она искала улыбок на изможденных лицах бедняков. Но те не улыбались, едва благодарили и, развернув простыни, только говорили:

— Да, конечно, это лучше, чем ничего...

Она еще помнила эти слова, и потому предложение Жака показалось ей на этот раз менее соблазнительным, чем в прошлые воскресенья.

— Как хочешь, — сказала она без особенного восторга, — но так как у меня вещей немного, то отнесем их священнику: пусть он займется раздачей.

Нижний этаж дома кюре, под временной крышей из листового железа, приколоченного к потолочным балкам, был почти приспособлен для жилья. Ле-Водуайе застали там несколько хозяек, которые распивали кофе с прислугой аббата.

— Кюре уехал в Париж, — заявила она, предлагая пришедшим стулья. — Он, бедняжка, рассчитывает раздобыть там немного денег.

И, не ожидая дальнейших расспросов, она рассказала, что священник во всем нуждался, что он получал из епископата только четыреста франков в год на прожитие, и что еще сегодня утром она должна была занять ему денег на железнодорожный билет.

Елена, которой хотелось уйти как можно скорее, передала положенный Жаком на стол пакет. Одна из крестьянок с любопытством развернула его.

— Вы покупаете это, конечно, не на свой счет, — сказала она уверенным тоном, пересчитывая тряпки. — Вы только берете на себя труд передачи... Но это ничего не значит. Всетаки свет не без добрых людей...

А другая, не переставшая разглядывать принесенные вещи, прибавила:

— Это не бог весть что, но всетаки это приятно...

Елена ушла взбешенная. На улице она не выдержала.

— Ах, старая паршивка! Ты видел, как мать Каниве сидела у печки! Она и носа не подняла, чтобы взглянуть на меня. И подумать только, что я была такая дура и выхлопотала для нее тюфяк. Это будет мне уроком...

* * *

Несколько дней спустя архитектор встретил садовника, спускавшегося с холма вместе с матерью; они были нагружены разными предметами, собранными ими на равнине. Жак решительно подошел к ним, и тотчас же, как только поздоровался, сказал, обращаясь к крестьянке:

— Вы были не слишком любезны с моею женою в прошлое воскресенье.

Падая от усталости и опираясь на тяжелую связку лопат, старуха ответила, не подымая глаз:

— Я не была невежливой; я ей ничего не сказала, ни одного слова.

— Но вы даже не поздоровались с нею, — заметил Жак, не сердясь.

Садовник, со смущенным видом, вмешался в разговор.

— Видите ли, господин Ле-Водуайе, у матери есть на то причины.

— Тогда скажите, в чем дело! Ведь можно же, чорт возьми, объясниться!

Мать Каниве вытерла нос тылом руки.

— Да нет же, о чем тут говорить! — запротестовала она гнусавым голосом. — Скажу вам только, что я знала ее покойного мужа, когда он был еще совсем маленьким; я дружна с его матерью, которая иногда навещает меня здесь, и я не могу, ни за что не могу с нею говорить;

я признаюсь вам прямо, как оно есть: у меня из горла слова не выходят, чтобы с нею заговорить.

Неудовольствие Жака сразу упало.

— А! — пробормотал он, — его мать еще жива... Я не знал.

— Ну, конечно, — сказал Каниве, — ваша барыня не говорила вам об этом. Они плохо ладили между собой.

— И... она все еще горюет? — с некоторым смущением спросил молодой человек.

— Эта женщина, можно сказать, не живет больше,— ответила крестьянка. — Ей и ее мужу надо поставить в заслугу, что они сумели воспитать своего сына; они отказывали себе в последнем, чтобы дать ему хоть немного образования. Но он, конечно, не был неблагодарным, о, нет! Он любил своих стариков... Будь он жив, они никогда ни в чем не нуждались бы... А вот теперь...

— Они несчастны? — забеспокоился Жак.

Каниве поднял к небу свой единственный глаз.

— Они бедны, как церковные крысы, сударь мой! У них только и есть что маленькая пенсия старика, работавшего на железной дороге, да пособие Андрэ... С этим далеко не уедешь... Особенно, если принять во внимание, что старик прикован болезнью к кровати и никуда больше не годится... Да, у них невесело!

Старуха, наклонившись, перевязывала свою ношу.

— И кто им поможет, — пробурчала она. — Уж, конечно, не сноха!..

— Впрочем, — прибавил с живостью Каниве, желая поправить дело, — не верьте всему тому, что вам рассказывают. О вашей жене никогда нельзя было сказать ничего дурного; никогда ничего плохого не говорили о ней у нас в городе. Никогда...

И, повернув в другую сторону свой единственный глаз, он взволнованно протянул руку, словно готов был принести присягу.

* * *

Начало первой мирной весны было трагическим для разоренных департаментов. Можно было подумать, что там поселилось несчастье, найдя среди развалин подходящее для себя место.

У потерпевших не было ничего. И они ничего не знали. Они ждали.

Всякий, возвращавшийся на родину, походил на кораблекрушенца, высадившегося на необитаемый остров. Для него начиналась новая жизнь. Надежда придавала силу его рукам, и ему хотелось тотчас же взяться за работу, чтобы как можно раньше ее кончить. Но жалкие усилия всех этих людей так мало значили в окружавшем их беспредельном хаосе, что они скоро приходили в отчаяние.

Чтобы вернуться к своим очагам, многие из потерпевших бросили службу в разных углах Франции, где они зарабатывали себе на хлеб, и женщины заливались слезами, рассказывая о домике или о квартире, которые они покинули, чтобы томиться в погребах.

Стойко перенося лишения и суровую погоду, они с трудом мирились со своим одиночеством, с жестоким сознанием, столь знакомым солдатам на фронте, что они отрезаны от всего мира и составляют вдали от великого человеческого общества какое-то особое племя. Никто не приходил в их хижины, чтобы их ободрить и сказать им, что о них помнят, что для них работают... Иногда, по воскресеньям, по дороге проносилась, нигде не останавливаясь, вереница автомобилей, подавая громкие сигналы. То был маршал или министр, приезжавший

в город, чтобы раздать кресты, и пострадавшие бежали рядом с машинами, размахивая фуражками и руками, как машут потерпевшие кораблекрушение плывущему мимо них судну.

Бывали моменты, когда эта бедная Франция думала, что ее богатая родина-мать забыла о ней. Парижские газеты приносили ей отзвуки небывалых празднеств: люди танцовали, веселились, тратили огромные деньги. Ежедневно она узнавала о новых скандалах, о спекулянтах, сразу наживавших по десять и по двадцать миллионов. А тут, в пострадавших местностях, несчастные жители ютились в шалашах и спорили из-за ломтей хлеба и обглоданных костей.

Жизнерадостные китайцы с туго набитыми карманами и служащие окружного управления, никогда ничем не занятые, стояли у них перед глазами, как вызов судьбы. Переселенцы могли бы взбунтоваться или, потеряв бодрость, бросить все и разбрестись в разные стороны... Но нет! Ни один не поддался этому искушению, ни один не уехал.

Лишенные всего необходимого, отапливая свои берлоги найденными в окопах печурками, передвигая свои кровати, когда дождь протекал сквозь крыши, из одного угла дома в другой, не находя чистой воды, так как большинство ручьев изменило свое течение или высохло, — люди цеплялись за свою пустыню с каким-то отчаянием или, скорее, со слепым ожиданием.

Их терпение было непонятно. Одни из них приводили в порядок Кранн, другие раскапывали землю в Лаффо, третьи возвращали к жизни Берри-о-Бак, Оживаль и Санси, четвертые вытаскивали из погребов покойников, чтобы спать там самим.

Видя, как толпы пигмеев шли приступом на горы развалин, как крестьяне выкапывали гранаты, чтобы борозды их полей были прямые, Жак спрашивал себя

иногда, не двигали ли ими души умерших солдат, не вдохнули ли они в себя свое упорное мужество вместе с воздухом фронта?

И ему казалось, что ему следовало, как и им, согнуть спину и, противостоя всему, жить тем же безропотным лозунгом — ожиданием.

Когда стало известно, что в обеих палатах прошел, наконец, закон о возмещении убытков, причиненных войною, все население Кресси очень обрадовалось. Жители набросились на газеты, привезенные солдатами из Суассона. Они разбирали по слогам столбцы тесно напечатанного текста или слушали, не всегда хорошо понимая, деревенских грамотеев, уверявших их, что их испытаниям скоро будет конец.

К молодому архитектору явилось человек двадцать переселенцев, которые просили его объяснить им закон и все спрашивали:

— Как вы думаете, когда настанет мой черед?

Каждый видел среди трех тысяч пятисот общин, опустошенных снарядами, только свою собственную, и жители Кресси, как и обитатели других мест, были убеждены, что землекопы и каменщики нахлынут к ним уже наутро: им казалось невозможным, чтобы на всем фронте мог быть другой, более разоренный, чем их, городок.

Каниве, всегда хорошо осведомленный проезжими „господами“ и „важными американскими начальниками“ — по большей части простыми мотоциклистами, — повторял всем желавшим его слушать, что Клемансо сказал: „Прежде всего Шемен-де-Дам“, — и все потерпевшие ему верили: такими разумными казались им его слова.

Жак Ле-Водуайе был так доволен известием (особенно радовался он тому, что будет работать и приносить пользу), что не захотел в тот вечер обедать один

в своем бараке и, желая отпраздновать этот достопамятный день, пригласил садовника откушать с ним в трактире.

Это неожиданное угощение приняло для Каниве размеры кутежа, и он переполнился такой радостью, что дорогою звал всех с собой.

— Пойдемте с нами, Этьен, — предложил он добродушному старичку, сидевшему у своего погреба. — Господин архитектор платит за все.

— Спасибо, мой друг, — ответил тот, — но я не могу...

Он говорил с трудом, запрокидывая голову, чтобы проглотить слюну, как это делает утка, глотающая червяка.

— Мне неприятно отказать бывшему фронтовику, — продолжал старик. — Ты знаешь, как я смотрю на это... Но никто никогда не увидит меня у Вору: не дождутся они этого... Они служили пруссакам, они наживались при их содействии, и ноги моей больше не будет у этих негодяев.

— И упрям же этот папаша Ля-Виктуар! — захохотал во все горло Каниве, причем его адамово яблоко, величиною с яйцо, прыгало во всю длину его худой шеи. — Вот уж не любит он Фрицов!..

— Не смейся, — возразил ему старик, поднимаясь с трудом на ноги и опираясь на две палки. — Я уже вышел из того возраста, когда берутся за ружье, но я видал виды... Я ему сказал... тому офицеру, который спросил меня, люблю ли я свиней... Да, я ему сказал: „Есть двуногие свиньи, которых я еще меньше люблю". Я сказал ему это прямо в лицо... И я питался желудями и таким супом, которого и собакам не дают... И все это, когда мне было уже за семьдесят лет...

Он вдруг умолк и с минуту стоял с разинутым ртом и с угасшим взглядом, качаясь на своих палках

справа налево. Затем, найдя потерянную им на мгновенье нить разговора, он закончил:

— Не пойду я к ним... Я уже тебе сказал... Сейчас они живут в хорошем бараке, они, у которых до войны был только скверный глинобитный домишко, а я должен спать в погребе.

— Ну, не отчаивайтесь, Этьен, — успокоил его кривой, чувствовавший себя таким счастливым, что готов был в этот день облагодетельствовать всю вселенную. — Я вам отстрою ваш барак, обещаю вам это. Я вам возведу совершенно такой же, как себе, в ожидании, пока правительство отстроит вам ваш дом... До-свиданья!

Когда они прошли несколько шагов, садовник принял свой обычный хитрый вид и, выпятив щеку языком, как будто жевал табак, сказал:

— Отец Ля-Виктуар впадает в детство... А жаль! С ним было приятно поговорить, с этим стариком. Он, например, всегда предсказывал нам, что будет война: так оно и вышло.

— А то, что он рассказывает о Вору, — правда?

Каниве, сделав неопределенный жест, дал уклончивый ответ.

— Э! Нельзя верить всему, что говорят, — медленно произнес он. — Верно только то, что теперь им живется лучше, чем раньше... Люди, которые были с ними в Арденнах, рассказывают, что жена кутила с бошами, а муж в это время прохлаждался в лагере гражданских пленных. Но... Меня там не было, и я ничего не видал... К тому же, между нею и Этьеном была маленькая ссора. Раньше он посещал жену Вору, — она, видите ли, была благосклонна к нему, — а во время войны они поссорились. Так что тут не узнаешь доподлинно, что произошло.

Китайцы то и дело входили и выходили из лавки-кабачка Вору и спорили перед дверью, показывая друг

другу свои покупки. Местные торговцы выписывали из Парижа поддельные драгоценности: булавки для галстуков, брошки, маленькие медальоны для фотографий, — и желтолицые рвали все это друг у друга из рук. Но особенную слабость они чувствовали к парфюмерии. На полках, между бутылками со спиртными напитками, стояли флаконы всех размеров, форм и цветов, а самые дорогие из них в красных коробочках, и с тех пор, как Вору торговали этим товаром, от всех туземных замарашек пахло розами и тройным экстрактом белой лилии, которые им дарили китайцы.

Перед прилавком у Вору теснилось много народу, и девушку-продавщицу разрывали на части. Каниве, свой человек в кабачке, проводил Жака в заднюю комнату, где они нашли незанятый стол. Несколько китайцев сидело там и пило. Они поглощали, по обыкновению, ром, и только несколько монахов довольствовались сиропом; человек, исполнявший в заведении должность лакея, хорошо знал своих клиентов и, не ожидая приказаний, приносил каждому полный стакан требуемой жидкости.

Это был высокий толстяк, с маленькими хитрыми глазками и блестящими черными волосами, правильно разделенными пробором. При взгляде на него невольно возникал вопрос: что в этой обезьяне соблазнило хозяйку трактира? Рассказывали, что он бил ее, когда она не давала ему достаточно денег, а ее муж, что-то вроде ярмарочного геркулеса, заросшего до самых ушей шерстью, ничего не подозревал, подобно тому, как в начале войны, перед тем как его выслали, он не замечал, что жена обманывала его с баварским унтер-офицером, в то время как это бросалось всем в глаза. Когда, в 1918 году, он вернулся к своей супруге, у нее было одним ребенком больше, но он не считал по пальцам своих детей — по крайней мере, на людях. Зато его собственные

малыши, когда они дрались с „лишним“ мальчиком, которому не было и четырех лет, не отказывали себе в удовольствии называть своего младшего братишку „проклятым бошем“.

Небольшая комната, в которой пили и ели, была украшена рекламными календарями и китайскими эстампами, напоминавшими эпинальские [1]) лубочные картинки, изображавшие целые истории. Садовник внимательно их разглядывал и спрашивал объяснений у желтолицего служащего, но тот, должно быть, отвечал ему глупости, потому что другие китайцы покатывались со смеху.

Когда совсем стемнело, в заведении стало просторнее, и наши друзья могли почти спокойно пообедать, так как за столами оставалось только несколько желтолицых и местных жителей. Выпили за новый закон.

— Выбери себе местечко получше: сегодня будет много народу, — сказал Каниве, подымая первый стакан.

В то время, как его конкуренты нуждались во всем, трактир Вору, получавший продукты из китайского лагеря, мог поспорить с городским кафе. Садовник оказал честь винам различных марок и, придя в хорошее расположение духа, предался воспоминаниям. Как и все мирные провинциалы, у которых не было больших переживаний, он говорил только о войне.

Сначала, желая рассказать все разом, Каниве путал даты и людей. Повествование о вахмистре, которому шрапнель угодила в мягкие части в тот момент, когда он удалился в кусты за известной нуждой, заставило его добрых пять минут кашлять от смеха. Затем он напустил на себя серьезность, наклонил голову и, сплющивая кончиком ножа крошки на столе, стал излагать

---

[1]) Эпиналь — главный город департамента Вогезов, известный, между прочим, производством хромолитографий, по большей части лубочного характера. *(Прим. ред.)*

все подробности последней атаки, в которой он участвовал. Жак слышал, по крайней мере, раз десять этот рассказ о бое в Комоне, в разгар германского наступления, когда истощенные англичане и французы шли с пустыми желудками на неприятельские пулеметы и валились целыми рядами. Лицо кривого, когда он говорил об этом, резко изменилось.

— Оба мои глаза видели это, но помнит об этом — увы! — только один...

К счастью, выпитая после кофе водка вернула Каниве его хорошее настроение, и он стал подражать трубным сигналам своего полка. Его громкие „тра-та-та!" привлекли внимание хозяина.

— Значит, сегодня мы гуляем, Каниве? — спросил он, подойдя к гостям с засученными на волосатых руках рукавами сорочки.

Но кривой, которому выпивка ударила в голову, озлобленно возразил:

— Не суйся не в свое дело! Ты не можешь этого понять: ты не воевал!

Кабатчик пожал плечами.

— Ты вечно повторяешь мне одно и то же, но ты хорошо знаешь, что я был в плену и что по моему призывному возрасту я мог караулить только мосты.

„Татус", которая ходила взад и вперед, вытирая стаканы, искоса поглядывала на Каниве.

— Да, не легко будет ужиться с людьми, побывавшими на войне, — сказала она как бы про себя. — Разве мы в этом виноваты?.. А они будут командовать, сердиться из-за пустяков и строить свирепые рожи.

И прибавила, обращаясь к Жаку:

— Для всех хватило несчастья, уверяю вас! Четыре года у бошей, это тоже чего-нибудь да стоит.

— В особенности, если принять во внимание, что мы не получаем пособия первой категории, — присовокупил трактирщик. — Ну, скажите по совести, разве это справедливо?

Каниве удовольствовался тем, что, ничего не ответив, лишь покачал головой; но когда супруги Вору отошли, он насмешливо произнес:

— Пособие первой категории!.. Нет, вы подумайте только, куда он метит, этот рогач.

Через минуту толстуха вернулась, поставила на стол бутылку вина из виноградных выжимок и пять рюмок — она никогда не забывала своего китайца — и заявила:

— С вашего позволения!

Она грузно опустилась на скамейку, тряхнув при этом жирными грудями, и взглянула на садовника, надувая свой толстые щеки.

— Послушай, Каниве, — сказала она решительным тоном, — я предпочитаю говорить с тобой откровенно, а не носить это на сердце. Мальчик мой сейчас, вот, слышал, как ты разговаривал с Этьеном. Неужели ты на самом деле построишь барак этому старому хрену?

Жак во-время заметил, что у него не было огня, и встал из-за стола, чтобы не быть вовлеченным в обсуждение этого вопроса. Он зажег папироску и, прислонившись лбом к оконному стеклу, курил маленькими затяжками.

Ночь была мрачная, и чувствовалось, что на дворе мороз. Когда в бараке на минуту устанавливалась тишина, на улице слышались звонкие шаги, стучавшие как молотком по твердой земле. Над городком нависло глубокое, угрюмое молчание...

„Зачем я здесь?" — внезапно спросил себя молодой человек, охваченный беспричинной тоской.

Ветер налетал на домишко, трещавший всеми своими досками. Архитектор подумал о том, что сейчас надо будет итти в темноте, спотыкаться, пробираться ощупью, и все только для того, чтобы найти свое жилье пустым,

а свою постель холодной. Никогда еще он не чувствовал себя таким одиноким.

„Зачем я здесь?“

Неужели он осужден на вечную походную жизнь, на неверное существование под шатким кровом, среди несчастных людей, которые то стонут от горя, то дико горланят от радости? Неужели война никогда не выпустит его из своих когтей?.. Все те же люди, все та же обстановка... Уж не находится ли он поблизости боевого участка и не сменили ли в этот вечер одну часть другою? Разве эти шаги во мраке не топот солдат? И не узнает ли он, обернувшись, своих товарищей, свертывающих свои одеяла и застегивающих торбы?..

Эта галлюцинация стала такой тяжелой и отчетливой, что молодой человек быстро отошел от окна и сел на свое место.

Внутренность трактира была еще печальнее, чем дорога, на которую он только что смотрел. Лампа с поломанным стеклом едва светила, и Жак различал лишь сблизившиеся лица садовника и лавочницы — все же вокруг тонуло в темноте. На скамьях кучами лежали отяжелевшие от усталости тела... У архитектора явилось ощущение, словно его платье буржуа должно было оскорбительно выделяться среди окружавших рабочих костюмов.

— Пойдем, пора, — сказал он, вынимая кошелек.

Последний сын кабатчицы, грязный и выпачканный, спал, сжавши кулачки, у конторки. У него было бледное личико плохо выкормленного ребенка, выросшего в подвале. Вору пинком разбудил его.

— Да, этот мальчишка не от него, — заметил, выходя, Жак.

Садовник, став, повидимому, под влиянием вина более снисходительным, выразил жестом, что он прощает блудницу.

— Не она одна валялась с бошами. Как это ни печально, но я знаю еще кое-кого.

Потом, пройдя несколько шагов и вытирая свой единственный глаз, в котором от ветра появились слезы, он благодушно решил:

— Как хотите, но четыре года это слишком долго, а женщина всегда остается бабой!

IV.

— Это пропащий край, уверяю вас, погибший, конченый!

И Ганье ворошил концом своей трости землю, словно желал внедрить в нее свое убеждение. На его багровом лице, перерезанном толстыми седыми усами и густыми бровями, было написано, что мэр Кресси, крупный землевладелец кантона, был не из тех, кому можно было противоречить. Приехав утром он быстро обошел все развалины, начав со своей разрушенной фермы, побродил по полям и не только не определил границ своих владений, но еще изорвал себе о рогатки платье на Виноградном Холме; он не нашел также и ручья, снабжавшего водою его водоем: поток куда-то бесследно исчез. И потому, весь красный от гнева, Ганье был готов послать к чорту все, что у него еще оставалось.

Он громко ругался, сердито ворчал, и когда кто-нибудь из жителей его о чем-либо спрашивал, он высокомерно приподнимал плечи, словно всякий вопрошавший его был виноват во всем происшедшем, и отвечал:

— Нечего сказать, хороший подписали мы мир!.. Надо было ворваться в Германию и сделать там то же

самое: все спалить, сжечь, разгромить!.. Вот что надо было сделать!..

И кончиком трости он указывал на большую, окаймленную обгорелыми постройками, улицу.

— Вы только посмотрите! Правительство не должно было разрешать жителям возвращаться сюда! Нельзя заставлять людей жить по-собачьи!

Потерпевшие — человек двадцать, молча сопровождавших мэра, — опять пришли в отчаяние. С тех пор, как они вернулись на родину, они почти привыкли к своей тяжелой жизни, приспособились к своим лачугам и даже не замечали развалин, — так они им примелькались; они примирились со своим вытершимся о стены платьем, со своими подобранными в мусоре военными фуражками и становились со дня на день все безличнее и серее, походя на камни своих былых жилищ. И вдруг все это снова всплыло перед ними, и они поняли, что ничто на свете не в силах создать из окружавшего их хаоса их прежнюю общину, превратить пустыни в поля.

— Да, это правда, — подтвердил Каниве, всегда соглашавшийся с тем, кто говорил последним, — я и сам себя спрашиваю: зачем мы вернулись сюда, что мы будем тут делать?

Мэр повернулся к нему.

— Да, пусть нам заплатят, чорт их побери, — воскликнул он. — Пусть нам возвратят убытки, и мы все уйдем!

Он покачал головою и грозно прибавил:

— Посмотрим! Пострадавшие не позволят себя стричь, не позволят!

Затем, поклонившись своим спутникам, он удалился с мадемуазель Фаржетон-старшею, единственной женщиной, у которой во всей общине, а может быть, и во всем округе четыре года войны каким-то чудом пощадили дом.

— Еще счастье, что вы приютили меня у себя, — все тем же сердитым тоном сказал он ей. — Все остальное, дорогая Мальвина, пропало, погибло навсегда!

Размахивая руками и окончательно потеряв мужество, потерпевшие смотрели, как уходил Ганье. Один из них пробурчал, ткнув пальцем в старую деву:

— Только этой морде и везет! У ее бедной сестры была жалкая хибарка, так ее немцы разнесли; а вот на вилле, которую эта корга получила в наследство, сбито только несколько черепиц.

— Это даже неестественно, — поддержал его другой.

А Каниве, желая усилить впечатление, прибавил:

— Вероятно, она была шпионкой.

Прогулка с мэром расстроила садовника. После обеда он должен был закончить расчистку своего участка, чтобы засеять картошку, но настроение у него испортилось, и он, собиравшийся утром вскопать все огороды в Кресси, не хотел теперь и прикасаться к лопате. Зачем это?

— Пропало, погибло навсегда! — повторял он, в свою очередь, слова Ганье.

Увидев товарища, починявшего, взобравшись на лестницу, свою картонную крышу, он крикнул ему:

— Да ты здоров?.. Ничего не надо делать!.. Пусть правительство вернет нам убытки, и мы уйдем!..

С такою же, полною разочарования, речью обратился он к Дидье Роже, которого встретил на дороге, и марувальский фермер, расспросив его, узнал все, о чем говорил мэр.

— Ганье прав, — прибавил Каниве, — нам остается только все бросить и вернуться во Францию... Да и скажите сами: где же мне тут садовничать при таком беспорядке?

— Займитесь чем-нибудь другим, — посоветовал ему фермер, улыбнувшись углами губ. — Я, ведь, уже говорил

вам, что в течение нескольких лет в этой местности трудом своих рук денег не заработаешь. А садоводством — тем более. Дело не срочное.

Но кривой упрямо покачал головой.

— Нет. Не в моем возрасте менять ремесло. Остается только поступить так, как сказал мэр: пусть правительство вернет нам убытки, и мы уйдем отсюда...

Садовник, по мере того, как он говорил, взвинчивал самого себя и сердился все сильнее. В таком настроении направился он к трактиру Вору. В кармане у него было пусто, но он рассчитывал встретить какого-нибудь щедрого китайца, а если это не выйдет, то получить что надо, забежав на минутку к Этьену, у которого всегда было вино. Сам же он не мог себе купить и стакана: у него оставалось ровно десять франков, которые он должен был отдать матери, чтобы ей хватило до конца месяца.

Татус, заметив, что он вошел к ней в барак, выразила радость, сильно удивившую кривого.

— А! Это ты, Каниве! Это очень хорошо. Ты пришел кстати. Зайди-ка сюда: с тобой хотят поговорить.

Еще на пороге соседней комнаты Каниве уже знал, кого он встретит: он услышал голос Лабаду. Этот человек, как только он куда-нибудь приходил, моментально давал об этом знать, потому что, не успев открыть дверь, он, вместо того, чтобы говорить об убытках, описях и экспертизах, как это ему полагалось по должности, начинал, улыбаясь в свою тулузскую бороду и положив руку на сердце, громко петь.

Все другие деловые люди пропахли процентами и протестами, а Лабаду дышал весельем. Он смешил ребятишек, называл „своим добрым другом" всякого встречного и поперечного, предлагал женщинам привезти им из Суассона все, что надо, на руле своего велосипеда

и, не ожидая, чтобы его просили, начинал исполнять свой репертуар.

Для местного населения, лишенного каких бы то ни было развлечений, посещение Лабаду было радостью, целым событием; своим тенором он привлекал к себе больше клиентов, чем его конкуренты своим языком готовых на все ходатаев. Впрочем, надо сказать, он был хитрее их всех.

Увидев садовника, Лабаду, сидевший откинувшись на спинку стула, просиял сердечной улыбкой и воскликнул:

— Ура! Привет тебе, товарищ!

И, подняв стакан, он запел во все горло, как в „*Ромео*":

— *Добро пожаловать, о друг, в мой дом!*

При всех других обстоятельствах, Каниве был бы в восторге от оказанного ему приема, но в ту минуту он был мрачен.

— Да, вам-то весело, — пробурчал он. — Сейчас видно, что вы — не потерпевший, и что война вас не тронула.

Вору, сидевший, без пиджака, за столом, опустил голову и почесал в затылке: он находил, что разговор завязался совсем неподходящий, но Лабаду, напротив, считал такое начало великолепным. Обескураженного человека — он знал это по опыту — скорее обработаешь, чем всякого другого. Он не стал поэтому утешать кривого, а захватив в горсть свою бороду Тартарена, воскликнул драматическим голосом:

— Это правда! Плохи дела! Очень плохи!.. И не видно конца испытаниям пострадавших!

Татус вздохнула, как бы подтверждая его слова. Усадив садовника, толстуха, в свою очередь, опустилась на табурет, совершенно исчезнувший под нею, и, посоветовавшись взглядом с Лабаду, сказала:

— Послушай, Каниве, у тебя сейчас два дома: твой и Амедея, который он унаследовал после своего отца и отдал на твое попечение. Вам, троим, не нужно двух домов, неправда ли? Так вот, если хочешь, у тебя купят один из них вместе с правом на причитающиеся по нему убытки. Подходит это тебе?

Кривой мгновенно насторожился и молча повернулся к Вору.

— Тебе, что же, нужен дом в шесть этажей, раз ты хочешь скупить матерьял, оставшийся у других для постройки? — спросил он подозрительным тоном.

Не подымая глаз, трактирщик промычал:

— Гм!.. Мне, видишь ли, нужно место, вот что...

— Ну, а к чему же тебе еще право на возмещение убытков, если ничего не надо строить? — настаивал садовник.

Тут вмешался Лабаду.

— Позвольте, мой добрый друг, а почему вы знаете, что ничего? Есть еще и другие строения, необходимые для восстановления экономической жизни края. Нужны будут, скажем, гостиницы, чтобы кормить и давать приют рабочим, которые явятся сюда.

Каниве сморщил нос.

— А! — пробормотал он. — Вы хотите построить гостиницу. Ну, и везет же вам!

Он почувствовал во рту горечь при мысли о том, что этот косматый бездельник, которого он знал нищим, как церковная крыса, поговаривает о покупке домов. Он находил, что судьба несправедлива.

Хозяйка сделала знак своему китайцу—принести рюмки, но кривой оттолкнул свою, когда ее поставили перед ним.

— Нет, я ничего не буду пить.

— Ну, полно, Каниве, — приставала к нему толстуха, — не позорь нас. Давай только чокнемся, хотя бы для виду.

Он уступил и позволил налить себе вина. Затем, отпив глоток, он зажал рюмку в свою грязную руку и принялся нюхать напиток, твердо решившись не говорить первым.

Татус снова атаковала его.

— Ну, как же насчет выгодного проекта?

Садовник твердо стоял на своей позиции.

— Не возражаю. Я только не знаю, какой дом вы хотите купить: мой или тот, другой?

— Какой хочешь, — тяжело вздохнул Вору. — Твой, если тебе это больше нравится. Тебе даже оставят землю, понимаешь, потому что нам нужно провести возмещение убытков...

Деловой человек обнаружил притворное беспокойство.

— Не увлекайтесь, Вору. Я вас предупредил, что окружная комиссия не дорого заплатит за эти лачуги.

— Это-то верно, — подтвердила Татус. — Скверный домишко, даже без чердака... Ты не много на нем потеряешь...

Такая оценка его имущества задела кривого.

— Если он ничего не стоит, то незачем и брать его, — промычал он. — Я ничего ни у кого не прошу.

Трактирщица ближе придвинула к нему свой табурет.

— Не сердись, ведь мы только рассуждаем... Ты сам должен понимать, что твой дом, точно так же, как и наш, не может приносить тысяч и сотен.

— Все равно, — спорил Каниве, — позже, когда он отстроится, он будет иметь свою цену.

На губах Лабаду мелькнула вдруг горькая улыбка.

— Когда он отстроится! — воскликнул он, подымая к потолку свои руки с черными ногтями. — Да увидим ли мы это когда-нибудь?

Садовник искоса посмотрел на него.

— Если я этого не увижу, то и они тоже этого не увидят. Почему же они хотят купить у меня мой дом?

— А это, друг мой, совсем другое дело, я уже говорил вам... Восстановление экономической жизни...

Эти странно звучавшие для его слуха слова подействовали на Каниве, и он ничего не возразил. Делец воспользовался его замешательством.

— Надо думать о будущем, — снова заговорил он, на этот раз басом и сдвигая свои огромные черные брови. — Если правительство обанкротится и вынуждено будет приостановить возмещение убытков, то много ли вы выиграете, имея у себя в кармане только список ваших потерь? А племянник ваш — вы думаете о нем? Ведь у него, кроме вас, никого на свете нет, у этого бедняка Барнабея...

— Амедея, — поправил его кривой.

— Да, да, Амедея, конечно... Если вы продадите дом, у вас, все равно, останется еще один, где может жить ваша семья; а если дело примет дурной оборот, у вас, по крайней мере, будет отложена кругленькая сумма, которая даст вам возможность обернуться.

Эти слова упали на хорошо подготовленную почву: расставшись с мэром, Каниве был настроен далеко не оптимистически.

— Да, все это, пожалуй, нескоро отстроится, — усомнился он.

— Это ясно, как день, — усмехнулся Лабаду.—Ах, мой бедный друг!

— Да, навряд ли мы увидим конец этого дела, — проворчал Вору.

Стоя позади трактирщика, китаец не переставал улыбаться, и когда он смотрел на Каниве, глаза у него были совсем как у кота. Садовник колебался. Он медленно отпил вина, наморщил лоб и, казалось, решился.

— Вот что, — произнес он, обращаясь к Вору и вытирая усы концом рукава. — Лабаду упомянул только что о кругленькой сумме: скажи свою цену...

— Сумма сумме рознь, — уклончиво ответил трактирщик.

Но тут удачно вмешался деловой человек:

— Поговорим толком, — сказал он, вынимая из портфеля бумаги. — Во сколько вы цените ваш дом?

Этот вопрос смутил садовника.

— Не могу точно определить... Я еще не делал подсчета... Надо сообразить...

— Но есть же у вас приблизительное представление о цене?

Каниве заерзал на стуле. Ему не хотелось называть цифру.

— Я говорил об этом с Ле-Водуайе, — сказал он, наконец. — Так вот, он оценивает дом в десять тысяч франков по-довоенному курсу.

Чета Вору привскочила на своих табуретах.

— Десять тысяч! Да твой архитектор смеется над тобою! — возмутился муж.

— Деньги обходятся ему не дорого, — насмешливо прибавила жена.

Кривой чуть не рассердился.

— Если это дорого, не надо. Найду других покупателей. Я не гонюсь за деньгами: у меня есть пенсия, потому что я-то был на войне...

— Вечно ты с „твоей" войной, — кротко упрекнула его толстуха.

Лабаду выступил примирителем.

— Послушайте меня, мой друг! Не надо преувеличивать! Есть тысячи таких же, как и вы, потерпевших, не забывайте этого... Если каждый хоть немного раздует цифру своих убытков, то наступит полное банкротство, полная невозможность восстановить разрушенное...

Будьте благоразумны, мы не имеем права тянуть жилы из государства...

На этот раз, несмотря на всю свою ловкость, Лабаду взялся за дело неудачно. Каниве не любил патриотических заявлений, особенно в устах тех, кто не сражался. И он сухо возразил:

— Я отдал государству свой глаз, но это не значит, что я задаром должен отдать ему свой дом!

— Задаром! — воскликнул тенор с таким южным акцентом, что слово это прозвучало, как удар в цимбалы. — Кто вам сказал, что вам ничего не хотят дать? Но каждая вещь должна иметь свою истинную цену... Знаете что, не будем торговаться. Вам дадут пять тысяч франков...

Каниве поднялся так быстро, что уронил свой табурет. Выпрямившись во весь свой маленький рост, он гневно осматривал с головы до ног своих собеседников.

— Пять тысяч!.. И вам не стыдно!

Но Лабаду схватил его за рукав и заставил опять усесться, а китаец наполнил потихоньку стаканы.

— Не человек, а порох, — улыбнулся делец. — Мы сказали: пять тысяч, но, ведь, можно и поторговаться.

И они, действительно, начали торговаться, споря из-за каждых ста франков, из-за каждых ста су, а вино, которое подливали кривому, делало его еще более скаредным вместо того, чтобы расположить его к уступчивости. Не один раз хотелось ему подняться, крикнуть покупателям в лицо все, что у него было на душе, и уйти, хлопнув дверью; но в то же мгновение он вспоминал, что у его матери только десять фанков до конца месяца, а также о том, что у него самого в кармане не было и сорока су, чтобы выложить за выпивку, если он захочет ни с чем уйти, а Татус напомнит ему об уплате. И он бормотал сквозь зубы ругательства, но не вставал с места.

Мало-по-малу он уступил, однако, мрачному красноречию Лабаду, который предсказывал только одни катастрофы. Садовник вспомнил о словах мэра и стал спрашивать себя, не сделает ли он все-таки хорошего дела, если продаст свой дом.

Заметив, что он начал сдаваться, делец вынул из бумажника билет в тысячу франков и сунул его кривому под нос.

— Посмотрите-ка, разве это не лучше долгового обязательства, уплаты по которому вы должны будете ожидать целые годы?

Билет в тысячу франков ослепил Каниве: в первый раз в жизни видел он такую бумажку. С добрую минуту он с почтением ее разглядывал, потом взял в руку с легким недоверием: ему казалось, что она должна бы быть гораздо больше. Наконец, скрепя сердце, он отдал ее Лабаду и, тряхнув головой, сказал:

— Так-то оно так... Но я не хочу ничего делать, не посоветовавшись с матерью.

Он встал, и делец, почувствовав, что выиграл партию, одобрил его:

— Конечно... конечно, нужно посоветоваться с матерью... Какое доброе сердце у этого Каниве!.. Погодите, я провожу вас...

Они вышли вместе, и тенор, потрясая шляпою, взял во все горло знаменитое верхнее „до“ из „Вильгельма Телля“:

За мною следуйте! И чудища надежду
Разбойничью обманем и спасем
Вильгельма из его когтей!

Мать кривого всегда была того мнения, что если за развалины дадут хорошую цену, надо продать один из домов; но когда ей сделали твердое предложение,

у нее нашлись возражения, и Лабаду понадобилась вся его хитрость, чтобы уговорить ее согласиться на цифру в шесть тысяч двести двадцать франков.

— Не забывайте, что земля остается вам, госпожа Каниве, — твердил он.

Старушка спросила у маленького Амедея, что он предпочитает: дом или деньги, но мальчик ответил, хныча, что хочет всегда быть с бабушкой.

— Он ничего не понимает, несчастный малыш! — жалобно воскликнула расстроенная женщина.

— Бедный крошка! — с умилением сказал Лабаду.— Разве вы не обязаны отложить для него несколько су на случай, если над вами стрясется беда?

Этот последний довод оказался самым убедительным: было решено подписать бумагу завтра.

— Ну, вот, видите, — с веселым видом сказал тенор. — Это вовсе не так трудно, и все довольны...

Тем не менее, когда посредник оставил их одних, Каниве опять охватила нерешительность. Он пошел к Жаку, чтобы спросить у него совета, но архитектор как раз уехал в Вайи. Охотно отправился бы кривой посоветоваться к Этьену, но, зная чувства, которые тот питал к Вору, он не решился. Тогда, очень озабоченный, он пошел бродить по Кресси, держа нос по ветру и заложив руки в карманы. Размышляя и соображая, он постоял некоторое время перед развалинами своего жилища, словно надеясь почерпнуть в них вдохновение. Как никак, ему было тяжело расставаться с ними. В конце концов, сильно расстроенный, он вернулся домой.

— Как жаль, — сказал он матери, — что Андрэ Дельбо убит. С таким приятелем, как он, я был бы уверен, что не сделаю глупости.

Старуха, сидя на своей кровати, ответила ему своим дрожащим голосом, не поднимая головы:

— Да, мой бедный мальчик, если бы все, кого убили, были живы, совсем другое было бы дело...

* * *

Лабаду прибыл в Кресси первым, чтобы предложить потерпевшим, в промежутке между двумя оперными ариями, свои услуги посредника и ходатая; но очень скоро вслед за ним появились конкуренты.

Как только прошел закон о возмещении убытков, и во Франции запахло деньгами, у всех стали раздуваться ноздри. Опустошенным германцами департаментам были ассигнованы миллиарды; там были сотни тысяч разореных людей, неожиданно ставших богачами и не знавших, вместе с тем, как получить свои деньги, как отстроить свои дома; самый последний бедняк превратился там внезапно в овечку, которую стоило постричь.

Казалось, на поверхности земли появилось вдруг какое-то сказочное племя наследников, неожиданно выступившее из кремневых пещер третичной эпохи.

Все спекулянты, как крупные, так и мелкие, все, сколько их ни было во Франции, подпольные адвокаты, старые крючкотворцы из бывших судебных приставов, юристы без практики, безработные землемеры — все эти подонки общества, почуяв золото, устремились, вместе с крупными подрядчиками, на бывший фронт, увлекая за собою маклеров и всяких других темных дельцов. Это было похоже на дождь майских жуков, сыпавшихся с дерева, которое тряс шалун-мальчишка.

Прежде всего хищники бросились в крупные города, где дел оказалось больше, чем они могли захватить; затем, когда центры переполнились, они разлились, как пена, по провинции. Они были везде и повсюду — в селениях, местечках, деревнях, и не было такой

глухой дыры, с какой-нибудь дюжиной потерпевших от войны, ютившихся по погребам, где в один прекрасный день не объявился бы свой агент и свой весьма сомнительный архитектор; некоторые из них приезжали, как странствующие артисты, восседая на огромных повозках, оборудованных в виде передвижных агентств с укрепленными на них двумя-тремя скамьями и с вывеской на коленкоре, украшавшей брезентовый чехол.

Пострадавшее население, оглушенное неожиданным нашествием всего этого люда, принимало его, как спасителей. Крестьянин, никому на свете не доверяющий, чувствовал доверие к этим представителям закона, а многие поселяне считали этих гостей за посланных правительством чиновников, и подписывали все, что те им подсовывали; они все одобряли, со всем соглашались и даже платили вперед, несмотря на то, что у них почти ничего не было и что никто другой не вытянул бы из них и су.

Везде пооткрывались странные лавочки, над дверьми которых было начертано:

Оценка военных убытков.
Составление описей.
Экспертиза и иски.

Так как эти вороны брали за составление описей только один процент, то цифра убытков никогда не казалась им слишком высокой. Они были в этой местности в первый раз, они знали о разрушенных домах только то, что им рассказывали, или, самое большее, могли только взглянуть на четыре развалившиеся стены либо перелистать какие-нибудь документы и счета подрядчиков, если они еще сохранились. Но и этого им было достаточно, чтобы все представлять себе в самом широком масштабе.

— Как, только семнадцать тысяч франков за ваш дом? Но ведь этого мало! Не забывайте, что эту

цифру вам урежут в окружной комиссии. Поставим двацать пять... Мебель пусть будет шесть тысяч пятьсот. Прибавим сюда фруктовые деревья и получим, всего, тридцать две тысячи по курсу четырнадцатого года, а по нынешнему, значит, — сто пятьдесят тысяч... Вас это устраивает? Вы ничего не упустили?.. Не было ли у вас реквизиции или какого-нибудь побора натурою? Нет! Подпишите... вот здесь. И еще здесь... Хорошо... Мне за труды следует триста десять франков... Очень благодарен! Следующий!

Потерпевшие, стоявшие в очереди, как у парикмахера, чуть не плакали от радости при виде щедрости экспертов. Они не думали о том, что, когда комиссия обкарнает их требования, все эти ходатаи уже будут далеко...

Жак Ле-Водуайе тоже составлял описи, но так как он не брал за это ни одного су вперед, то пострадавшие предпочитали обращаться к другим, находя, что он был слишком справедлив в своих оценках. Каниве высчитал, что если бы он пошел к другому, то мог бы потребовать за дом Амедея вдвое больше.

Пока солидные люди не решались бросать свои дела и занятия, чтобы ехать на недавний фронт, все, кому нечего было терять, сорви-головы, спекулянты из мелких судейских сошек и маклера по постройкам — уже орудовали там во-всю.

В несколько месяцев объявилось больше архитекторов, чем их выпустили за много лет все институты, и великое множество землемеров, — на самом деле выгнанных отовсюду приказчиков, выдававших себя за опытных таксаторов, хотя они никогда не держали в руках рейсфедера и не имели понятия о математике. Безо всякого багажа, кроме своих ученых званий, они рассеялись по опустошенным департаментам, и так как они первые обещали потерпевшим жителям вернуть им их дома, то те, наивно доверяя им, бежали к ним толпами и были готовы подписывать все, что угодно, лишь бы опередить других.

Стаи подозрительных субъектов, спекулировавших на возмещении военных убытков, также рыскали по красной зоне. На всех стенах красовались их объявления, и даже в самых маленьких городках были бараки, где эти жадные и вертлявые пришельцы обрабатывали виноградарей, лишившихся своих виноградников, огородников, потерявших свои огороды, и других обитателей бывшего театра войны, не желавших больше туда возвращаться; все они спешили продать свои права, боясь, как бы цены на них не упали.

Тем временем, во всем крае возрождалась деятельность, и даже окружное управление, и то зашевелилось. С утра до вечера по большой дороге двигались нагруженные строительным материалом повозки У. Р. Н. Н. [1]), а по ночам там шло движение другого рода: тянулись телеги любителей чужой собственности, запасавшихся инструментами, листовым и волнистым железом, кругами медной проволоки и другим добром, которое кучами валялось в военных парках, никем не охраняемое.

Все больше и больше, после нескольких месяцев могильной тишины и заброшенности, оживали развалины и пустыри, наводненные пестрыми группами самого разнообразного народа. Кабилы, прибывшие целыми вагонами, таскались с одной фермы на другую, выискивая, где бы получше пристроиться; партии португальских мастеров строили то тут, то там бараки; на разрушенных железных дорогах в Понтавер и Реймс германские пленные клали рельсы и возводили станции; в полях землекопы всех цветов кожи копали и рыли почву. И только китайцы, среди окружавшего их шума и возбу-

[1]) Управление Работами Неотложной Необходимости. *(Прим. ред.)*

ждения, не теряли спокойствия. С раскрытыми зонтиками, сидели они кружками вокруг костров, как бы жарко ни грело солнце, смотрели, как работали другие, и невозмутимо курили в маленьких трубках маковые зернышки, которые они воровали на другом берегу Эны.

И все же, несмотря на всю эту кутерьму, расчистка развалин шла туго, и никто ничего попрежнему не строил. Управление Работами Неотложной Необходимости (название, звучавшее при таком положении вещей злою насмешкою) не потрудилось даже заняться теми домами, которые еще можно было починить, и все, что еще уцелело от войны, разрушалось с каждым днем все больше и больше.

Только одно дело Управление выполнило хорошо: постройку своих собственных бараков. Когда начальник его решил, что у него достаточно всяких бюро и складов и что его личное помещение, которое он приказал возвести на склоне горы, вполне готово, он решил произвести еще другие работы, считая их более срочными, чем тот ремонт жилищ, о котором его просило население: он начал строить мастерскую для починки своих экипажей, затем кузницу, потом лесопилку. А все это время потерпевшие ждали, когда, наконец, займутся ими. Какому-нибудь поселянину надо было хлопотать целые сутки, чтобы получить сотню гвоздей, а если кто-либо нуждался в серьезном исправлении своего дома, то ему приходилось проделать такую массу формальностей и получить столько бумаг, что даже чиновники путались и терялись.

Такую картину можно было наблюдать во всей военной зоне, и неудивительно, поэтому, что вскоре разразился скандал. При объезде края министром, население устроило ряд демонстраций и подало ему ряд протестов. В дело вмешались газеты, и правительство, обеспокоенное результатами произведенного расследования, приняло,

в конце концов, ту меру, которой требовали все потерпевшие: оно расформировало У. Р. Н. Н.

Но радость пострадавших была непродолжительной. Правда, У. Р. Н. Н. было уничтожено, но тем же декретом было учреждено Управление Государственными Работами, которое разместили в тех же бараках, с тем же персоналом и с теми же полномочиями, так что, в сущности, изменились только инициалы на бумагах и вывеска на входной двери. В Кресси же самая серьезная реформа заключалась в том, что начальник Управления стал носить, вместо военного, штатское платье.

Впрочем, в окрестностях городка что-то строили, но только для богатых, и великолепные каменные глыбы, которые вывозили из каменоломен, предназначались для восстановления фабрик. Горько и обидно было потерпевшим, но когда сын заводчика Жоссе, в светлых перчатках и без шляпы, пролетал мимо них в своем автомобиле, они смотрели на молодого человека только с завистью, думая о том, что семья его получит, наверно, больше десяти миллионов за свои убытки.

Жак Ле-Водуайе, отстраивавший первый из разрушенных заводов Жоссе в предместьи Сен-Вааст, гордился быстрым ходом работ и тем, что никто не мог его опередить. Часто, в субботу, он делал крюк на тележке Дидье, чтобы показать своей жене красный корпус мастерских, маленькие, выкрашенные суриком арки которых выделялись на небе.

Но молодой женщине было гораздо важнее узнать, что ее муж получает пять процентов гонорара с общих расходов по постройке.

— В сущности, — часто говорила она ему, — ты пока зарабатываешь немного.

Она не упрекала его, нет, а лишь обращала на это его внимание.

Когда они подсчитывали свои собственные убытки от войны, Жак увидел, какой у Елены был практический ум и как она была падка на деньги. Если бы он ей не мешал, она каждую вещь оценила бы вдвое.

— Да ведь другие так делают, — возражала она на замечания своего мужа, — почему же мне нельзя?

Молодая женщина приезжала аккуратно каждую субботу, часто оставаясь до утра понедельника, и недели протекали так быстро, что у Жака не было времени почувствовать свое одиночество. С лета он уже не кашлял и мог подниматься теперь в Маруваль, не останавливаясь, как прежде, с бьющимся сердцем на половине склона, чтобы перевести дыхание.

Он больше не произносил имени Андрэ Дельбо. Правда, он думал иногда о его родителях и об их бедственном положении, о котором ему сказала мать Каниве, но и это воспоминание скоро изгладилось. В общем, ведь, он не знал их...

Однажды, проходя мимо церкви, Жак туда зашел. Все в храме было убрано: материал был сложен с одной стороны, а мусор, кучею, — с другой. На большом обнаженном пространстве стояли коренастые, с рубцами, колонны, могучие плечи которых ничего, однако, не поддерживали. С входной арки свешивались, как руки, длинные пучки дикой травы. А вокруг этих развалин простиралось разрушенное снарядами кладбище Кресси.

Не осталось следа и от холмика с распятием, не уцелело ни одно деревцо. Все могильные камни потрескались, и бесформенными грудами на них лежали сломанные кресты, венки и чугунные решетки. С краю было вырыто несколько свежих могил — солдатских.

Когда архитектор шел назад, неподалеку от него поднялась стоявшая на коленях женщина и повернула к нему свое лицо. Ему показалось, что он ее знал, и он пожелал ей доброго утра. Старуха, седые волосы

которой выбивались из-под ее капора, ответила кивком головы, не сказав ни слова.

С минуту она смотрела на молодого человека, и глаза ее медленно увлажнились слезами, а подбородок задрожал. Потом, все так же молча, она указала ему плиту, где она только-что молилась, и быстро ушла, почти убежала.

Жак наклонился над камнем и сразу прочел надпись: „Дельбо". Он сейчас же понял, что это была его мать, и в то же время вспомнил, где ее видел: это была та самая женщина, которая, однажды в воскресенье так пристально смотрела на него и на Елену, когда они выходили из церкви.

Молодой человек побледнел, и когда несчастная мать, достигнув улицы, обернулась, он низко ей поклонился.

V.

В следующую за этим субботу Дидье Роже заметил, что его друг Ле-Водуайе, когда отправился за своей женой в Суассон, не был так весел, как обыкновенно. Дорогою приятели почти не разговаривали.

Елена должна была приехать с вечерним поездом, и, в ожидании его, друзья прогуливались перед вокзалом. Наступала ночь, и развалины домов по обеим сторонам улицы, казалось, медленно сближались. Скоро все они слились в одно сплошное черное пятно. Фонарей нигде не было. Только окно винной лавки смутно желтело в густой тьме. Город, наполовину мертвый, прятал свои огни и заглушал свой шум, словно он все еще находился в районе военных действий.

Какая-то женщина узнала их:

— Здравствуйте, господа.

То была булочница, у которой Жак покупал иногда пирожки. Она тоже кого-то ждала.

— А как дела, хороши? — спросил ее любивший поболтать Дидье Роже.

— Хуже, чем во время войны, — наивно ответила торговка.

Она вернулась в Суассон в 17-м году, после отступления германцев, и воспоминания, которые она сохранила об этом времени, стерли в ее памяти все остальное. Бурные и страшные дни! Она никогда не забудет, как она смеялась в своей булочной и как дрожала в своем погребе, прячась в нем от обстрела; она познала удовольствия и опасности, она разделяла шумную радость собиравшихся вокруг котлов солдат, она жила в суматохе боевого лагеря, и в ее замкнутом существовании провинциалки этот период был чем-то ярким и сверкающим, как взрыв снаряда.

— Вы не поверите, какие они лакомки, все эти военные! Вы бы только посмотрели, как эти покрытые по уши грязью люди пожирали сладкие булки и крендели. Настоящие мальчишки!.. А офицеры посылали ко мне из окопов своих велосипедистов за пирожными!

Жак, который уже знал все эти рассказы, слушал рассеянно. Женщина говорила с еще неостывшим восторгом о чудесных спектаклях в местном театре. Никогда еще в маленьком зале не было столько публики!

— Это было великолепно!.. Особенно, когда к подъезду подкатывали моторы с зажженными фонарями!.. Только однажды вечером бошам что-то показалось, и они принялись стрелять. Ну, и убили привратницу театра... Очень было жалко...

Нельзя было понять, сожалела ли она об убитой или о потерянном вечере... В эту минуту послышался свисток поезда, и все побежали на перрон.

— Здравствуй, моя дорогая...

Жак протянул жене руку, чтобы помочь ей сойти, как вдруг заметил Жюльена Бекера, с трудом вылезавшего из вагона. Это зрелище его раздражило. Он не любил брата Елены. Это был человек лет сорока, с угрюмым лицом и сильно озлобленный неудачно сложившейся жизнью. Он делал вид, что симпатизирует архитектору,

но и это было скорее от злости, в результате воспоминания о первом муже своей сестры, которого он ненавидел. Жак холодно поцеловал Елену и быстро пожал руку своему шурину.

В тележке, которая прыгала по разбитому шоссе, Жюльен, страдавший при каждом толчке, все время брюзжал:

— Вот до чего они меня довели!.. Почки у меня, как пемза... Чорт бы побрал их гнусную войну!

Причиной его жалкого состояния была, действительно, война. В 1915 году, боясь, что его снова возьмут в армию, Бекер вызвал у себя воспаление кишек, обжираясь горчицей и неспелыми фруктами; он нарочно увеличивал у себя количество белка, так как питался только тем, что ему было запрещено; он пил даже уксус, чтобы вызывать рвоту; словом, так старался, что при втором медицинском осмотре ему дали чистую отставку. Но с тех пор он уже не мог поправиться.

С каждой стороны шоссе ехавшие угадывали зияющие фасады, кучи обломков, мрачные каменные кладки, на которых покоился лунный свет, а иногда, далеко друг от друга, мелькали также жидкие леса построек и их хрупкие шесты. Вскоре тележка покатилась вдоль Эны. Вода с шумом убегала, торопясь покинуть эти истерзанные берега. Потом они поехали по деревянному, трещавшему под ними, мосту.

— Здесь ничего нового? — неожиданно спросила Елена.

Жак помедлил с ответом.

— Нет... Ничего интересного.

Затем, не придавая, повидимому, значения ее вопросу, он сказал:

— Третьего дня на кладбище я видел мать твоего мужа.

Он почувствовал, как Елена, сидевшая против него, вздрогнула, стараясь разглядеть в темноте его лицо.

— Надеюсь, ты не разговаривал с нею?

— Нет, — равнодушно ответил Жак. — А разве это очень важно?

Властным голосом, которого он так не любил, молодая женщина произнесла:

— Для меня это очень важно. Я с нею в ссоре, и ты это отлично знаешь.

Она замолчала на минуту, потом, как бы желая объяснить свою злость, прибавила потише:

— Она сделала меня несчастною.

Жак удивился.

— Да? — сказал он. — Это странно: она, кажется, не способна на это...

Жюльен Бекер, сидевший рядом с Дидье, обернулся.

— Старая корга! — выругался он довольно громко, чтобы покрыть грохот тележки. — Сын ее был совсем в маменьку...

Кровь бросилась архитектору в лицо. Он подумал, что Дидье Роже должен был услышать эти слова, и ему захотелось тотчас же ответить и показать, что он — другого мнения. Но было темно, никто друг друга не видел, а шум дребезжавшей повозки покрывал голоса. Елена — он почувствовал это — надулась, и он удержал свой ответ.

До Кресси все молчали. Окутанная мраком дорога пересекала время от времени какую-нибудь деревню, а потом снова выбегала в обнаженные поля. Деревья были так редки, что когда они попадались по пути, то ехавшие наклоняли голову, чтобы дольше их видеть.

Вечер прошел без всякого веселья, и все рано легли спать.

На следующее утро к Жаку явился сын Жоссе, чтобы поговорить о работах. Затем он стал любезничать с Еленой и выразил удивление, как она может жить в такой жалкой деревянной хижине. И вдруг предложил:

— Почему вы не попросите заводского подрядчика, чтобы он отстроил ваше жилище? Для него это пустяки. Хотите, я замолвлю ему словечко?

Молодая женщина расцвела от радости при мысли, что она сможет скоро иметь свой дом, но муж, нахмурив брови, даже не поблагодарил фабриканта. Его неожиданное внимание к его жене не особенно ему понравилось.

— Ты всегда с ним нелюбезен, — заметила ему Елена, как только Жоссе уехал.

— Это верно. Но он не очень мне симпатичен.

Жюльен Бекер, лежавший на кушетке, положил свою книгу и насмешливо посмотрел на шурина.

— Потому, конечно, — иронически сказал он, — что он не был на войне.

— Да, потому, сознаюсь в этом, — сухо ответил молодой человек.

— Не понимаю вас, — возразил Жюльен, пожимая плечами. — Вы утверждаете, что вы антимилитарист, вы не выносите даже разговора о войне, но когда вы встречаете человека, не участвовавшего в ней, вы относитесь к нему враждебно. Это не логично... Я не хочу думать, что вы проявляете не слишком красивое чувство: сожаление, что не все страдали столько, сколько вы. Но, в таком случае, ваш друг Каниве должен переносить только слепых, а слепой должен уважать только мертвых.

Жак, вообще, избегал такого рода споров со своим шурином, но на этот раз ему не хотелось уступить ему в присутствии Елены, что уже случалось неоднократно.

— Если я и упрекаю людей, подобных Жоссе, — резко сказал он, глядя в глаза Жюльену, — так это в том, что они совсем не мужчины. Неужели в четырнадцатом году у них инстинктивно не сжимались кулаки, или, по крайней мере, им не хотелось посмотреть, как воюют?

— Да, много хорошего они увидали бы там! — хихикнул Жюльен, теребя свою рыжеватую бородку.

— Они увидали бы там людей и, может быть, научились бы любить их... Вы можете шутить над вещами, которые совершенно этого не заслуживают, — но тот, кто перед лицом смерти владел собою и предлагал свою жизнь, потому что в ней явилась надобность, тот был, будьте уверены, из другого теста, чем тот, кто прятался.

Жюльен Бекер, вытянув губы, отрицательно покачал головой.

— Нет, я с вами не согласен. Еще мало близости опасности, чтобы возвеличить того, кто к ней приближается. Не стану же я, например, больше уважать того, кто дрожал от страха под Верденом, чем того, кто трепетал от ужаса в предместьи Сен-Дени в ту ночь, когда к нему подходили немцы.

Жак в раздражении поднялся с места.

— Не будем попусту спорить, Жюльен: мы никогда не столкуемся. Но знайте одно: если понадобятся люди, способные рискнуть своей шкурой для спасения ли погибающих или для революции, то они скорее всего найдутся среди тех, кто дрался.

Елена, на этот раз, была не на стороне брата.

— Я никогда не могла бы полюбить человека, не побывавшего на войне, — сказала она.

И почти искренно прибавила:

— Слишком глупый вид имела на улице женщина, если ходила со штатским.

После обеда они отправились в китайский лагерь, где происходило большое гулянье. Желтолицые построили под деревьями крошечный городок, бумажные дома которого светились вечером, как лампионы. Группы веселых зевак стояли у бараков, украшенных гирляндами, знаменами и длинными полосами бумаги, испещренной эмбле-

мами. Сидевшие на эстраде музыканты играли на курьезных струнных инструментах, извлекая из них режущие звуки, а перед ними шумная толпа окружала двух облеченных в золотистый шелк китайцев, которые плясали и кривлялись, испуская дикие крики.

Дети и даже взрослые, сидевшие целыми днями на черном хлебе, бросались на лотки пирожников и жадно поедали большие и плотные, словно они были из мастики, жареные шары, которые желтолицые пекли из самой лучшей муки.

Вечером в Кресси было очень шумно. Туда приехали гуляки из Брэна, Вайи и даже из Суассона, и в трактирах было так много народу, что пили на улице, сидя на скамьях.

Жюльен Бекер, усталый и в очень скверном настроении, изливал свою желчь.

— Ишь, как они веселятся, эти жертвы войны! Сейчас видно, что они надеются скоро получить деньги.

Поздно ночью китайцы сожгли большой фейерверк, и под волшебным небом, на котором снопами переплетались ракеты, запели итальянцы, сидевшие у дверей своего кабачка.

От их красивых и полных страсти голосов веяло прелестью неаполитанских вечеров, и не одно женское сердце млело, вероятно, под косынкой. Взволнованная Елена прислонилась головой к плечу своего мужа.

— Я что-то задумала, как это делают при виде падающей звезды, — сказала она Жаку, глядя, как летели вверх ракеты.

Резкими переходами с нижних нот на верхние итальянцы без конца модулировали свой романс:

E tu dici: io parto, addio!
T'allontani dal mio cuore... [1])

---

[1]) И ты сказал: я уезжаю, прощай!
Ты удалился из моего сердца.

Можно было догадаться, что они пели о любви и страданиях.

Torna a Sorrento —
Non farmi morir! [1])

страстным криком закончили они свой концерт.

Даже Татус, забыв своего китайца, долго прислуживала за столиком какому-то долговязому субъекту в шляпе пиффераро [2]), который заигрывал с ней, показывая белые зубы.

К концу дня Жак развеселился. Он стал приветливым и довольным. Он чувствовал между собой и Еленой ту нежную симпатию, которая заставляет сближаться лица и сливаться воедино сердца.

„Как это я мог сомневаться в ней?" — думал он, прижимая к себе ее локоть.

И ему вдруг показалось, что несколькими словами он рассеет возникшее между ними недоразумение.

— Послушай, моя голубка, — сказал он ей, как только они пришли домой, — я не знаю, в чем заключалась твоя ссора со старухой Дельбо, но мне известно, что у тебя доброе сердце: так, вот, не думаешь ли ты, что мы могли бы что-нибудь сделать для нее? Ты знаешь, что она очень бедна.

Но она метнула в него таким злым и раздраженным взглядом, что атмосфера вокруг них сразу изменилась. Жак смутился и быстро прибавил:

— Заметь, что я ее не знаю и ни разу с нею не говорил.

Но было уже поздно: удар был нанесен.

---

[1]) Возвратись в Сорренто —
Не дай мне умереть!

[2]) Итальянский музыкант, играющий на дудке или на волынке. *(Прим. ред.).*

— Ну и отлично: если ты ее не знаешь, то и не занимайся ею. А меня оставь в покое.

Черты лица Елены как-то сразу сжались, словно чья-то невидимая рука слишком сильно потянула за веревочки их мускулов. Они стояли друг против друга, ничего не говоря: она, трепеща от гнева, а он — охваченный смущением. Через несколько мгновений, Жак, сделав над собою усилие, спросил:

— Это, в самом деле, так серьезно?.. Она тебе что-нибудь сделала?

— Да... И не только после смерти Андрэ, но и со дня нашей свадьбы. Она всегда меня ненавидела.

Жак больше не расспрашивал, и угрюмое молчание встало между супругами. Молодая женщина дрожавшими от негодования пальцами играла своим кушаком, отстегивая и застегивая пряжку. Щеки ее горели. Наконец, через минуту, будучи не в силах более сдерживаться, она опустила голову и, с упрямым видом, стала громко перечислять все свои обиды и все, что в ней накипело за долгие месяцы.

Старуха делала решительно все, чтобы помешать ее свадьбе. Елена работала тогда в модном магазине, в котором Андрэ был управляющим. Госпожа Дельбо мечтала для своего сына о лучшей партии, чем союз с модисткой, получавшей четыре франка в день.

— Когда она говорила ему обо мне, то называла меня не иначе как „твоя мидинетка". Она вычитала это слово в газете и думала, что это ругательство, паршивая мужичка? Но мы с Андрэ любили друг друга, и все ее разговоры были бесполезны.

Даже после свадьбы, — продолжала Елена, — нельзя было ничего поделать со старухой: с невесткой она виделась против своего желания, и с течением времени они все реже и реже наведывались друг друга. Когда Андрэ Дельбо купил дом в Кресси, его родители, несмотря

на то, что они любили этот городок, в котором прожили двадцать лет, почти никогда не приезжали сюда, а если это и случалось, то они останавливались у других, у своих старых соседей, „чтобы все их жалели".

— Во время войны мы начали с нею встречаться, потому что показывали друг другу письма Андрэ, но мне надо было иметь с ней ангельское терпение. Даю тебе слово, что, по ее мнению, мне следовало надеть траур с первого же дня мобилизации. Она была на меня сердита за хорошие завтраки, которые я приготовляла, и даже меня не благодарила, заявляя, что у Андрэ в окопах таких наверно не было. Она была недовольна, если в мастерской пели, она следила за всеми моими покупателями, а если являлся какой-нибудь коммивояжер, она становилась посреди магазина и, скрестив руки на животе, следила за каждым моим движением. Ну, и натерпелась же я от нее!.. Когда Андрэ убили, это, конечно, не могло так продолжаться. Еще три недели она сидела у меня на шее, пока, в одно прекрасное утро, мы не поссорились, и я попросила ее оставить меня в покое. Теперь все кончено. Я не сержусь на нее, но пусть она не надоедает мне снова, — нет, на это я не согласна!

Елена разгорячилась, и последние слова почти выкрикивала, сделав злое лицо и топая ногою. Потом, повернувшись к мужу спиной, она облокотилась на подоконник, чтобы перевести дыхание.

— Да, я понимаю, — сказал Жак, подходя к ней. — Когда тебе надо было с нею рассчитаться, она, должно быть, придиралась к тебе, как только могла.

Молодая женщина резко повернулась.

— Как это рассчитаться? Я ей никаким отчетом не была обязана. Андрэ имел, правда, для обзаведения немного денег, но я зато трудилась, я все сама делала в магазине, я начала дело с двумя мастерицами

и целые ночи проводила без сна, когда надо было кончать спешные заказы. При таких условиях, я думаю, что магазин одинаково принадлежал мне и ему.

Жак слушал ее не без смущения.

— Да, — сказал он вполголоса, — ты им ничего не должна.

Нервы молодой женщины были напряжены, и ей почудился в словах мужа упрек.

— Ровно ничего! Я настаиваю на этом: ровно ничего! — возмутилась она. — И лучшим доказательством служит то, что старым хозяевам даже не выплатили всех денег, которые они взыскали бы с меня, если бы ты не внес их в прошлом году. Помнишь? Они меня терпеть не могли... По-твоему, может быть, и они правы? Как хочешь, но это прямо странно: ты встречаешь несносную старуху, которая всегда делала мне зло, и словно сердишься на меня, что я отказываюсь нянчиться с нею... Если ты находишь, что я виновата, будь откровенен, скажи прямо...

Она была страшно возбуждена, и Жак подошел к ней, чтобы успокоить ее: но она яростно оттолкнула его и бросилась на кровать, зарывшись головой в подушку, чтобы заглушить рыдания.

Жак смотрел на нее, не зная, что сказать. Он думал о своем шурине, который, сквозь перегородку, должен был все слышать, и это еще усиливало его смущение.

— Ну, полно, не плачь, — бормотал он. — Ведь, это безумие: доводить себя до такого состояния.

Но каждый раз, когда он к ней наклонялся, Елена согнутым локтем его отталкивала. Наконец, когда нервы ее немного успокоились, она повернулась к нему лицом. Вытерев покрасневшие веки, она, не говоря ни слова, разделась, и они легли.

В глубоком молчании, стараясь не касаться друг друга, они притворялись спящими. Широко раскрыв

глаза, Жак размышлял. Он перебирал в уме все, что сказала ему жена, пытаясь разобраться во всем, что он услышал.

„Они поженились по любви“, — думал он.

Он не был ревнив и повторил эти слова скорее с горечью.

„По любви, как и мы“.

Но почему же у Елены не нашлось ни звука сожаления или нежности для того, кто не вернулся с войны?

* * *

Когда жена его, все еще сердитая, уехала, Жак остался в полной растерянности, не зная, кому и чему верить. Кто был прав: мать Андрэ или Елена? Он мог, сколько угодно, повторять, что эта распря его не интересовала, но он ежеминутно к ней возвращался.

Его тяготила также мысль, что родители покойного жили в нищете. Пока он не знал старухи Дельбо, он относился к этому почти безразлично, но с тех пор, как он встретился с нею, ему всюду мерещился худой силуэт несчастной женщины.

Конечно, от Каниве он мог бы узнать все подробности о первом супружестве Елены, и этот, человек недалекий и наивный, ни о чем бы не догадался; но в последнее время кривой не попадался ему на глаза так часто; он покончил с садоводством и с охотой за досками: Каниве стал серьезным, Каниве работал.

Послушавшись совета Дидье Роже, кривой записался в У. Г. Р. и стал, что называется, „особой“, по крайней мере, так думал он сам.

— Я государственный рабочий, — повторял он без всякой скромности.

Каниве только и умел, что прививать розы и пересаживать салат, но в окружном управлении эти познания

признали достаточными, как гарантию того, что он справится и с другим делом, и доверили ему целую команду плотников, строивших бараки. В первый день садовник очень волновался, не зная, как выпутаться из этой истории, но так как оба его товарища знали еще меньше его, то он быстро успокоился.

Присмотревшись к работе португальцев и соорудив (худо ли, хорошо ли) свой собственный барак, кривой кое-что всетаки понимал и мог показать другим, что сначала надо устроить пол на кирпичной кладке, что было не очень-то трудно, затем возвести из досок стены и, наконец, навести крышу, что, при некоторой сноровке и удаче... Удивительнее всего было то, что все это держалось и не падало, повергая в изумление садовника и окружающих.

Каниве платили восемнадцать франков в день, и он считал бы эту плату весьма щедрой, если бы не видел, что другие, такие же, как и он, рабочие, получали по двадцати семи, да еще две тысячи пятьсот франков, сверх того, на обзаведение, под тем предлогом, что они не местные и приехали издалека.

Весь этот люд (годный или нет) мог бы, конечно, вместе с китайцами и военнопленными, восстановить Кресси из развалин, если бы он находился под хорошим руководством; но вследствие небрежности и нераспорядительности У. Г. Р., нанимавшего кого попало и для чего попало, вся эта человеческая масса, не имевшая над собой никакого надзора, трудилась впустую.

На шестьдесят рабочих приходилось не менее семидесяти пяти чиновников, и когда ремесленников или мастеров упрекали в лености, они спокойно отвечали:

— В окружном управлении делают еще меньше нашего.

Эта канцелярская саранча слетелась в пострадавшие от войны департаменты со всех концов Франции; тут

были мелкие служащие, секретари мэрий, регистраторы и писаря, среди которых попадались иногда лица с большим служебным стажем, и у всех этих людей было одно только стремление: продержаться возможно дольше на своем месте. И потому, чтобы оправдать свою необходимость, они сочиняли бесконечные формальности, морили потерпевших жителей бумажной волокитой, и, опасаясь, вместе с тем, ответственности, душили всякую инициативу.

Впрочем, все они были чрезвычайно любезны, и чем опись убытков была внушительнее, тем бóльшую они выказывали предупредительность: тому, кто требовал более ста тысяч франков по курсу 14-го года, они предлагали даже стул. И, вообще, никогда никого не обескураживали.

— Перекрыть вашу крышу до наступления дождей? Ну, понятно!

— Ваша опись? Его направили куда следует!..

— Обещаю вам это, сударыня; землемеры непременно будут на этой неделе...

Если бы у них попросили луну, они ответили бы „да“ или, по меньшей мере, сказали бы, что достанут ее; но на этом все их старания остановились бы: они свое сделали.

Иногда в управлении появлялся новый служащий, готовый, по простоте душевной, работать не покладая рук; но его пыл быстро остывал: он скоро соображал, что в этом канцелярском болоте всякий целесообразный труд не в фаворе и что на предприимчивого человека здесь посмотрят, как на помеху; и, быстро смирившись, он принимался, как и другие, лишь изводить бумагу и время.

Кузнецу, направленному на работу, надо было потратить целый день, чтобы получить необходимые ему инструменты: всем было хорошо известно, где они

находились, но никто не знал, кто имел право их выдать. Плотникам давали рубанки без клинков; не получая дверных петель, рабочие снимали шарниры у ящиков из-под снарядов, а иные, ничего не добившись, строгали прямо ножами.

В складе ежедневно происходили смешные сцены.

— Вам нужно стекло, да?.. Пожалуйста! его у нас сколько угодно?

И действительно: оно лежало целыми грудами, всевозможных образцов и размеров: тонкое и толстое, матовое и цветное. Но, когда проситель, выбрав, что нужно, говорил, сколько ему надо, приказчик чесал себе затылок и отвечал:

— Не знаю, как и быть: вам придется разрезать его самому, — у нас нет алмаза.

Не было также и замазки для остекления.

Тот же беспорядок и злоупотребления царили и в других отделах. Чиновники, поставленные на мелиоративные работы, соглашались ехать на место только в автомобиле, и состоятельные земледельцы, желавшие, чтобы вырытые на их земле окопы были во-время вымерены, возили этих господ на своих лошадях, а кто был подогадливее, угощал их и завтраком. Служащие конного транспорта больше заботились о том, чтобы катать машинисток, и очень мало думали о перевозке досок, а в отделе по возмещению военных убытков шло широкое расхищение материалов, которые еще не успели растаскать грабители. Что касается секции по возведению бараков, которая функционировала лучше других, то и тут горе-специалисты делали все с такой быстротой, что приходилось десять раз пригонять одно и то же бревно и столько же раз наново его строгать, вследствие чего стоимость всякой постройки увеличивалась вдвое.

Из трехсот военнопленных, предоставленных У. Г. Р., человек двадцать устроились на положении домашней

прислуги, еще столько же ловкачей, занимавшихся прежде сапожным ремеслом, чинили обувь чиновникам, а все искусные столяры заняты были отделкой их помещений и изготовлением для них удобной мебели.

Строительные команды работали, где случалось: чинили крышу, которая могла бы подождать, в то время как тут же рядом гнил сруб, и достаточно было бы навеса из просмоленной бумаги, чтобы его сохранить.

Промеж себя пострадавшие от войны ворчали и ругались, понимая, что весь этот образцовый беспорядок поглощает их денежки, но, придя в канцелярию, они становились смирными и безгласными; у каждого из них был свой интерес не ссориться с чиновниками, ибо один представил сильно преувеличенную опись своих убытков, другой хлопотал о постройке вне очереди барака, а третий хотел получить локомобиль.

Но и несмотря на это, у каждого просителя, когда он выходил из окружного правления, невольно сжимались кулаки.

Вот один потерпевший представляет в складе свой ордер и видит, к своей великой радости, как перед ним вырастает груда нужного ему материала.

— Вам полагается десять метров стропил: пожалуйте, — отмечает на бумаге служащий. — Потом пятьсот шиферных черепиц: извольте. Далее — пятнадцать фунтов гвоздей: вот... Дубовых досок пятимиллиметровых... Извините, таких нет... Придется вам за ними зайти через несколько дней.

Пострадавший, весьма довольный тем, что получил почти все, спокойно расписывается и отправляется восвояси со своим грузом. Когда через неделю он приходит за недополученным им материалом, его встречает другой служащий, весьма недоверчиво относящийся к его требованию.

— Ваши доски? Но, ведь, вы получили их...

— Я?.. получил?.. Когда?..

— Ну, конечно, вот ваша расписка: получено сполна.

Потерпевший поднимает такой крик, словно с него кожу сдирают. Он пытается объяснить, как было дело, но его не слушают. Кончается тем, что он плюет и, вне себя от ярости, уходит.

Когда, в результате многих жалоб, одного коменданта заменили другим, установившиеся в окружном управлении порядки остались, тем не менее, все те же.

Каниве был непрочь немного попользоваться властью господ из У. Г. Р. Когда один из обитателей, которому он построил барак, пожаловался, что пол у него качается, а крыша просвечивает, кривой ему ответил:

— Как! вы платите сто двадцать франков за наем трех комнат и вы еще недовольны! Уж не хотите ли вы получить за такую цену целый замок?

Задача садовника, однако, усложнилась, когда ему пришлось возводить полувременные бараки, с оштукатуренными стенами и с настоящими крышами. Немецкий каменщик, к которому он обратился, дал ему несколько советов, но так как военнопленный не говорил по-французски, а Каниве его языка не понимал, то он перенял лишь жесты германца, чего, конечно, было еще мало. Тем не менее, кривой храбро взялся за дело.

Постройка шла довольно недурно, пока не добрались до кровли. С утра дул сильный ветер, и при каждом его порыве черепицы скользили вниз и разбивались о землю со звоном ломаемой посуды. Каниве, оптимист по природе мог, сколько угодно винить ураган, но он хорошо понимал всю неестественность положения, когда крыша улетала, как шляпа, при малейшем порыве ветра. Оба его товарища, из которых один был прежде жокеем, а другой — медником, держа черепицы в руках, спорили о том, каким манером надо их укладывать.

— Вот так, говорю тебе!

— Да нет же, ты ничего не понимаешь!..

Какой-то человек, проходивший по дороге со старым чемоданом в руках, перевязанным, как колбаса, толстыми веревками, остановился, чтобы посмотреть на их работу, причем его длинное лицо освещалось шутливой улыбкой. При каждой новой катастрофе он с восторгом предупреждал строителей:

— Эй берегись, ребята!

Кривой и его помощники стали сердито поглядывать на долговязого субъекта с лошадиной физиономией. Наконец, когда в пятый раз ветер испортил трем специалистам их работу, прохожий вмешался:

— Вот так кладите, собачьи дети! — крикнул он им, показывая, как надо делать. — Надо захватывать носом за решетину, а не то все ваши г....ные черепицы полетят к чорту. Сообразил, Ермил?

Его грубый тон не понравился Каниве, и он вызывающе осмотрел незнакомца с головы до ног. Незадолго до этого кривой выписал себе из Амьена стеклянный глаз, который был не такого голубого цвета, как другой, природный, и это делало взгляд садовника таким странным, что долговязый субъект расхохотался.

— Не смотри на меня так, — сказал он ему: — ты пугаешь меня... Ты из управления? Тогда давай тяпать вместе: я нанялся с сегодняшнего дня. Ты мне все объяснишь. А для начала, пойдемте-ка, все трое, я вас угощу.

За столом они быстро свели знакомство, и четверть часа спустя садовник и прохожий были друзьями. Одно обстоятельство мгновенно их сблизило.

Каниве, по привычке, завел разговор о войне, о Шемен-де-Даме, о Нуайоне.

— Как! — воскликнул человек с чемоданом. — Ты был пятого мая под Лаффо? Значит, вы — те кирасиры, которые сменили нас? Я служил в колониальных... Ого! Вот это здорово!..

Между старыми солдатами существуют какие-то прочные, неистребимые связи, которые время не только не разрушает, но еще укрепляет. Встречаешься с незнакомцем, он заговорит о фронте, а ты подхватишь: „Ферма Бертонваль!.. Привал в Тенке!.. Дорога в Пилон!“ — и готово дело! Ты уже не смотришь на него прежними глазами, он уже тебе не чужой. Вы страдали в одном и том же месте, вы избежали одних и тех же опасностей, вы испытали один и тот же гнев или одни и те же скудные радости, и вы — словно друзья, неожиданно нашедшие друг друга. Именно так и побратались Кревель и Каниве, выкладывая друг перед другом свои воспоминания. Словно военачальники, они обменялись комплиментами, которые были понятны только им одним.

— А знатно вы нам показали себя тогда, кожаные штаны!

— Да, но и вы тоже здорово плевались, когда шли на шестнадцатый номер!

Они говорили о „Дырявом овраге“, о „Железной траншее“, о „Высоте 171“, быстро перекидываясь условными названиями, облегчавшими им их экскурсии в недавнее прошлое, а затем согласным хором стали проклинать Апрельское наступление, Шемен-де-Дам и высшее командование.

Кревель — так звали долговязого субъекта с чемоданом — был слесарем и довольно хорошо зарабатывал в Париже; но так как его преследовала там любовница, только и говорившая о том, что она обольет его серной кислотой, то он бросил все, жену и квартиру, и приехал в поисках за счастьем в опустошенные войною области, в эту современную Америку.

— У вас тут тоже невесело, — сказал он в заключение, — но все-таки здесь дышится свободнее. По крайней мере, больше не услышу, как эта мышь бежит за мной и кричит: „Уж подожди! Изукрашу тебе рожу!“

Меньше всего Кревелю нравилось то, что ему предстояло жить в подвале, вместе с другими, и спать на грязном соломенном тюфяке. Но Каниве избавил его от этой необходимости.

— Вот что: я могу тебе помочь, — предложил он ему. — В Кресси живет старичок, с которым ты можешь поселиться вместе... Сначала ты будешь, как и он, спать в погребе, потому что дом его сравняли с землей, а потом, так как ты служишь в окружном управлении, то легко добьешься разрешения на постройку ему временного барака, в котором вы и устроитесь вместе. Подходящее это для тебя дело?

— Идет, Федот! — ответил Кревель, любивший рифмованную речь.

Сказано — сделано. Долговязый поселился у Этьена, и с тех пор везде и всюду Кревеля и Каниве, ставших соседями, встречали всегда вместе.

Так как кривой был постоянно занят то своей работой, то своим новым знакомым, то Жаку ле-Водуайе не приходилось больше встречаться с ним с глазу на глаз и беседовать; но спустя некоторое время мать Каниве зашла к архитектору попросить у него разъяснения насчет новых бумаг, полученных ею из окружного управления, и молодому человеку даже не понадобилось расспрашивать старуху, чтобы узнать все, что его интересовало.

То и дело останавливаясь, чтобы Жак мог написать, что надо, или для того, чтобы понюхать табаку, крестьянка рассказала ему о жалкой жизни родителей Андрэ.

Они так гордились своим сыном, и он был так добр к ним! Их не очень-то охотно „принимали“, потому что они не были одеты как господа, но Андрэ тайком встречался с ними. Ему это было все равно; он не стыдился того, что у его матери загрубелые руки: он знал, что это от тяжелой работы... Но на него „сердились“, ему „отравляли“ жизнь...

Жак знал, что старуха намекала на Елену, но притворялся, будто не понимает, и сидел, опустив голову и не переставая заполнять бланк. Когда крестьянка замолчала, он спросил, не подымая глаз:

— Часто его мать бывает здесь?

— Да, иногда... Вы подумайте только: она все еще надеется найти тело своего сына, и в голове у нее только одно: бегать по кладбищам. В последний раз — я знаю это — она встретилась с вами. Она находит, что у вас очень доброе лицо...

Смущенный Жак думал об убитом. Где он покоится? Под каким из бесчисленных крестов? Не был ли он среди иссохших мертвецов, которых подымали своими заступами китайцы?.. А что, если бы ему, Жаку, выпало на долю умереть на фронте, — какая женщина в черном явилась бы разыскивать его крест среди других безыменных крестов, которыми усеяна равнина? Ведь, у него нет матери, нет семьи... Значит, любовница? Елена?..

„Что бы она сказала, если бы ей вдруг сообщили, что Ле-Водуайе убит?“

И Жак ясно видел, как, сделав большие глаза, она воскликнула бы своим приятным голосом: „Бедный молодой человек!“

Да, вероятно, это все, что она могла бы сказать. Разве она вспоминала бы о кратковременном любовнике, вернувшись в опустошенные войною места и глядя на заполнявшие поля могилы? Разве она склонилась бы хоть раз над крестом, думая, что разобрала имя убитого?

Наверно, нет. Почему бы жалела она его больше, чем другого?... Разве она подумала о том, чтобы разыскать тело без вести пропавшего мужа? Ни разу. Только старуха, измученная и несчастная, бегала по кладбищам от Марживаля до Пинона и от Аллемана до Нантейля.

„А что, если бы это был я?“ — спрашивал себя Ле-Водуайе.

„Ну что ж, вернулся бы Андрэ, она забыла бы Жака. Мертвый был бы у себя в доме, а живой лежал бы в яме“.

Мысль, что он живет у покойника, что он занял место убитого, овладела им, как навождение. Все, решительно все напоминало ему об этом! Все документы, которые он должен был приложить к прошению о возмещении убытков, все они были на имя покойного: купчая, страховой полис, счета. Он знал, что все эти деньги, до последнего франка, были добыты трудом Андрэ Дельбо.

Однажды утром мальчик-рассыльный принес из окружного управления повестку и еще на улице закричал:

— Здесь Дельбо?

— Здесь, войди. Это...

Жак запнулся, словно боялся сказать: „это я“, и сердце у него сжалось.

Часто разглядывал он на письмах Елены новый заголовок: „Торговый дом бывший Дельбо“. Фамилия покойного была напечатана совсем маленькими буквами. Скоро она станет еще меньше, а потом и совсем исчезнет. Все будет кончено.

Недавно молодая женщина ему на это намекнула:

— Мне нравится больше твое имя: оно красивее.

Когда он снова увидел ее после китайского праздника, она не вспоминала больше об их споре, но все еще немного дулась. Вечно занятая денежными делами, она подбивала и мужа „не зевать“.

— Ты слишком мягок, — твердила она ему. — Ты позволяешь всем вертеть собой... Когда я ехала сюда, я встретилась в поезде с архитектором, который, только в виде аванса, получил за этот месяц десять тысяч. Разве ты не мог бы зарабатывать столько же? О, если бы я была на твоем месте, ты увидел бы...

Без малейшего волнения она прочитывала все бумаги, где в каждой строке встречалась фамилия ее первого мужа. Она оставалась и на описи недвижимого имущества. Казалось, что разрушенный дом поджидал возвращения своего хозяина.

Жаку часто мерещились голубые уступы Лаффо, которые видны были из Маруваля. Там пал Андрэ... Не без причины поместила судьба так близко от его жилища его могилу: засыпанную рыхлой землей яму, раскидать которую можно было в несколько минут...

А что если, проснувшись, Андрэ вдруг выйдет, темным вечером, из своего окопа?

Протяни шею, солдат; вот холмы, леса, фермы и болота твоей родной стороны. Вон там, в долине, течет среди камышей Эна, а там, опоясанный кустами глициний, ждет тебя твой дом... Ну-ка, сделай усилие, солдат, понатужься, выйди из ямы!..

И Жаку казалось, что кто-то одиноко шел по дороге, волоча за собою свою тень: мертвец, с каской на голове, входил в свое разрушенное жилище...

VI.

С самого же начала между Кревелем и супругами Вору установились враждебные отношения. Первый удар нанесла Татус. Увидев, как долговязый парень в голубой суконной куртке наслаждается свежим воздухом у входа в погреб Этьена, она крикнула своему мужу:

— Посмотри-ка! Старому Ля-Виктуару уже не нужно будет жерди, чтобы сбивать орехи со своих кустов!

Парижанин повернул голову, и в углу его рта, словно тлевший окурок, мелькнула его неизменная улыбка; заметив толстуху, выворачивавшую вилами грязную солому из конюшни, он вежливо спросил:

— Постель изволите себе готовить, мадам?

Таким манером они познакомились, и с тех пор разговаривали только в таком высоко учтивом тоне. Так как оба помещения почти соприкасались: с одной стороны — возведенный на развалинах барак, а с другой — погреб под мусором, то не было никакой возможности не встречаться. Само собой понятно, что каждый раз при этом происходила новая сцена.

— Хулиган! — кричала трактирщица.

— Ведьма! — парировал рабочий.

Так они обыкновенно здоровались по утрам.

Сначала соседи думали, что в это дело вмешается муж, но великан был осторожен и предоставил своей супруге защищать собственными силами честь домашнего очага.

По вечерам толстуха испытывала удовлетворение, видя, как Этьен и его жилец спускались на ночь в погреб. При мысли, что они дрожали там от холода, ее постель казалась ей еще теплее. Легко представить себе ее ярость, когда она вдруг узнала, что Кревель хлопотал в окружном управлении о разрешении на постройку временного барака для Этьена.

Как ураган понеслась она в У. Г. Р. и подала прошение о возведении барака для плотников, которым негде, будто бы, ночевать: она надеялась помешать таким образом планам соседа или, по крайней мере, замедлить их осуществление.

Но Кревель был не из тех, кому можно было легко вставлять палки в колеса. Как только ему сообщили об этой интриге, он окончательно засел в канцелярии, не переставая охать, стонать и требовать. Целое утро он изводил там служащих, а после полудня там горланила лавочница; если, к несчастью, они еще встречались, то между ними начиналось отвратительное переругиванье, которое слышно было далеко вокруг.

— Как можно, чтобы человек таких лет плесневел в погребе? — вопил парижанин.

— А куда я положу спать рабочих? — орала с пылающей рожей толстуха. — Не класть же мне их к себе в постель!

Кревель коварно усмехался и смотрел в потолок, словно этот способ разрешения вопроса наводил его на игривые мысли, которые он предпочитал хранить про себя.

Каждый раз спор кончался угрозами, причем долговязый хоть и ругался, но оставался спокойным, между

тем как трактирщица рвала и метала, растрепавшись, и ошалев от бешенства.

— Если бы все просители были похожи на эту пару, пришлось бы бросить службу, — говорили оглушенные чиновники управления.

В конце концов, чтобы избавиться от скандалистов, а также, вероятно, еще и потому, что всякого, кто кричит, обыкновенно выслушивают, и Кревелю и его противнице было разрешено построить по бараку.

Торжественно переехал долговязый из своего погреба на новую квартиру, а Татус с треском раскрыла двери своего рабочего дортуара; каждый из них хвастал победой, страдая, в то же время, от успеха соперника.

Как только Кревель устроился „в собственных стенах“, как он хвастливо выражался, он немедленно зажил по-своему. Так как служба оставляла ему много досуга, — а при желании он умел создавать его себе и сам, — он стал браться за всякое дело и поставил себе небольшой навес, где спокойно можно было работать. Он соорудил его из новеньких брусьев и свежего цинка, и хотя утверждал, что нашел и то и другое в равнине, народ придавал больше веры Татус, громко заявлявшей всем и каждому, что этот „долговязый негодяй“ стащил и дерево и металл у казны.

Кревель, который любил порядок гораздо больше, чем это можно было предполагать, не мог спокойно смотреть на валяющиеся без присмотра предметы, и его беспрестанно встречали с переполненной тачкой.

— Оставить все это на гниение? Да ведь это грех, — говорил он.

А когда его расспрашивали о происхождении его находок, он отвечал:

— Не твоя забота: я ликвидирую склады.

Долговязый занимался мелкой слесарной работой и чинил земледельческие орудия. А так как не хватало

ни запасных частей, ни нового материала, причем цены на них были очень высокие, то каждый вечер он предпринимал так называемый „инспекторский обход“ и привозил лемехи, сеялку без колес, жатвенную машину с поломанными ручками, — словом, все еще остававшиеся на былом фронте обломки мирной жизни, по очертаниям которых ночью, во время войны, ориентировались заблудившиеся патрули. Он починял одно остатками другого и немедленно все продавал.

За пару колес платили тогда две тысячи франков, а Кревель доставлял их за восемьсот. Надо было только, как он говорил, „уметь покупать“, а он „покупал“ в бывшем военном лагере, где под дождем разваливалась сотня обозных двуколок и артиллерийских повозок.

Иногда, думая об огромных паровых плугах, доставленных из Германии и стоявших длинными рядами у Пон-Ружа, где они быстро ржавели, так как не было даже брезентов, чтобы их прикрыть, — долговязый, вспоминая о том, что их там было больше, чем на пять миллионов, тяжело вздыхал:

— Какое богатое дело для смелого и догадливого человека!

В окружном управлении Кревеля ценили. Он один умел держать в целости и сохранности ремесленные инструменты, и его начальник, в награду, смотрел сквозь пальцы на его поздний приход и ранний уход. Это обстоятельство погубило, однако, Каниве.

У кривого вошло в привычку заходить каждое утро за своим товарищем, чтобы итти вместе с ним на работу.

Очень часто, заставая его за каким-нибудь занятием в его сарае или дующим на кружку горячего кофе, он спокойно садился на скамеечку и, вытащив трубку, терпеливо ждал своего друга.

— Так скорее время пройдет, — философски говорил он.

При общем беспорядке это хроническое опаздывание проходило незамеченным, тем более, что многие рабочие не показывались иногда по два-три дня; но Каниве никогда не везло, и вот, однажды утром, когда он явился после десяти часов, ему сказали, что только что прошел контроль и что, в назидание другим, решено его уволить.

— Здесь надо работать! — сердитым тоном сказал ему чиновник земледельческого отдела в люстриновых нарукавниках.

И кривой остался без должности. Несмотря на то, что на сердце у него было тяжело, он и виду не подал, что огорчен.

— Ну, и чорт с ними, раз они не признают за человеком права на свободу, — заявил он в трактире. — Подожду, пока опять возьмутся за садоводство, а тем временем наймусь к Бузье.

Бузье, как и многие другие, прибыл в опустошенные войною департаменты без определенной программы: его главное желание было заработать деньги. С первого же взгляда он установил рессурсы разоренного края. Что там было? Развалины и покойники. Значит, в этом направлении и надо работать. Для начала он взялся за развалины.

К тому времени администрация, наконец, поняла, что с рабочими командами окружного управления, которые делали очень мало, и с китайцами, которые не делали ничего, городов не восстановить, и она решила обратиться к подрядчикам. Предстояло уставить строительными лесами площадь почти в четыре миллиона гектаров, т.-е. создать величайшее из когда-либо существовавших на земле предприятий.

Цены были соблазнительные: почти вдвое больше тех, на которые можно было рассчитывать; и все же, в самом начале охотников оказалось так мало, что приходилось их почти умолять.

Ставшие на работу подрядчики наняли местных рабочих, выписали итальянцев, испанцев, кабилов и русских, и, начиная с осени, вся эта разношерстная армия принялась за дело.

Условия для предпринимателей были чрезвычайно выгодные. Государство платило десять франков за вывоз кубического метра мусора, пятнадцать — за песчаник, двадцать пять — за булыжник и сорок пять за уборку плиты; но рабочие, каков бы ни был материал, получали только четыре франка за метр; все остальное было чистой прибылью подрядчика.

У Бузье скоро оказались работы в двадцати общинах. Под его командою находилось около тысячи человек, и когда он проезжал по незнакомой деревне, то, желая узнать, в своей ли он еще зоне, он не спрашивал название местности, а кричал из своего автомобиля, обращаясь к землекопам:

— Вы работаете у Бузье?

Все знали этого худого человека с кривыми ногами, с ниспадавшими вниз, словно спущенные флаги, усами и с глубоко запавшими под большими очками глазами. Он всегда был плохо одет, напоминая бедного чиновника, и все невольно задавали себе вопрос: на что ему нужны были деньги?

Случайно, когда Каниве предлагал свои услуги заведующему одним из строительных пунктов, Бузье был там.

— Тебе выкололи глаз... Война... оно понятно... Но это неважно: я тебя беру... Сдай свои бумаги в канцелярию, как все другие, чтобы тебя можно было найти, если ты выкинешь какую-нибудь штуку. Здесь, если не лениться, можно зарабатывать франков тридцать в день.

Садовник, раненую руку которого сводило с каждым днем все сильнее, знал, что он не выколотит и полови-

ны; тем не менее, ему пришлось там остаться: нигде больше на работу не принимали. Кресси дремало под своими развалинами.

Только на полях недавних сражений еще действительно работали.

Несколько месяцев подряд крестьяне не хотели приниматься за дело, напоминая лошадь, которая долго упирается и не лезет в хомут; потом они сразу пошли полным ходом и теперь, ар за аром [1]), возвращали себе свою землю.

В первое же мирное лето они сняли жатву. Позади линии окопов люцерна и сладкая дятлина, оставшиеся вследствие войны на корню, росли сами собою, а на лужайках, где обозные солдаты привязывали своих животных, цвел овес. Все это поселяне теперь скосили. У них не было лошадей, окружное управление отказало им в перевозочных средствах, — не беда: они таскали траву на своих спинах.

Очень скоро работа на полях развернулась повсюду. То было как бы последнее наступление, и казалось, что окопы, хотя и пустынные, все еще кто-то защищал. Каждая траншея как бы подвергалась новой атаке. Колючая проволока раздирала руки рвавшим ее людям, сапы осыпались под тяжестью конских копыт и в разных местах, то тут, то там, разрывались гранаты.

Как только проволочные заграждения удаляли и воронки от снарядов заполняли землей, участок распахивали до следующего окопа, у металлической ограды которого, порыжевшей от непогоды, тяжело останавливались утомленные люди и животные.

Землепашцы действовали плугом, бороной и сеялкой гораздо скорее, чем расчищавшие траншеи землекопы. Последние получали плату поденно и потому работали

---

[1]) Ар — около 22 кв. саж. *(Прим. ред.)*

не спеша, позволяя себе даже иногда поплясать под звуки гармоники. Военнопленные, со своей стороны, тоже не торопились, увлекая, когда это им удавалось, запачканных землей работниц-копальщиц в укромные уголки, а китайцы еще медленнее скатывали стальную проволоку в огромные круги.

Несмотря на все это, дело все же подвигалось вперед, и границы красной зоны отодвигались постепенно все дальше и дальше. Десятки тракторов Земледельческого Управления безостановочно расчищали, боронили и распахивали почву, вырывая, как сорную траву, внедрившуюся в нее колючую проволоку.

Из всех местностей, в которых побывал Жак, больше всего работали в Марувале. Каждый раз, когда он туда подымался, он находил еще несколько наново распаханных полей, красиво выделявшихся коричневыми пятнами на фоне окружавшей их каменистой пустыни. Архитектор удивлялся, как это Дидье Роже решился засевать эти гектары мертвой земли и бросать туда пудами удобрение.

— Ничего! — отвечал ему не терявший надежды фермер. — Пусть в этом году будет плохо расти, зато в будущем я соберу хороший урожай... Вот увидите...

Он указал на мальчугана, который, бегая по засеянному полю, с криком бросал в разные стороны камешки.

— Вот вам лучшее доказательство, что я надеюсь здесь кое-что заполучить: я плачу восемь франков в день вот этому маленькому негодяю только за то, что он пугает ворон... Восемь франков! А они еще жалуются на низкую заработную плату!

Дидье Роже не знал, что такое разочарование, и Жак, когда его одолевало беспокойство, брал у него уроки терпения. Фермер был, несомненно, человеком не особенно чутким, но его суждения были всегда правильны, убеждения продуманны, и часто одного его простого слова

бывало достаточно, чтобы разъяснить Жаку его собственные чувства.

Однажды, когда они болтали, идя за трактором, Дидье заметил:

— Люди во время войны показали все, что в них есть лучшего и худшего.

Эта, в сущности, банальная фраза вызвала в уме молодого человека целый рой мыслей и подозрений.

А ведь это правда: до тех пор не знали, что скрывало в себе сердце человеческое. Вдруг разразилась война, и вот — мелкий прожигатель жизни, лавочник, какой-нибудь пустоплет-чиновник очутились лицом к лицу со смертью, а жены их получили вдруг возможность жить, как им было угодно, без всякого контроля. Невольно вставал вопрос: „Что они будут делать, и те и другие? Какие обнаружат они еще неведомые качества и свойства?“

Покажут ли себя мужчины великими или подлыми? Кто мог это сказать? Ведь в повседневной жизни нужны средние добродетели: счетоводу незачем быть героем.

Сохранят ли женщины верность или опустятся в пропасть измены? Кто мог это знать? Ведь если жена, за которою следят, не спотыкается, то в этом нет большой заслуги.

Война обнаружила у тех и других все низкие, подавляемые ими до тех пор инстинкты и самые высокие добродетели, о которых они и не подозревали. Война обнажила людей и показала их такими, каковы они в действительности — прекрасными или безобразными. Какому свирепому божеству пришло вдруг в голову подвергнуть живые существа этому страшному испытанию?

Сколько неожиданных и удивительных вещей раскрыла война! Вот наглый, пустой юноша-танцор, лицо которого всех раздражало: но, защищая свой окоп, он

лишился глаз и, уже слепой, все еще бросал гранаты, даже не видя, кого он убивал. Вот скромный, незаметный чиновник, которого считали тупым эгоистом: но он получил пулю в лоб, когда отправился разыскивать товарища, лежавшего раненым между двумя линиями окопов... Вот добродушный слегка тучный отец семейства, приветливый и сердечный, всегда приглашавший к себе пообедать первого встречного; но он оказался скотиною: изводил своей жестокостью солдат (он был капитаном), а пристроившись на сборном пункте, посылал людей на убой за малейшую провинность. Вот две молодых девушки, служившие в булочной, — обе такие приличные и сдержанные, воспитанные их матерью, как институтки: но вместе с мамашей они развратничили в маленьком городе прифронтовой полосы, и их юными телами наслаждались офицеры всех полков.

Не странно ли все это? Ведь они всегда были такими, но раньше никто этого не знал.

А как только война кончилась, все опять напялили на себя свои обманчивые маски. Капитан с круглым животом пожимает руки тем, кого он мучил; девицы из булочной, уже замужние, опускают глазки и разыгрывают скромниц. Скоро забудут, что офицер был убийцей, а барышни — распутницами, как забыли о героизме других. Быстро стирает время все следы недавнего прошлого. Но нет! Все это надо помнить! Нечего ссылаться, в виде извинения, на неумолимую военную дисциплину, на беспутную городскую жизнь, на дурные примеры, на соблазны... Нет! Именно в эти минуты мы были самими собою... Слишком поздно лгать: нас видели!

„А Елена?“ подумал вдруг Жак.

Перед его умственным взором пронеслись все окружавшие ее мужчины: покупатель-англичанин в мундире цвета хаки, а потом — он сам... Сколько дней она

противилась британцу? Как долго отказывала ему, Ле-Водуайе?

Желая отогнать эти тягостные мысли, он вспомнил слова Каниве:

„Никогда ничего дурного не говорили о вашей жене, никогда!“

Ему захотелось убедить себя, что ему, Жаку, она оставалась бы верной, что его возвращения она ждала бы, не поддаваясь никаким соблазнам... По субботам, встречая ее на вокзале и сжимая в своих объятиях, он иногда со страхом ее спрашивал:

— Любишь меня, — скажи! Действительно любишь?

Но что бы она ни говорила, молодой человек не находил желаемого им горячего ответа в глубине ее черных глаз.

Когда пришла пора осенних дождей, Елена стала приезжать реже; но он не решался ее упрекать: так мерзко было в маленьком поезде из Понтарева, набитом безбилетными китайцами, так холодно было в бараке, так грязно на улицах Кресси.

Жак и сам охотно вернулся бы до весны в Париж: это было бы полезно для его здоровья, да и дела его от этого не пострадали бы: но он хотел, чтобы первое слово сказала Елена. А она и не думала об этом. Она даже удивилась, что он работал недостаточно энергично, и продолжала ставить ему в пример людей, которые грабили потерпевших, открыто толкуя об этом в вагоне.

Когда, при первых холодах, Жак опять стал кашлять, и Елена увидала, что его часто лихорадило, она забеспокоилась, привезла ему какого-то сиропа и взяла с него обещание, что он посоветуется с врачем; но в то же время, она упрекала его, почему он все еще не выхлопотал себе пенсии.

— Ты должен это сделать, — повторяла она ему, — ты в отставке, ты имеешь полное право... Я не пода-

рила бы им, уверяю тебя, пенсии Андрэ... Я получаю только двести франков в три месяца, но и за эти деньги я все-таки могу купить себе хоть пять пар чулок.

По этим мелочам Ле-Водуайе все ближе узнавал свою жену.

Под низким ноябрьским небом Кресси словно вымерло. С Эны шел сильный туман, наводнявший развалины и окутывавший белой пеленой дома, казавшиеся, в его густом полумраке, далекими призраками.

Началась новая, полная бедствий зима. Люди прятались в подвалах и лачугах с продырявленными крышами и с завистью смотрели на тех, кто мог укрыться в сооруженных для них окружным управлением бараках. Еще ничего не было отстроено, всего около двадцати домов были только отремонтированы, а надо было приютить триста семейств да целую толпу рабочих, служащих и случайных приезжих.

Ночью, в дурную погоду, обитатели городка шлепали по грязи, отовсюду струилась вода, и пока жена пострадавшего разыскивала сухой угол, куда бы поставить люльку, муж выходил под дождь, чтобы загородить вход в погреб или, взобравшись на кровлю, приколачивал наудачу сорванные с нее ветром планки и листы картона.

Рабочие, прибывавшие из внутренних департаментов, располагались в устроенных для них на скорую руку общежитиях. Они платили десять франков в сутки за прокорм, причем им давали полугнилые овощи, плохо выпеченный хлеб и прогорклый шпик, купленный в американских складах, а за ночлег на отвратительном соломенном тюфяке, в собачьей конуре, без огня, они должны были вносить каждый раз четыре франка.

— Ну, их-то нечего жалеть! — говорил мэр. — Когда я подумаю, что каменщики зарабатывают по тридцать пять франков в день...

В пять часов вечера становилось уже совсем темно, и все живое пряталось по своим норам. На улицах не оставалось ни души. В это время, подхлестываемые ливнем и лишенные крова, рабочие возвращались в кабачок и горланили там до обеда, теснясь в темном помещении и попивая дрянное винцо, которое им отпускали по три франка за литр. Деньги, добытые ими в поте лица, быстро переходили из их кармана в другой.

Только иностранцы — итальянцы, испанцы и поляки, эмигранты по своей природе, — умели терпеть лишения и делать сбережения, чтобы посылать их на родину. Некоторые из них хранили в своих дырявых жилетах толстые пачки кредитных билетов и „боны национальной обороны“, а кабилы, которые складывались по четыре и пять человек, чтобы купить трески и сожрать ее в виде разваренного вонючего пластыря, стояли, в дни получек, длинным хвостом у почты за бланками для переводов.

К счастью для торгашей, у них были китайцы, не знавшие бережливости. Вору, не довольствуясь эксплоатацией служивших у них желтолицых, вытягивал медленно, но верно все заработки и своих столовников, а также не гнушался обворовывать потерпевших, закупавших у него продукты; он отпускал, правда, в кредит, но зато брал вдвое дороже.

Когда, с наступлением холодов, пришлось топить бараки, и ни у кого не оказалось печей, трактирщик вытащил их целый склад, украденный им в каком-то лагере. Он продавал их в том виде, в каком взял, — покрытыми ржавчиной и с прогоревшими трубами, — но все были рады и таким, в том числе даже и Каниве, который, ругая за глаза Вору, вынужден был полюбезничать с Татус, чтобы выудить у нее одну печку.

Эта жульническая коммерция соседей сильно возмутила Кревеля, жалевшего, может быть, о том, что не

ему первому пришла в голову эта мысль. Но им овладело прямо неописуемое негодование, когда он узнал, что Вору получат пособие сразу за четыре года. Бывшая маркитантка и ее увалень-супруг, отдавший предпочтение плену перед участием в войне, требовали тринадцать тысяч семьсот шестьдесят франков, из которых более восьми тысяч приходилось на долю четырех мальчиков.

— Вы слышите, — ревел Кревель, — этот рогатый чорт получит деньги еще и за мальчишку, которого ему сделал бош! Как тут не лопнуть со злости!

Собственно говоря, все жители захваченных неприятелем областей имели право на это четырехлетнее пособие, но в то время, как у мобилизованных удерживали стоимость их содержания на фронте, правительство ничего не спрашивало с семейств, кормильцы которых не были солдатами; таким образом, во всем округе никто не получал столько, сколько Вору.

— О, если бы я был потерпевшим, — вопил парижанин, — я бы им показал! Эти бандиты издеваются над вами!

Его брань и крики ничего, конечно, не изменили и не отняли у трактирщика ни одного покупателя, но у долговязого была, по крайней мере, чиста совесть, а также удовлетворение, что он многим доставил удовольствие своими протестами.

У населения были, впрочем, и другие причины для негодования.

Все было безумно дорого: мясо, консервы, яйца, а единственная крестьянка, имевшая коров, тайком продавала свое молоко китайцам, не оставляя его для детей, как это было приказано властями.

Так как источники за время войны иссякли, а колодцы были загажены, то для питья употребляли воду, какая попадалась, и дифтерит свирепствовал во-всю.

Жидкая, смешанная с известкой грязь покрывала все улицы, разливаясь вплоть до бараков, и местами мостовую приходилось переходить вброд.

Те из пострадавших, которые подписали договоры с самозванными подрядчиками, подняли шум, видя, что они ничего не делают, но грабители, не обращая внимания на жалобы, продолжали вербовать клиентов.

— Мы приступим к делу, когда вас наберется пятьдесят человек, — заявляли они, как уличные фокусники. — А вас пока только тридцать... Но мы уже наняли каменщиков и выписали цемент, который должен прибыть на-днях.

Но проходили недели, потом месяцы, а никто ничего не привозил.

Несмотря на это и на терзавшую их жестокую нужду, все потерпевшие таили в глубине души неугасимую надежду, прекрасную мечту... Живя в лачугах с продырявленными и прикрытыми холстом крышами, пропускавшими воду, они только и думали, что о красивых домах, которые они скоро получат, и забывали обо всем. Они уже видели эти великолепные жилища, двухэтажные, просторные, с разбитыми перед ними цветниками, как у богатых буржуа.

— Как ты думаешь, комиссия много сбавит нам? — со страхом спрашивала жена пострадавшего у мужа.

— Архитектор сказал, что ничего не сбавит... Они, кажется, сговорчивы.

Каждый потребовал больше, чем ему следовало, боясь, что не получит достаточно, и теперь, когда префектура начала выдавать авансы, все стали нервничать, переходя от уверенности к сомнению.

Каждый потерпевший опасался лишь одного: как бы его сосед не получил больше, чем он.

Люди еще жили в бараках, а их уже разделяли распри. Во время военных действий, когда их обстрели-

вали то наступавшие германцы, то отходившие с боем французы, жители братски ютились в погребах, взаимно оплакивая свои печали и делясь продовольствием; но как только мир был подписан, у них снова начались война, зависть, низкое соревнование, и в комиссию дождем полились анонимные письма, как раньше, во время оккупации, в немецкую комендатуру. Сельского стражника, имевшего раньше хижину, упрекали в желании заполучить каменный дом, а стражник, в свою очередь, обвинял крестьянина в том, что свой соломенный навес он выдавал за ригу, а свиной хлев — за особняк.

Но фундамент всех этих строений находился лишь в сердцах обывателей, и многим из них не было суждено когда-либо увидеть крышу своего жилища. Подрядчики отделывались одними обещаниями, государство признало свое бессилие, и люди продолжали жить в развалинах, как некогда на войне.

От всех этих огорчений и неприятностей потерпевшие должны были, казалось, прийти в отчаяние, но вышло наоборот; загнанные в тупик, они начали действовать. Только горькая нужда и испытания дали им понять, что они могли рассчитывать только на самих себя, что на восстановление разрушений органы власти неспособны, что одних законов недостаточно, что нельзя выстроить стены из бумаги.

И население начало организовывать союзы. Во всех, даже самых маленьких общинах образовывались строительные кооперативы, и часто достаточно было одного, более решительного человека, чтобы увлечь других и соединить в одно целое их разрозненные силы.

Когда во всех городах Суассонского округа уже были кооперативы, Кресси, где было мало единодушия, все еще колебался. Казалось даже, что никакое согласие было не возможно, так как земледельцы хотели строиться

на высоких местах, на уровне своих полей, а другие жители, наоборот, желали расположить свои дома внизу, возле шоссе и железной дороги.

Наконец, видя, что дело не подвигалось ни на шаг, Жак и Дидье решились взяться за него сами.

— Мы не здешние уроженцы, но тем хуже для них... Без кооператива мы ничего не добьемся...

К Ле-Водуайе вернулась его восторженная вера первых дней, и он начал действовать: просмотрел примерные уставы сельского строительства, высчитал расходы, изучил порядок работ, и скоро у него был готов проект.

Первые затруднения возникли, когда пришлось разбить потерпевших на категории. Так как Жак был архитектором, то его заподозрели в заинтересованности.

Когда оба друга обратились к Ганье, он не отказал им в содействии, но отнесся к их предложению скептически.

— Нет, — сказал он им со своей обычной презрительной гримасой, — я не верю в это! Моя мыза была впятеро больше фермы Приерэ, — а разве вы дадите мне в пять раз больше рабочих?.. Нет? Ну, вот, видете!.. Поверьте мне, все ваши кооперативы — только рассадники раздора.

Тем не менее, когда пострадавшие устроили в школьном бараке первое собрание, Ганье согласился председательствовать. Он сообразил, что на случай если кооператив пойдет на лад, не следует никому уступать почет, а тем более — выгоды.

Архитектор говорил, стоя у классной доски, а пострадавшие, сидя на низеньких скамейках своих детей или теснясь в глубине помещения, слушали его и курили. Им сразу понравилась его манера говорить. Впервые им обещали дома, не приплетая к этому „вечной благодарности страны“ и не восхваляя „величия их развалин“: все эти глупые речи уже давно перестали им льстить.

— Если вы объединитесь, то, будучи каждый в отдельности нищим, вы станете, все вместе, богачами, ибо вы составите тогда капитал почти в пятьдесят миллионов, то-есть сможете распоряжаться и приказывать...

Собравшиеся смеялись, кричали „браво", и сам мэр был вынужден хлопать вместе с ними оратору.

Наметив в общих чертах свой проект, архитектор остановился на его финансовой части; в ту же минуту одобрительный шопот слушателей смолк, и их красноватые лица стали еще внимательнее.

Начало им понравилось: кооператив брал на себя подачу в сельское инженерное управление прошений об авансах под возмещение убытков, после чего предполагалось сейчас же приступить к работам, так как „Отдел Неотложной Помощи" обещал выдать кооперативу пособие в ожидании, пока он получит деньги от государства. А для подрядчика, — объяснял Жак, — гораздо соблазнительнее перспектива застройки двухсот объединенных участков, чем сооружение нескольких домов под руководством десяти разных архитекторов.

При этих словах потерпевшие принялись переглядываться и подмигивать друг другу.

— Так, так! — говорили их хитрые взгляды: — так вот почему он так старается!

А мэр тоже покачивал головой, словно хотел сказать:

— Посмотрим, посмотрим...

Ничего не замечая, Жак продолжал свою речь. Его щеки пылали, а горло пересохло от табачного дыма, густыми облаками обволакивавшего лампы.

Архитектор считал необходимым создание общего денежного фонда, который позволил бы продолжать или заканчивать работу каждого пайщика, не ожидая авансов из префектуры, если они случайно запоздают.

Тут круглые спины собравшихся вдруг выпрямились, послышались отдельные восклицания, к оратору протянулось несколько рук.

— То-есть как это?.. Объясните! — раздалось со всех сторон.

Дидье Роже, заметив усталость Жака и опасаясь, что ему трудно будет заставить себя выслушать среди поднявшегося шума, встал и растолковал собранию, как будет действовать проектируемый общий фонд. Для этого, — говорил он, — достаточно, чтобы потерпевшие, которым посчастливится первыми получить аванс, отчислили в кассу известный процент, который им потом вернут; это будет нечто вроде маленьких займов одного — всем и всех — одному.

Фермеру не дали докончить. Его перебили протесты, крики и даже свист... Как так? У пострадавших будут брать деньги, чтобы работать на других?.. При одной этой мысли собранием овладела неописуемая ярость, и Дидье Роже неожиданно пришлось противостоять двадцати орavшим во всю глотку и раздраженным субъектам.

— А если государство прекратит платежи? Ведь, тогда всякий, кто дал взаем, останется в дураках?

— Не надо несправедливостей! Нельзя одним давать больше, чем другим!

— Этого нет в законе!

Фермер не растерялся. Стоя на учительской кафедре, он возвышался над толпой, и его сильный, как у командира, голос покрывал ее шум и крики.

— Если вы не хотите помогать друг другу и не питаете полного доверия к тем, кто будет вести дело, тогда бесполезно устраивать кооператив.

Но его не слушали. Особенно волновались мелкие земледельцы. У них не было ни франка в кармане, они не знали, когда казна им заплатит, они не были

уверены, вернут ли им когда-нибудь их убытки, а потому, смело и твердо, с налившимися кровью глазами, они уже защищали свои будущие гроши, боясь взаимопомощи не меньше, чем благотворительности. Они инстинктивно повторяли сказанные как-то мэром слова и вопили хором:

— Каждый для себя!

Бывший землемер, старик Нуазе, у которого был небольшой участок, колотил по шкапу палкой, так как совсем уже охрип, и убеждал своих соседей по скамье:

— Вот видите! Я вам говорил, что они хотят нас обворовать!

Напрасно Дидье Роже кричал, что он был заинтересован в этом деле меньше всех, так как начал отстраиваться самостоятельно и может отлично обойтись без кооператива; напрасно Жак надрывал себе глотку, стараясь объяснить, что его проект ни на один день не задержит работу ни на кого из других потерпевших и что они не потеряют ни одного су, — и фермеру и архитектору пришлось отказаться от надежды убедить невероятно галдевшее собрание.

Между опрокинутыми скамьями люди толкали друг друга. Издали могло показаться, что в трактире передрались пьяницы. Жившая в соседнем бараке учительница школы в ужасе выбежала на улицу. При виде буйного землемера, колотившего своей дубиной по шкапу, она сделала такое испуганное лицо, что все собравшиеся дружно расхохотались; этим воспользовался Ганье, и, когда преподавательница очутилась за дверью, он не дал спору разгореться вновь, а быстро предложил приступить к избранию полномочного правления. В ответ на его слова раздался единодушный крик:

— Ганье! Ганье!

Первый противник кооператива сделался его председателем. Что касается архитектора, то мэр, не обещая

ничего определенного, заявил Жаку, что учреждение не обойдется без его услуг.

Испытанные молодым человеком утомление и разочарование были одною из причин рецидива его болезни. Однажды утром у него заложило грудь, и, дрожа от лихорадки, он свалился в постель; он пролежал целую неделю почти без ухода, не попадая зуб на зуб, как только гасла его печь, и с трудом принимая лекарство, замерзавшее в бутылке.

— Да, отравленный газами организм... Знакомая картина, — сказал Жаку врач, которого позвала приходившая к нему для уборки женщина.

Доктор Шапар, лишь недавно поселившийся в Кресси, был раньше военным врачем, и все еще никак не мог освоиться, с тех пор, как он стал штатским человеком, со своим новым положением. Он жалел о своих галунах и сапогах, о своей власти и солдатах. Особенно о последних.

Пока он жил среди них, он смотрел на них, как на плутов и гуляк, которым нельзя верить, и лечил их главным образом угрозами и арестом; но после войны, когда он ушел из армии и потерял своих „рядовых", он вспоминал о них со вздохом и, в конце концов, убедил себя в том, будто он их любил.

Проделавши, в начале кампании, трехнедельный поход вместе с полком, от Шарльруа до Марны, и пристроившись вслед затем в госпитале, где он играл роль надзирателя за больными дисциплинарными солдатами, Шапар считал себя настоящим воином и ни о чем другом со своими пациентами не говорил, как о казармах и окопах. Больше он ничем не интересовался, а всего меньше — медициной.

Единственными болезнями, останавливавшими на себе его внимание, были бронхит и свинка, как наиболее распространенные на фронте, а если больной говорил

ему: „ваше высокоблагородие", он брал на два франка дешевле.

Невежество Шапара было так велико, что, зная лишь два средства — аспирин и сернокислый натр, которыми, в наше время, нельзя лечить все недуги, он никогда не писал рецепта у постели больного, а возвращался домой, составлял его по фармакопее и, два часа спустя, посылал его с мальчишкой своей прислуги, которого величал „своим денщиком".

Жак моментально понял, с каким ветеринаром он имел дело, и, конечно, не просил его о дальнейших визитах; тем не менее, эскулап аккуратно приходил к нему каждый день.

— Я знаю свои обязанности по отношению к раненым, — говорил он.

Каждый раз он выкладавал при этом свои воспоминания о Вердене, в гарнизоне которого он находился в 1900 году.

Встретив у изголовья своего пациента Каниве, — который уже давно утратил свое благодушие и был сильно озлоблен неудачами, он сказал ему грубоватым тоном, как военный врач должен говорить с солдатом-инвалидом.

— Итак, любезный, вы жалуетесь? Вам кажется, что вы мало получаете? Все вы, канальи, одинаковы! А если бы вы умерли, вы больше получали бы, а?

Садовник, которому от звука докторского голоса показалось, что он вдруг предстал перед комиссией, машинально выпрямился по-военному, опустил руки по-швам и покорно смотрел в землю.

— Да, — смущенно признался он, — я хочу хлопотать о пересмотре моей пенсии, и пришел к Ле-Водуайе, чтобы он продиктовал мне прошение.

Сидя верхом на стуле, с наполовину свирепым и наполовину хитрым лицом, Шапар позволил Каниве

высказать все свои пожелания и обиды. Давно уже у почтенного врача не было такого праздника: ему казалось в ту минуту, что он опять сделался „вашим высокоблагородием". Ах, прекрасные дни 1917 года, когда за одним столом вместе с ним располагалась компания упитанных коллег, интендантских офицеров и жандармов в галунах и весело, с шутками и прибаутками, возвращала в строй легочных больных и горбатых. Что бы там ни говорили, а хорошее то было времячко!

— В запас? Или в чистую? — допрашивал Шапар.

— В чистую, ваше высокоблагородие, — ответил Каниве.

— Значит, без обязательства являться дважды в год? В таком случае, это дело касается окружного пенсионного управления. А ну-ка, подойдите поближе.

Врач поднялся, вывороти далеко не нежно веко калеки, под которое тот не вставил своего праздничного глаза, и пробурчал каким-то особенным голосом, который показался Каниве знакомым:

— Так, так... Чего вы, собственно, хотите? Этот глаз в отличном состоянии...

Тон его становился все строже.

— Он не гноится. Внутренняя поверхность вполне удовлетворительна... Чего же еще? Уж не станете ли вы утверждать в своем прошении, что вы еще больше окривели?

Садовник вытянул свою покрытую рубцами руку, на которой два пальца совершенно не сгибались.

— Я не из-за глаза хлопочу, а из-за руки, — объяснил он. — Она никуда не годна, она совсем...

Доктор вспылил.

— Послушайте, мой милый: нам надо сговориться. Вы что же такое: кривой или однорукий?

Жак слушал эту странную беседу сквозь туман лихорадки и не знал, на самом ли деле около него говорили или же у него был скверный сон. Он снова

увидел себя с целой группой раздетых инвалидов в зале увольнительной комиссии. Раненые робко проходили мимо нее, а врачи, с недоверчивым выражением на лице, ощупывали их, с твердым решением не придавать большого значения словам всех этих калек. Сидя на корточках на холодном паркете, солдаты снимали с себя свои отрепья и шептались:

— Ну, и сволочи же они сегодня!

— Осматривает вон тот большой, с бородой.

Бедняги, стянув от голода животы, терпеливо ждали своей очереди. Не так-то легко заставить признать, что ты больше не годен для убоя.

Каждый с трепетом ждал, когда назовут его имя.

Повернув голову на подушке, смоченной потом, Жак смотрел на Шапара и удивлялся, что он не слышит, как тот кричит:

— Годен!

Он был готов дать ему по физиономии. Но нет: доктор вдруг смягчился; может быть, он был признателен садовнику за минутную иллюзию, которую тот ему доставил; как бы то ни было, он обещал Каниве замолвить о нем словечко главному врачу.

— Между нами говоря, жалеть-то вас нечего. Шестьдесят пять процентов инвалидности... По новому закону это дает тысячу пятьсот шестьдесят франков пенсии, что совсем не плохо. Не так ли?

Обалдевший кривой только мотнул головой, как бы благодаря за то, что у него только один глаз.

Жак был чрезвычайно рад приходу Каниве. Он, Дидье Роже да иногда еще Этьен были его единственными посетителями. Садовнику пришлось, из-за искалеченной руки, оставить работу по вывозу мусора: ни один подрядчик не хотел его брать.

— Я их понимаю, — без всякого злого чувства говорил кривой, — ведь плата-то производится по метрам.

Каниве пришлось заняться гробокопательством. Многие семьи, находившие в полях могилы своих покойников, переносили их на кладбище или увозили на родину; таким образом, то тут, то там, приходилось ежедневно раскапывать ямы с мертвецами.

— Мы работаем вдвоем, и каждый получает двадцать франков. А недавно нам дали даже целых сто, хотя это был только капрал.

Все это делалось без разрешения властей, вследствие чего они работали вначале ночью; но мало-по-малу, видя, что ни заведующий расчисткой офицер, ни жандармы ничего не говорят, кривой и его товарищ осмелели и работали среди бела дня.

— Ведь, это никому не вредит, неправда ли? А дело-то какое! И поверить трудно! Вы подумайте: только за то, чтобы отвезти мертвое тело на грузовике в Париж, эти разбойники требуют две тысячи франков с трупа! Вы понимаете: две тысячи!

Жак часто видел эти большие погребальные автомобили, с грохотом катившиеся по Шемен-де-Даму и увозившие каждый раз пять-шесть гробов. Иногда, женщина в черном, горько рыдая, сидела рядом с шофером; неужели и она платила за свое место?

Каниве и его товарищ поминутно сталкивались с партиями китайцев, которые продолжали свои раскопки, соединяя в маленькие кладбища отдельные могилы. Не было ни одного рва, ни одного холма, где не лежал бы труп.

От Фландрии до Вогезов выкапывали мертвецов и клали их в тот, уже никем не охраняемый окоп, откуда нет возврата; и каждый покойник уносил с собой в синих складках своей шинели щепотку твоего мела, земля Крана, или немного вашей жирной глины, поля Суше!

Слушая кривого, Жак почувствовал, как из-под его закрытых век выкатились две слезы. Сколько насчитает

он своих в этой последней великой смене, сколько родственников, сколько друзей? Он не хотел забыть ни одного из них. Ему казалось, что, повторяя про себя их имена, он вырывал их из мрака ужасного небытия. Да, надо вспоминать о них без грусти, как если бы они были еще живы, как если бы еще этим вечером, когда вы вернетесь на отдых домой, они встретят вас с улыбкой у входа в ригу... Пока их любят, они не умирают...

— Рассказывай мне о них, Каниве,—говорил молодой человек словно в бреду, высовываясь из своей постели.

О, как их много, этих мертвых тел! Проклятое поколение, в котором люди, еще не достигшие тридцати лет, насчитывают больше друзей в земле, чем на ней. И за что, за что?!

О, вот они поднялись из своих затерянных могил, все те, кто не познал несказанного счастья при звуке пушки, возвестившей о перемирии.

О чем думали они в свой последний вечер, когда ушли, в серых сумерках, из своего лагеря? О чем думали они, когда наступила ночь, когда замелькали вдали ракеты, когда они остановились на краю рва?.. На запруженной людьми дороге они увидели походные кухни и артиллерийские ящики; им пересек путь батальон счастливцев, возвращавшихся на отдых, и те, которые шли на их место, подсчитали своими испачканными землей пальцами, сколько еще дней надо ждать, прежде чем придется вернуться и им. О, эти несчастные пальцы, кости которых превращаются ныне в пыль...

— Рассказывай мне о них, Каниве, рассказывай...

И садовник вспоминал своим скудным языком всех убитых у Лаффо, доверчиво ушедших в их первую атаку, всех погибших у Элета, всех павших у Нуайона. Он снова вспомнил о своем товарище Андрэ Дельбо... И слова кривого смешивались в лихорадочной голове Жака с его собственными воспоминаниями.

Он опять увидел себя в госпитале, возле умиравшего раненого. В предсмертной икоте солдат звал к себе жену, но пришла его мать.

Дрожа, подошла она к кровати своего сына и положила ему на лоб свои ледяные пальцы.

— Женушка моя милая, — прошептал умиравший.

Ничего не сказала старуха-мать, чтобы не разочаровать его. Ее глаза глубоко провалились, ее губы дрожали, но она не отняла своей руки и до конца ласкала чело любимого, под которым ни разу не шевельнулась мысль о ней.

Чье имя шептал, умирая, раненый из Лаффо? Жены... Матери?.. Кому предназначалось его последнее рыдание?..

— Рассказывай мне о них, Каниве, рассказывай...

VII.

Приблизительно в половине зимы уехали германские пленные. Все эти люди в сером, с узелками в руках, плотно окруженные солдатами, производили впечатление каравана каторжан. Но, когда они подходили ближе, их походка и преобразившиеся лица сразу говорили о том, что они шли не в ссылку, а возвращались домой.

Некоторые из них, впрочем, сильно привязались к семьям, в которых они работали; в Суассоне, в базарные дни, Фриц правил тележкой с продуктами, ел за одним столом со своими хозяевами и беседовал с ними о своей жене и малых детях; многие из германцев, идя по дороге из Кресси, искали глазами ферму, которую они уже никогда больше не увидят.

На новом карнизе только что отстроенного дома один пленный нацарапал своим грубым плотничьим карандашом: „Прощай, французская земля", — и, глядя на эту надпись, каждый невольно себя спрашивал: что это: простое грамматическое упражнение немца или невольное сожаление?

Когда германцы уехали, работа в округе пошла еще тише. Оживление было только на „Горе", где, несмотря на снег, возились рабочие Бузье. Они укладывали

камни в правильные колонки и чертили на них малярной кистью номера: то была мобилизация развалин.

Когда Елена узнала о неудаче, постигшей Жака при основании кооператива, она не поскупилась на насмешки над мужем.

— Я тебя предупреждала, — говорила она ему. — Я знаю этих мужиков. Все, что ты для них сделаешь, они сочтут вполне естественным и вместо того, чтобы благодарить, тебя же обзовут дураком.

Зная, что они не могли рассчитывать на быстрое восстановление их дома кооперативом, которым руководил Ганье, и что, с другой стороны, администрация отказывала в авансах на сооружения, не имевшие ничего общего с овином или гостиницей, Елена настаивала, чтобы Жак отказался от должности и поручил бы подрядчику, работавшему для Жоссе, постройку их особняка. Если бы последний принадлежал лично ему, Ле-Водуайе на это не пошел бы, но так как дом был собственностью его жены, то он, в конце концов, уступил. Он, однако, не ушел из кооператива, а заключил, от имени Елены, договор на необходимые работы.

Когда соседи увидели, что парижанин производит обмер своего плаца и о чем-то толкует с окружным инспектором, они заволновались.

— Все равно, — кричали кумушки, — мы не дадим им строиться, пока не начнем сами!

И они принялись теребить мужчин, упрекая их в мягкости и терпении. Надо жаловаться, надо писать, надо созвать общее собрание кооператива!

— Я был уверен, чорт возьми, что это так будет! — воскликнул мэр, которого предупредили одним из первых. — Но что мы можем тут сделать? Он в своем праве.

Бывший землемер Нуазе произносил на улицах целые речи.

— Ну, что, окрутил он вас своими сладкими словами! Ведь, обещать-то ничего не стоит: „Я, мол, для всех“, а главным образом он для себя. Увидите, какой замок он себе соорудит! Никто не узнает домика скромного Дельбо. А нам построят глинобитные хижины: для крестьян, мол, и этого хватит.

Об этих разговорах скоро узнал Жак, и однажды, в сильном гневе, он разорвал все планы своего особняка, которые составлял с такой любовью. Зная, что все население следило с любопытством за его работами, он решил преподнести ему сюрприз: отстроить свой дом в том самом виде, в каком он был до войны.

Когда Елена узнала об этом, она подняла крик, но на этот раз Ле-Водуайе настоял на своем.

— Ну, хорошо! Только пусть это будет как можно скорее, — согласилась она. — А если у нас останутся деньги из отпущенного нам кредита, мы выстроим большой птичник: это тоже испортит этим негодяям немало крови.

Правление кооператива дулось некоторое время на Жака и даже поговаривало о том, чтобы подыскать другого архитектора, но Ганье убедил его, что лучше всетаки работать с Ле-Водуайе, который всегда был у них под рукой. Дело в том, что эта кучка земледельцев и мелких торговцев начинала теряться во множестве декретов, циркуляров и ведомостей, обильно сыпавшихся из окружного управления, из префектуры и из кантональной комиссии. Жак был им нужен для всякого рода разъяснений, хотя, будучи очень подозрительными, они, все равно, проверяли все его действия и бумаги, несмотря на то, что очень мало в них смыслили.

Столпившись вокруг мэра, они слушали, как он читал:

— „Прошения должны быть направляемы в Отдел Землеустройства для передачи господину министру земле-

делия... Согласно циркуляра междуведомственной комиссии от 23-го декабря“...

Ганье, что-то проворчав, останавливал чтеца, и все со смущением смотрели друг на друга: что это еще за циркуляр? что там сказано?.. И они думали, спорили, теряли время... А когда, выяснив кое-как, в чем дело, они принимались читать дальше, то через три строки наскакивали вдруг на статью 15-ю, параграф 16-й закона от 25-го октября 1919 года... Что такое? Начиналась та же история... Мэр, которому кровь приливала к голове, возмущался канцелярской волокитой и начинал колотить кулаком по столу. Остальные снова затевали спор, все бумаги разлетались в стороны, в комнате воцарялся страшный беспорядок, пока, наконец, мэр, приняв пренебрежительный вид, не спрашивал архитектора:

— Ну, а вы что об этом думаете?

Эта комедия повторялась на каждом заседании.

Больше всего архитектор был нужен правлению для обсуждения условий договора с подрядчиком, предложившим взять на свой счет все работы кооператива. Этот подрячик, некий Аморетти, согласен был приступить к делу, не ожидая даже выдачи первых авансов, обещанных потерпевшим: он довольствовался временной сметой Отдела Землеустройства, составленной для каждого отдельного случая. Деньги он соглашался дать сам.

Когда об этом узнали в Кресси и потерпевшие почувствовали, что близится время, когда им отстроят их дома, ими овладела новая лихорадка.

Все одновременно подумали, что это уж слишком хорошо и что долго это не протянется. Поговаривали о том, что у государства нет денег, что дома отстроят только некоторым, а остальным придется выпутываться, как сами знают, в ожидании, пока заплатит Германия. Значит, надо было действовать скорее, надо было про-

лезать прежде других, и пострадавшие, чтобы выиграть неделю, готовы были растоптать ногами своих лучших друзей.

Начались невероятные интриги. Жители принялись наперебой зазывать к себе служащих Сельскохозяйственного Управления, по большей части писцов или бывших судебных чиновников, а так как было еще полезно приложить к прошению о кредите и приблизительную смету того, во что обойдется постройка, то стали заискивать у Жака Ле-Водуайе, с которым еще накануне не здоровались.

Но рассмотреть сразу все ходатайства было невозможно, и потерпевшие, дела которых попадали во вторую очередь, теряли голову. Им казалось, что над ними смеются, что их преследуют; они грозили, что будут жаловаться или напишут в газеты, и Ганье, которому очень скоро опротивели его обязанности, не мог отделаться от стаи безумцев, обвинявших архитектора во взяточничестве и требовавших его увольнения.

В порядке спешности сначала надо было заняться жилыми помещениями, которые еще можно было починить; но достаточно было, чтобы у какого-нибудь пострадавшего уцелел уголок крыши или поперек стены еще держалась балка, чтобы он требовал себе новый дом, как Иванушка-дурачок в сказке. Агенты Строительного Отдела должны были бы контролировать все подобные заявления, но так как на более чем пятьдесят общин их было только двое, то они не могли всего проверить. Нуазе, совавший свой нос повсюду и копавшийся во всех прошениях и требованиях, старался помогать чиновникам, но только еще больше запутывал дела...

Тот, кому, наконец, утверждали его смету, не мог усидеть на месте. Ему хотелось, чтобы каменщики были у него в тот же самый день, когда он получил

из префектуры чек на свою первую получку, и он бегал без конца в контору Аморетти или к Жаку, чтобы справиться — чего собственно ждут и почему не начинают?

Многие из потерпевших потеряли всякую надежду на восстановление своих домов в более или менее близком будущем и, не желая больше оставаться в лачугах или подвалах, сами строили себе, при помощи У. Г. Р., временные, слегка оштукатуренные жилища, которые они должны были оплатить из предстоявшего им вознаграждения за понесенные ими от войны убытки. Внушительные на вид балки этих построек, их зеленые ставни и новенькие белые стены вырастали, как молодые побеги, из развалин и придавали понемногу местности другой характер.

А возле Эны, возы и тачки сваливали, в течение всего дня, в глубокий ров всякого рода мусор: обломки розовой черепицы и песчаника, куски штукатурки и шифера, полуобгоревшее дерево. В этой большой яме хоронили, казалось, старое Кресси.

В тот день, когда прибыли рабочие Аморетти — чехо-словаки, поляки и русские (некоторые из них еще в отрепанных мундирах) — можно было подумать, что вернулись военнопленные. Окруженные надсмотрщиками они шли в полном порядке, почти воинским шагом, и их вели прямо к построенным для них баракам, из которых им было запрещено выходить после ужина.

Ганье, не любивший „так называемых трудящихся", был очень доволен установленным для них суровым режимом.

— Построже с ними! — говорил он. — Так-то оно лучше! Только во Франции рабочие могут своевольничать. Вы бы посмотрели, как с ними обращаются в Пруссии!

С тех пор, как этот шовинист побывал в плену, он не скупился на похвалы соседнему государству, где все, по его мнению, было лучше, чем здесь.

Скоро на целом ряде построек возгорелась борьба из-за рабочей силы. Землекопы от Бузье переходили к Аморетти,—и наоборот. Мелкие подрядчики, отстраивавшие одиночные дома, платили по пять су лишних в час на дороговизну жизни, лишь бы плотники от них не уходили, а так как даже самый неумелый из них зарабатывал двадцать пять франков в день, то кабилы, один за другим, бросали фермы и уходили на постройки.

Найти людей для полевых работ было почти невозможно. Батраки, которые до войны получали сорок пять франков и содержание, требовали теперь двести; их приходилось выписывать из Польши и платить за их проезд, не имея даже уверенности, что они останутся надолго.

В бывшей фронтовой полосе коверкали все решительно языки. Когда замечали нового товарища, то первым делом спрашивали себя, на каком наречии надо с ним говорить. Чех работал в одной партии с арабом под командой итальянца или француза, и все, думая лучше понять друг друга, принимались орать каждый на своем жаргоне, объясняя оживленными жестами, что им надо, и ругая на чем свет стоит друга друга. Некоторое время царила, конечно, неразбериха, но так как труд — единственный универсальный язык, а неизменное движение, которым копают землю или собирают кирпичи, — одно и то же для всех стран, то минут через пять все уже понимали друг друга.

В первый день лошадь выражала, разумеется, удивление, когда к ней приближался незнакомый ей человек, и, навострив уши, спрашивала себя, что могли означать его странные крики? Но так как война сделала ее философом и она носила, кроме того, тавро двух отечеств, то она и не старалась понимать; покачивая своей тяжелой и снисходительной головой, она, несмотря на все, тянула тяжести, догадываясь, что ей говорили: „Но-о!"

— Как хотите, но история о вавилонской башне сплошное вранье, — шутил Дидье Роже. — Если бы строившие ее бездельники хотели на самом деле ее закончить, то смешение языков нисколько бы им не помешало. На работе два человеыа всегда поймут друг друга.

На бывшем фронте копошились племена всего мира. Разоренная Франция сделалась как бы сточной трубой для мировой нищеты. Богатые, с помощью своих миллиардов, все в ней уничтожили, и бедняки явились ее восстановить.

Кто угодно мог приехать откуда угодно в опустошенные департаменты, и, даже не зная никакого ремесла, он мог быть всетаки уверен, что добудет себе на хлеб. Только Каниве это не удавалось, так как он отказывался работать сельским батраком в Марувале: в его глазах это было равносильно падению.

— Из-за вшивых арбисов, из-за прикидывающихся иностранцами бошей, из-за паршивых нейтральных — мы не находим у себя дома работы, — возмущался он.— Есть поляки, которые так же хорошо знают этот край, как я: и Шемен-де-Дам, и Мальмезон, и все... Разве это правильно? Они явились сюда сражаться, — это правда, — но теперь они отнимают у французов, которые воевали, их насущный хлеб. Не будь все депутаты продажными, этого не было бы... И все это потому, что я был дураком и пошел драться. Мне следовало бы поступить как Вору, и я имел бы теперь денежки!

А когда Этьен, его всегдашний наперсник, пытался его образумить и говорил ему о Франции, он возражал:

— Наплевать!.. Моя родина там, где меня кормят!

Таким образом, он сделался одновременно и ненавистников иностранцев и антипатриотом, что, вопреки кажущейся противоположности, не так уже противоречит одно другому.

Кривому, как и предсказывал Шапар, не увеличили пенсию. В виде компенсации, седанские врачи предложили ему изучить на казенный счет какое-нибудь другое ремесло, но в Туркуане процветало седельное мастерство, а в Гирсоне — щеточное, то-есть занятия, для которых, при плохом зрении, надо было иметь ловкие пальцы. По совету Жака, Каниве подал прошение о назначении его почтальоном и ждал ответа.

Тем временем, Дидье Роже давал ему всякую работу в Марувале; архитектор еженедельно звал его к себе — основательно вымыть и вычистить тележку, которую он недавно себе купил, а Кревель часто держал его у себя целыми днями под предлогом, что ему нужен помощник. Жилец Этьена очень любил кривого, но, вместе с тем, добродушно подшучивал над ним, когда они вместе отправлялись в „Морское кафе".

— Представляю вам чемпиона цивилизации, — говорил он, обращаясь к хохотавшим пьяницам, — одного из героев, утвердившего свободу народов на развалинах прусского милитаризма. Тысяча пятьсот франков ренты и вставной глаз. Ну-ка, самостоятельный человек, поздоровайся с компанией!

Завсегдатаи кафе, в жилетах из черной дерюги, смеялись над грубыми и резкими речами кривого, и никто из них, как и он сам, даже не подозревали, какое отчаяние грызло его душу.

— Только вы один понимаете меня, — часто говорил он Жаку.

Каниве не везло до конца: ему отказали в выдаче первого аванса, в размере одной пятой причиненных ему войною убытков, и это на том основании, что его дом нельзя было починить. И он проедал один су за другим из того, что ему дали за продажу его права на возмещение его потерь.

— Слишком много горя достается одним и слишком много радости другим, — жаловался он, вздыхая. — Вот, например, старуха Дельбо: подумайте только — в шестьдесят лет она работает, как батрачка... Она недоедает, чтобы только было чем заплатить за железнодорожный билет.

— Она все еще разыскивает сына?

— Ну, конечно: ведь, его могут найти! Их столько откапывают каждый день!

И вот, однажды, — это было в четверг, — когда Жак Ле-Водуайе ехал в Лейи на постройку фабрики, он заметил впереди себя, на Нантельской дороге, двух женщин. Младшая из них поклонилась ему: то была учительница из Кресси, нежная и хрупкая блондинка. Другую он моментально узнал и почувствовал что побледнел. Не размышляя, он резко сдержал лошадь.

— С добрым утром, господин Ле-Водуайе, — вежливо воздоровалась с ним учительница. — Вас не пугает дурная погода?..

— Такой вопрос можно скорее предложить вам.

Старуха на поклон молодого человека ответила ему кивком головы. Одним взглядом архитектор охватил в ней все: и ее удрученную походку, и ее грубые, грязные башмаки, и ее обрюзгшее от бедности лицо, и особенно ее глаза, несчастные и тусклые. Мысль, что эта женщина будет брести таким образом целые версты по обледенелой дороге, показалась ему нестерпимой.

— Куда вы идете? — спросил он. — Разрешите вас подвезти.

Старуха была так утомлена, а учительница так слаба, что обе с благодарностью согласились. Но как только женщины сели в пролетку, Жак сказал себе, что сделал глупость. Они встретят, конечно, знакомых; те удивятся, увидев его в обществе матери Андрэ

Дельбо; об этом будут болтать в Кресси; жена его узнает, и пойдут ужасные сцены. С минуту он сожалел, что уступил первому душевному движению, и сердился на старуху за оказываемую ей услугу. Он повернулся и сухо сказал им:

— Сядьте поглубже!

Он закрыл их откидным верхом экипажа, надеясь, что их, может быть, не увидят.

Учительница и мать Андрэ не сказали больше ни слова. Они видели, как мимо них, по обеим сторонам дороги, тянулась жалкая панорама невозделанных полей и истребленных снарядами рощ. Серый дождь окутывал туманом окрестный пейзаж. Между окопами валялись, то тут, то там, колеса телег, исковерканные обломки бороны, большая куча искромсанного листового железа, перенесенного туда неизвестно как и зачем. Здесь еще не разрезали железную проволоку и не засыпали ям: пролетка катилась по красной зоне. Немного дальше путешественники пересекли остатки леса—обширное пространство, покрытое щетиною древесных стволов, которые были не выше свай, с изглоданными гранатами верхушками. Кое-где несколько молоденьких березок выдвигали вверх свои длинные белые жерди. Среди густых проволочных заграждений зияли, словно чьи-то огромные грустные глаза, прямо в дождливое небо, полные воды глубокие воронки. И среди этого уничтоженного леса вдруг открывался взору весь покрытый трещинами остов блокгауза — бывшая охотничья беседка в таинственной и мрачной чаще.

Обе женщины сидели попрежнему тихо, и их молчание, которое Жак чувствовал у себя за спиной, начинало его волновать. Он боялся, не был ли он слишком груб минуту тому назад. Он напряг слух: ему почудилось, что он слышит позади себя подавленное рыдание— и быстро обернулся. Но нет... Старуха Дельбо, с неподвижным лицом, смотрела на поля.

— Мы подъезжаем, — сказал молодой человек.

Они, действительно, свернули в сторону, и на краю дороги, подымающейся к Пон-Ружу, увидели, у обрушившегося входа в каменоломню, несколько крестов и раскрытые могилы: то было маленькое кладбище Вовени.

На всех крестах были начертаны одни и те же даты и один и тот же номер полка: все это были убитые при Лаффо,—жертвы преступного наступления 17-го года.

Обе женщины подошли к сержанту, руководившему отрядом гробокопателей.

— Дельбо? Кирасир? — ответил он на их вопрос.— Нет, у меня такой фамилии не значится.

Затем, легким движением головы, он указал на ряд крестов.

— Там только неизвестные, — добавил он.

Старуха, не отвечая, смотрела на могилы. Она не плакала. Ее желтое, морщинистое лицо не изменило своего выражения. Ее глаза, устремленные на кресты, ничего, казалось, не видели. Может быть, она смотрела дальше, много дальше, туда, где матери хоронят своих пропавших мертвецов.

— Я ее знаю, — тихо сказал сержант Жаку. — Я видел ее на кладбище в Марживале.

Учительница, дрожа под своим мокрым плащом, ходила от одной могилы к другой и наклонялась над каждой надписью. Иногда кресты стояли так близко, что касались один другого.

„Неизвестный французский солдат... Неизвестный французский солдат... Солдат 24-го колониального“...

Убитые спали, тесно прижавшись друг к другу; у них была общая могила для целого взвода, как когда-то — общая кровать.

Вдруг один из гробокопателей, перестав работать, заметил сержанту:

— Дельбо?.. Я припоминаю что-то такое... Надо будет посмотреть могилу недалеко отсюда, на дороге в Фрюти. Мне кажется, там есть такое имя.

— В таком случае, это он! — воскликнула старуха, выйдя из оцепенения. — Я уверена, что это он!.. Андрэ Дельбо, неправда ли? Кирасир?

И, вся взволнованная, она с мольбою протянула к рабочему свои руки в черных бумажных перчатках. Но тот не мог ответить на ее вопросы.

— Надо посмотреть, — сказал он таким тоном, словно уже сомневался в своих словах.

Но сержанту эти расспросы, повидимому, надоели и, желая избавиться от предстоявшей ему неприятной работы, он заявил:

— На будущей неделе нам надо будет привести в порядок весь тот угол: обещаю вам внимательно его тогда обследовать.

Но старуха, которую била лихорадка, не могла так долго ждать.

— О, нет, нет! — умоляла она. — Пойдем туда сейчас же! Вы подумайте только, что уже больше года, как я его разыскиваю... Он там, совсем близко... Я хочу его видеть... Прошу вас... Я хотела бы сесть у его креста и не двигаться с места, чтобы не оставлять его больше одного...

Она заплакала. Унтер-офицер не знал, как ему быть. Жак произнес настойчивым тоном:

— Пойдем туда сейчас же. Разве вам не все равно?

Гробокопатель, почувствовавший, что получит на водку, поддержал его просьбу.

— Сделаем ли мы это сегодня или позже, — безразлично, раз это необходимо сделать.

Сержант — добрый малый по природе — уступил.

— Возьми лопату, — сказал он рабочему.

Вся группа, погружаясь по щиколотки в размякшую землю, направилась к дороге на Фрюти, которая узкой лентой вилась у подножия холма. Дождь перестал, но ледяной ветер делал жестким платье и раздувал юбки обеих женщин.

Жак и сержант шли впереди.

— Он вам сродни? — спросил унтер-офицер.

Молодой человек, смутившись, пробормотал:

— Нет... Немного... Я хочу сказать, что хорошо его знал.

— Так, понимаю: это ваш друг.

После минутного молчания, он прибавил:

— Может быть, окажется, что это он. Все бывает на свете.

Вдали, у болот Кенси, виднелись землекопы, разрыхлявшие почву.

— Они, вероятно, поминутно находят трупы? — спросил архитектор.

— Да, довольно часто... Но они никогда не оставят перстня на пальце мертвеца, будьте спокойны... В том секторе, где я раньше служил, я видел раз, как испанец рукояткой лопаты выбил убитому офицеру золотые зубы.

На обнаженных склонах Меннежана, продырявленных огромными воронками, ютилось несколько лачуг, блестевших от дождя и напоминавших лавченки тряпичников. От поры до времени там слышались глухие взрывы, и на гребне холма поднималось каждый раз как бы большое дерево черного дыма: то фейерверкеры взрывали застрявшие на полях былых сражений снаряды. Учительница каждый раз вздрагивала.

Рабочий, шедший впереди всех, свернул с грязной тропинки и двинулся по равнине. В двадцати шагах он остановился и крикнул:

— Это здесь!

Когда подошли остальные, он сказал:

— Вот, можете взглянуть: это почти такое же имя.

На полусгнившем кресте с трудом можно было прочесть:

— Дебро... кирасирского...

Старуха Дельбо, челюсть которой тряслась, как в лихорадке, произнесла прерывистым голосом, указывая на могилу:

— Это... он... Я чувствую это... Он погиб недалеко отсюда... у Ламотта... Это просто ошиблись в имени... но я знаю, что это он!.. Скорее! Посмотрите поскорее!..

Рабочий вытащил крест и, воткнув его поблизости в землю, повесил на него затем свою куртку.

— Ну, что ж, начнем, — сказал он, берясь за лопату.

Жак почувствовал, как под ним подкашивались ноги и как все его тело вдруг задрожало. Всем его существом овладела глубоко угнетавшая его мысль, что через несколько минут он увидит Андрэ Дельбо. Подняв глаза, он заметил расстроенное лицо учительницы, и подумал, что он сам должен быть еще бледнее. Все молчали. Слышался только мягкий звук лопаты, разрезавшей жирную землю. Скоро удары заступа стали звонче: он достиг более твердого слоя почвы. Вдруг рабочий остановился и кончиком лопаты сбросил в сторону тонкий пласт мела. Показался лоскут синего сукна.

— Его шинель, — сказал гробокопатель.

И принялся как можно осторожнее освобождать тело... Где-то вверху раздавалось пение птички... Потрясенному Жаку казалось, что поле стало обширнее. Все молчали... Старуха, не переставшая плакать, громко зарыдала.

— Уведите ее, — попросил сержант учительницу.

Девушка, вся в слезах, обняла несчастную женщину, чтобы отойти вместе с нею в сторону.

— Нет, оставьте меня! — умоляла старуха. — Я буду благоразумна... Я хочу его видеть!..

Могильщик, продолжая свою работу, обнажил наполовину зиявшую грудную клетку. Мать убитого устремились вперед.

— Его голова! — воскликнула она страшным голосом. — Осторожно!.. Вы можете поранить его личико!..

Этот крик больно сжал сердце Жака. Он с трудом удержался, чтобы не заплакать, и, весь дрожа, подошел ближе. Почти бессознательно он склонился над ямой... Плечи мертвеца были открыты, и под слоем земли уже проступали очертания головы... Мысль, что кончик лопаты может ее задеть, болезненно поразила молодого человека.

Он невольно протянул руку, как бы желая остановить рабочего, и вдруг, ничего не соображая, упал на колени, оттолкнул заступ и трясущимися руками сам раздвинул прикрывавший покойника хрупкий покров.

Грязный песок скользнул в сторону — и показалось тело.

Без страха и отвращения разглядывал Ле-Водуайе солдата.

Он едва различал его черты... Серое, словно изгрызанное лицо, от которого оставалось лишь немного мяса на желтоватых костях... Лицо ребенка... Да, молодость его, несмотря на его ужасное состояние, была очевидна, и юный мертвец жадно впивал своими пустыми глазами скудный свет бессолнечного дня.

Отчаянный крик заставил Жака выпрямиться.

— Боже мой! Боже! Это не он!

Старуха-мать, поддерживаемая учительницей, приблизилась к могиле и с первого же взгляда узнала правду. Растерянная, с расстроенным и мокрым от слез лицом, она быстро отошла назад от обманувшей ее ямы.

— Почему ты скрываешься от меня, дитя мое? — стонала она. — Я так страдаю, разыскивая тебя... Где ты, милый сынок... Не сердись на меня, дорогой... Я, ведь, делаю все, что могу!..

Взволнованный сержант отвернулся. Жак, все еще дрожа, поднялся с земли.

Гробокопатель, снова взявшийся за свою работу, разорвал на солдате шинель и достал его бумаги.

— Дебро, — прочел он, и в голосе его звучало сожаление. — Это и была его фамилия.

Но старуха уже не слышала его. Учительница тащила ее за собой, и несчастная мать, потеряв последние силы, в отчаянии следовала за ней.

— Где он? где он — повторяла она.

А молодой мертвец, лежа в своей полуразвороченной могиле, внимал ее медленно удалявшимся рыданиям. Когда же заплачет кто-нибудь по нем? Снова сомкнется над ним земля... Неужели навсегда?.. О! света! света!..

— Его сегодня увезут? — спросил рабочий.

— Ну, конечно, раз мы его уже откопали, — ответил сержант.—Надо воспользоваться тем, что нет дождя.

Со стороны Мальмезона доносились взрывы снарядов, заполнявшие своим грохотом серое небо.

— А всетаки, — проворчал гробокопатель, — они должны бы дать мне что-нибудь.

* * *

Жак остановил свою пролетку в Круи. Бедная женщина все еще плакала, а потрясенная учительница, стараясь ее успокоить, проливала слезы вместе с ней.

— Вы озябли, — сказал молодой человек. — Вам надо выпить горячего грогу. Сойдем здесь.

Они зашли в барак, бывший одновременно бакалейной лавочкой и кофейней. Сквозь узкое оконное стекло видны были развалившиеся стены, зиявший своей пустотой фундамент и упавшая крыша, а перед входом — большая куча тесаного камня.

— Мы отстраиваемся, — сказал трактирщик без малейшей иронии.

В это время дождь забарабанил по бараку. Скоро с крыши потекла тонкая струйка воды и разлилась мокрым пятном на прилавке.

— Ну, вот, опять начинается, — проворчал хозяин.— Евгения, дай кастрюлю!

Привычным жестом жена его подставила посуду в нужное место. Послышался легкий шум падавших капель — бесконечный, неутомимый, раздражающий.

Старуха Дельбо держала в руках, чтобы согреться, свой горячий стакан. Она смотрела на Жака и, потихоньку отвернувшись, заплакала опять.

— Ваша мать счастливая, — прошептала она.

— У меня нет матери, — ответил архитектор, чувствуя, как у него сжимается горло. — И отец тоже умер. Я совсем одинок.

Старуха долго молчала, углубившись в себя, потом, подняв глаза, спросила:

— А ваша жена не будет мне делать неприятностей, если я найду тело Андрэ?

— Неприятностей? А почему? Я не вижу — почему?

Старуха потерла свои жесткие руки.

— Да, это так, а все же... Ведь когда получились бумаги о том, что он пропал без вести, а также насчет его воинской медали, она не известила меня. Она говорила: „Я его жена“ — и мне нечего было возражать. То же, вот, и теперь: если она захочет, она сможет, пожалуй, потребовать тело?

Лицо несчастной приняло умоляющее выражение.

— А его должны оставить мне, неправда ли? Ведь, я с таким трудом разыскиваю его. И потом, у меня ничего больше нет на свете.

Жак взял старуху за руки.

— Обещаю вам это, — сказал он глухим голосом. — А кроме того, так как я много разъезжаю по бывшей фронтовой полосе, то обещаю вам также, что буду следить за всеми раскапываемыми могилами, буду наблюдать за всеми кладбищами и, в случае чего, вам сообщать.

— Вы... добрый человек,—пробормотала она с благодарностью.

— Совсем нет, — возразил Жак. — Ваш сын — бывший солдат, как и я. А к тому же...

И неопределенным жестом, чтобы не говорить лишних и тяжелых слов, он дал понять, что трагическое родство сближало его с покойным.

Струйка воды, лившаяся в кастрюлю, измеряла, казалось, время. Потом дождь прекратился, и капли стали падать все реже и реже. Наконец, их стук затих совсем. Наступила жуткая тишина. Но мать Андрэ ее не почувствовала, потому что в душе ее была та же жуткая тишина.

Не поворачивая головы, она прошептала:

— Мало знал он счастья, мой бедный мальчик.

Жак ощутил как бы укол в сердце. Он понял, на что и на кого намекала старуха. Он боялся ее следующих слов, но не решался подняться, заплатить и, под предлогом, что дождь перестал, ехать дальше. Неодолимое, почти болезненное любопытство удерживало его на месте.

— Когда он был в последний раз в отпуску, — продолжала старуха, — он пришел к нам и горько-горько плакал. Я никогда не видала, чтобы мужчина так рыдал... А он был весельчак!

Жак ни о чем не расспрашивал. Он бросил на несчастную мать быстрый взгляд и сейчас же отвел глаза. Она спросила его:

— Вы давно „ее“ знаете?

Ему стыдно было сознаться, что он посещал Елену еще до трагического события, и он солгал:

— В семнадцатом... восемнадцатом... не помню уже. Она была в трауре...

Старуха машинально повторила:

— В трауре... Он ее так любил, сударь, так любил...

Затем, утерев слезы, она продолжала все тем же монотонным голосом:

— Когда он погиб, нам незачем было дольше жить. Почему остаются старики, а молодые умирают?.. Я сказала мужу: „Давай, мой бедный старик, когда будем ложиться спать, откроем кран от газа и больше уж не проснемся. Но он не захотел. Знаете, мужчины... они крепче женщин, они тверже... Ему еще хотелось жить. Тогда мною овладела мысль: найти Андрэ, чтобы и у него, как у всех, была своя могила.

Ее тусклый взгляд вдруг прояснился.

— Я даже скопила немного, чтобы привезти его... А вы знаете, как это трудно, когда приходится экономить по грошам, во всем себе отказывать. Даже, если мало ешь, деньги всетаки уходят...

Казалось, она была счастлива, что могла терпеть лишения, что, страдая для своего ребенка, она могла еще раз доказать ему свою любовь и побаловать его, словно он был еще жив и мог ей сказать: „Спасибо, мамочка...“

Потом она стала вспоминать счастливые дни.

— Какой это бывал для нас праздник, когда он приезжал в отпуск. Правда, он проводил у нас немного времени, потому что у него была жена, которая его бранила бы за это, но сколько всетаки удовольствия он доставлял нам!.. Какой он был прямой и веселый!.. Изо всех сил он старался нас успокоить и убедить, что ему не приходится сражаться. В письмах он никогда не жаловался, напротив...

Серое облако прошло по сердцу Жака. Отвратительное воспоминание, сознание гнусного поступка... Ему вспомнилась Елена, читавшая ему на смятой постели письма Андрэ... Да, это правда, он никогда не жаловался. Он писал о спокойной стоянке, о товарищах, о полковых делах... А он, Жак, откинувшись на подушку, говорил своей любовнице:

— Превосходно! Он счастлив, твой кирасир! Ему, как видно, хорошо живется. Пусть только в отпуск не приезжает: место его... того... занято...

Где теперь его место? В каком окопе, на дне какого рва? Да, этого тесного места, у подножия безыменного креста, никто не отнял у Андрэ...

А старуха продолжала свой заунывный рассказ:

— Только когда он приехал в отпуск после боя у Траси-ле-Валя, мы узнали, что он был награжден военным орденом. Но он опять солгал нам, сказав, что получил его за пустяки, что он ничем не рисковал.

Жак слушал ее только наполовину. Он старался представить себе лицо Андрэ, но, несмотря на все его усилия, перед ним всплывал другой образ: он видел пред собою лишенные плотского покрова черты покойника из Вовени. Наконец, он не выдержал:

— Есть у вас его фотография? — спросил он.

— Как же, самая последняя! — ответила счастливым голосом мать.

И она проворно вынула из мешка, потом из конверта сильно потрескавшийся моментальный снимок и протянула его молодому человеку. У Андрэ Дельбо было доброе, честное лицо и большая голова, на которой легко сидела каска.

— Есть его карточка получше: та, которую он, когда был в отпуску, заказал на эмали; но его жена не захотела дать мне ее.

Осторожно, она снова уложила снимок в свой мешок.

— На свое маленькое унтер-офицерское жалованье он, как видите, еще подарки ей делал,—продолжала она не без некоторой досады. — Помню, вначале он подарил ей хорошенькое алюминиевое кольцо, но она никогда его не носила... „От него пахнет фронтовиком“, — говорила она. Тоже словечко, которому ее научил ее брат шкурник! Вы понимаете, что у меня с моим стариком было немного: военное пособие, его железнодорожная пенсия да четыре су, что я зарабатывала; и все же, не она, а мы отправляли Андрэ посылки. Жена его об этом и не думала. А однажды она даже напала на меня: вы, — говорит, — нарочно это делаете, чтобы казаться лучше меня...

Жак почувствовал на себе взгляд учительницы и покраснел. Казалось, он угадал ее мысль: „И такую-то женщину он любит!“. Ему стало стыдно, и, чтобы скрыть свое смущение, он уставился глазами в окно.

А старуха продолжала:

— Она женщина с головою; этого у нее отнять нельзя. Она вела все дело и пользовалась доходами с него, — это справедливо. Но, ведь, купил-то его мой мальчик; ведь, это он привлек покупателей и сделал ее хозяйкою. Разве не следовало ей быть добрее и щедрее? Но он был слишком мягок, чтобы спорить, и слишком горд, чтобы жаловаться... „Да нет же, мама, не беспокойся: я счастлив, вполне счастлив!“ — говорил он. Это он-то был счастлив! Бедное дитя!

Можно было догадаться, что именно это ее терзало: мысль о том, что Андрэ умер в тоске и отчаяньи, что глаза его, закрываясь навеки, были полны слез.

Продвинув локти дальше на стол и сделав суровое лицо, она прибавила:

— Он знал, что она развлекалась, сударь; он подозревал, что она веселилась с мужчинами, танцовала с ними...

Жак опустил голову. Да, она танцовала с ним! Ему стало страшно. Кто знает, может быть именно о нем думал солдат, когда он сидел ночью в своем окопе, в холоде и грязи; может быть, именно его он ненавидел и из-за него страдал...

На душе у Жака стало тяжело. Он не смел взглянуть на старуху.

А ее голос, становившийся все слабее от клокотавшего в ее горле кашля, звучал все так же заунывно и жутко:

— В последний раз я не провожала его на вокзал, чтобы оставить их одних... Когда Елена вернулась,— а она, знаете, вовсе не из нежных, — она была сама не своя, и рассказала мне, что на платформе, входя в вагон, он обернулся, грустно-грустно посмотрел на нее и сделал ей рукою знак — прощай! — словно знал, что уже не вернется!..

Уронив голову на руки, несчастная снова начала рыдать. Жак поднялся, потом наклонился над нею, а учительница бормотала:

— Мадам Дельбо!.. Послушайте, мадам Дельбо!..

И гладила ее худую спину, которая судорожно тряслась от горького плача.

Ле-Водуайе чувствовал, что он не в состоянии утешить страдания матери, и, совершенно растерявшись, он произнес пошлые слова:

— Вы можете гордиться им. Он умер, исполняя свой долг...

Старуха быстро выпрямилась и резко произнесла:

— Не говорите этого!.. Я отдала бы всю Францию, если бы мой мальчик мог вернуться!..

Жак, покраснев от стыда, замолчал. Он смотрел на жалкую женскую голову, с которой соскользнул черный капор, и представлял себе Андрэ, склонившегося, как и он, над матерью в слезах.

Что подумал бы Дельбо, если бы он вернулся?.. Что подумал бы он теперь, когда героическая лихорадка улеглась, когда горделивое чувство риска уже не опьяняет больше мужчин, когда гремевшие пушки умолкли и успокоившийся разум снова охвачен сомнениями?

В чем заключается долг? Известное число людей переменило свои отечества, карта земли приняла другие очертания, но отцы и матери остались без опоры, и когда-нибудь, горестные и голодные, они откроют вечером газ или зажгут жаровню, чтобы заснуть, наконец, последним сном.

Что такое, после всего этого, долг?.. Не красивый ли это обман, который выдумала душа, чтобы повести тело туда, куда оно не хочет итти?

А как быть с другим — священным — долгом воспитывать малюток или поддерживать стариков? Кто будет его исполнять вместо тех, кого уже нет?

Никто не ответит на этот вопрос... Никто не скажет, когда сердце право: тогда ли, когда оно увлекается или тогда, когда замыкается в тесном кругу?

Разве пограничный столб, расширяя пределы победившей страны, может осушить слезы хоть одной матери? Что сказал бы ей в утешение мертвец в каске, если бы он неожиданно вошел в барак?

Все молчали... Дождевые тучи, гонимые сильным ветром, перестали поливать землю, и стоны бури заглушили плач старухи.

VIII.

Жак смотрел на свой дом. Стены его доходили уже до первого [1]) этажа, и ясно обрисовывался весь фасад с его пробитым отдушинами фундаментом, двумя окнами и крыльцом. Все жители Кресси сразу же узнали особняк Андрэ Дельбо.

— Это как будто срисовано, — заметил Этьен, стоя посреди своего сада и опираясь на свои две палки.

Сделав несколько шагов вперед, он указал парижанину на маленькие сенцы, через которые был проход в столовую, и сказал:

— Посмотрите: вот здесь он по всскресеньям пил кофе.

Все в Кресси спрашивали себя, почему архитектор восстановил дом точь-в-точь таким, каким он был до войны, вместо того, чтобы выстроить себе получше. Только жена Вору нашла, как ей казалось, подходящее объяснение.

— Этот жулик экономит, а потом столкуется с подрядчиком и, представив фальшивые счета, остаток положит себе в карман. И все будет шито-крыто.

[1]) У французов второй этаж называется первым, а первый—rez-de-chaussée. *(Прим. ред.)*

Жак, впрочем, и сам не понимал, что побудило его отстроить жилище покойного. Прислонившись к своему бараку, он молча смотрел на дом, а рабочие, думая, что за ними наблюдают, усердно работали, мешая своими лопатками известь и жидкую глину.

„*Он* проходил по той аллее, — думал Жак. — *Он* подымался на пять ступенек... *Он*, должно быть, обло качивался о перила".

Мысль Ле-Водуайе работала в этом направлении так усиленно, что ему даже начал мерещиться прозрачный силуэт Андрэ на маленькой террасе, такой тесной, что на ней места хватало как раз для двоих, если они тесно прижимались друг к другу... И Жак видел, как Елена склоняла свою красивую, темноволосую голову к мужу, который был в синей полинявшей шинели, как тот мертвец с детским лицом в Вовени. Как ни старался архитектор, он не мог представить себе Дельбо другим.

Когда Жак просыпался по утрам, и голова у него была свежая и способная к работе, эта навязчивая идея не беспокоила его.

— Я хорошо сделал, — говорил он, глядя на свою постройку.

Жаку казалось, что он поступил благородно, возродив в прежнем виде очаг убитого солдата. Но, когда он возвращался вечером домой, разбитый и дрожа от лихорадки, все представлялось ему по-другому, и он с тревогой смотрел на зиявшие, как мертвые впадины, окна своего сооружения.

В нем спал рабочий-кабил, и каждый вечер, после обеда, слышно было, как он пел. То была бесконечная и протяжная, из нескольких нот, мелодия, какие обычно импровизируют кочевники, с хриплым выкриком вместо припева. Скорее долгая жалоба, чем песня... Жак слушал ее, весь дрожа и натянув одеяло до подбородка.

Чего хотел от него этот гортанный голос, каждый вечер стонавший в его доме? Еще не успели возвести стены, по которым стали узнавать особняк покойного, как начались эти иеремиады... В этом было что-то неестественное?.. Кто это был? Кто?

Архитектор избегал ответа на эти вопросы, отталкивая в самую глубь своего существа охватывавший его нелепый страх; но сердце его колотилось, не переставая; он слушал, с мокрыми висками, скорбную песню, не понимая ее, и только когда бербер, завернувшись в свои лохмотья, начинал храпеть у угасшего огня, Жаку удавалось уснуть.

Утром, при пробуждении, когда золотистый свет пробивался под дверью, молодой человек не мог понять свои ночные страхи, но вечером, когда мрак оставлял его наедине с его думами, его снова охватывала боязнь.

Впрочем, не только это одно делало его нервным: в этом были еще виноваты его плохое здоровье и переутомление работой, его ежедневные споры с мэром и, особенно, мысль о том, что скоро вернется Елена и придется ей объяснить его встречу с матерью Андрэ. Он, конечно, мог ничего не сказать ей, но боялся, что она узнает от других, а это было бы еще хуже, не говоря уже о том, что такая ложь была ему противна.

В субботу, рассказывая об этом Елене и хорошо зная ее характер, он не только не оправдывался перед нею за свою поездку в Вовени, а принял, напротив, решительный и почти сердитый тон, желая подчеркнуть, что он выполнил этим тяжелый долг и сделал очень неприятное дело, жаловаться на которое мог только он один.

— Я, понимаешь ли, не имел права поступить иначе... Павший в бою солдат... мать без всякой поддержки... А к тому же, он был твоим мужем...

На этот раз Елена поняла, что с ее стороны было бы неприлично сердиться; она не перебивала мужа, но не

могла удержаться, чтобы не пожать плечами, когда он с состраданием говорил о старухе Дельбо.

Быть может, ей показалось, что она уловила упрек в глазах Жака, потому что, желая как бы обелить свое поведение, она быстро сказала:

— Бедный Андрэ! Если бы он знал, сколько все это причинит мне неприятностей!..

Больше она не заговаривала на эту тему ни в этот день, ни на следующий, который они провели вместе в своем неоконченном доме, рассуждая уже о том, как они в нем устроятся. Елена выказала себя даже внимательнее, чем в другие воскресенья: ее, казалось, обеспокоил припадок лихорадки, случившийся к вечеру с Жаком, и она вдруг сказала ему, словно продолжая нить своих мыслей:

— Да, это правда: в сущности, у тебя доброе сердце.

Несмотря на эту неожиданную приветливость жены, Ле-Водуайе не чувствовал себя счастливым. Он смотрел на нее и не узнавал своей прежней Елены, той нежной и веселой женщины, которая существовала, может быть, только в его воображении. Минутами он находил у нее жесткое выражение лица, и представлял себе, какие у нее должны были быть вид и голос, когда она прогнала мать Андрэ. Сидя возле жены на скверном диване, сооруженном из пустых ящиков и автомобильных подушек, он позволил ей положить его голову к ней под мышку, и, пока Елена машинально ласкала его щеку, он вспоминал дни, которые они проводили в Сент-Оноре-ле-Бен, когда он выздоравливал и она баловала его. Как все это было далеко!.. Ему казалось, что он недостаточно насладился былым блаженством, и, вновь переживая его, он испытывал грустное удовлетворение.

Вечером он отвез жену в Суассон, и так как времени до поезда было еще много, то они вошли в маленькое кафе, неподалеку от вокзала. Перед прилавком

галдели солдаты, и это напомнило архитектору те шумные кабачки, в которых, во время войны, кишели отпускные.

Супруги уселись в укромном уголку за стол, друг против друга. Керосиновая лампа, поставленная между ними, как бы обнажила лицо Елены, и Жак смотрел на нее со смешанным чувством любви и гнева. Да, она была красива... За это он и любил ее, только за это... Он все еще хранил где-то на дне своего сердца то удивление, которое он испытал, когда она впервые появилась перед ним, сидя на пуфе, спиною к огню и играя кончиками пальцев двумя шерстяными аграмантами своего платья... И его охватило раздражение при мысли о неукротимой любви к ней, которая жила в нем как бы против его воли.

Посетители кафе исподтишка поглядывали на Елену. О чем говорило им это лицо Федры, этот страстный рот и большие, с синевой под ними, глаза, которые приписывают пылким женщинам? Но Жак хорошо знал, что эти черты лгали и что за их маской не было ничего.

И вдруг он вспомнил маленькую учительницу из Кресси с ее невзрачным лицом и кротким взглядом. Ее черты тоже не отражали ее души. Судьба, значит, раздает людям лица и души, не думая о том, чтобы они подходили одно к другому?..

Елена рассеянно смотрела вокруг себя, не находя, что сказать. Она ожидала минуты, когда надо будет сесть в вагон.

— Значит, тебе совсем нетрудно покинуть меня? Он спросил это так неожиданно, что она вздрогнула.

— Ты испугал меня, — сердито произнесла она. Потом прибавила спокойным тоном:

— Ты, ведь, знаешь, что мужья и жены расстаются так почти каждое воскресенье... В этом нет ничего трагического.

— Особенно для тебя.

— Что ты хочешь сказать? — сухо спросила она.— Уж не должна ли я, по-твоему, плакать из-за того, что мы не увидимся шесть дней.

Жак почувствовал, что был неправ, но в нем все еще таилось чувство злости.

— Знаю, — тихо проговорил он, — ты не очень-то чувствительна. Этим ты не грешна.

Елена нахмурила брови. Когда на нее находили порывы гнева, щеки ее как-то стягивались, их золотистая кожа делалась внезапно смуглой, и она мгновенно становилась совсем другой женщиной, с жесткими, почти мужскими чертами лица.

— Если я недостаточно чувствительна, то в тебе этой материи слишком много, — возразила она.—Я начинаю верить, что у тебя действительно расстроены нервы, иначе у тебя не было бы таких выходок. Если ты вызываешь меня из Парижа только для того, чтобы говорить мне подобные вещи, то лучше пиши мне каждый раз, когда захочешь меня видеть...

Она нисколько не старалась понизить голос, и Жак, смущенный, боялся, как бы их не услышали. Сидевшие за столиками действительно повернулись в их сторону.

— Пойдем, — сказал он, вставая. — Скоро поезд.

Когда они вышли, он хотел взять ее под руку, но она резко отодвинулась от него.

Идя рядом с Еленой по темной площади, Ле-Водуайе думал об Андрэ, когда жена в последний раз провожала его на вокзал. Взяла ли она под руку? Наверно, нет.

„С солдатом под руку, это как-то неудобно“, — часто слышал он от нее.

Она, вероятно, провожала его только до платформы: ей уже так наскучили все эти объятия и „до-свиданья“, которым, казалось, не будет конца.

„Он сделал ей знак рукою... прощай!.. словно знал, что больше не вернется", — мелькало в уме молодого человека.

Как быстро изгладился из ее прекрасных глаз образ прощавшегося с ней солдата!

Теперь настала его, Жака, очередь покинуть ее на вокзальной платформе: они сейчас расстанутся, ни слова не сказав друг другу... Он останется один... О, если бы этот проклятый кабил спал, когда он вернется!..

Еще неделю придется ему провести одному в своем бараке, со своими скверными снами, работой и скукой... Может быть, Елена не скоро еще приедет? При этой мысли им овладело такое отчаяние, что он, не размышляя, схватил умоляющим жестом жену за руку.

— Ты будешь в субботу, милая? Ты клянешься мне в этом?

С минуту она не поддавалась, но потом пообещала, дав ему, впрочем, понять, что она сидит по горло в делах.

— Что это с тобой вдруг приключилось? — спросила она. — Мы так мило провели день.

— Да, знаю, я виноват, но я страшно нервен.

Больше Жак ничего не мог сказать. Он грустно ее поцеловал, усадил в переполненное пассажирами купэ, полное табачного дыма, и, оставшись один, следил за тем, как таял в дождливой ночи красный фонарь поезда. Уже совсем далеко машина испустила долгий, пронзительный крик... Все кончено... Ничего больше...

Жаку вдруг показалось, что в груди у него билось истерзанное сердце Андрэ, и его охватил такой ужас, что он почти бегом устремился с темной платформы на площадь.

* * *

Существовало ли во всем мире более привлекательное место, чем эта страна приключений, чем этот освобо-

жденный от неприятеля и почти сравненный с землей край, где человеческая энергия вызывала к жизни из мусора и пепла богатые жатвы и многолюдные города?.. Ни одно усилие не оставалось здесь бесплодным, не было ни одной работы, которая не приносила бы своих плодов. Люди боролись и трудились, но зато у них на глазах ширились поля, вновь населялись деревни, а попорченные материалы принимали под инструментами требуемую форму.

В десяти департаментах бывшего фронта выполнялось грандиозное дело, о котором остальная часть государства ничего, казалось, не знала.

Жак, уезжая в Париж, всегда ожидал, что услышит:

— У вас там, конечно, ничего не делают!

А между тем, как все эти хулители восхищались бы этим чудом, если бы оно происходило где-нибудь в ином месте, а не у них на родине!

Французам до-военного времени, в течение всей их молодости, уши прожужжали историями о том, как в Америке, словно по волшебству, вырастали сказочные города, построенные в несколько месяцев в саванах Уты или Колорадо. А что, собственно говоря, было чудесного в этих сосновых столицах, с их пахнувшими смолой зданиями, с их тысячами баров, контор и кабаков, которые пожар мог пожрать в одну ночь?

Во Франции, несмотря на то, что там надо было отстроить семьсот тысяч домов и перекопать три с половиной миллиона гектаров земли, уже через год после последнего пушечного выстрела, среди уничтоженных селений дымились фабричные трубы, действовали каменоломни Суассонского кряжа и зеленели поля там, где еще лежали убитые солдаты.

Разве пионеры Нового Света были мужественнее нас?

Люди уходили за тридевять земель искать приключений, которые, оказывается, были здесь, под рукою, в ста

верстах от Парижа, со всеми их неожиданностями, опасностями и счастливыми случайностями... Все племена копошились в этих джунглях развалин, и, пройдясь по деревушке, можно было вообразить себе, что совершаешь кругосветное путешествие. В одном месте пиемонтцы играли, ругаясь, в морра [1]), в другом — дрались бедуины, еще дальше — бесцельно бродили китайцы, пели хором русские, шатались без дела испанцы, куря папиросы и хрустя луком на зубах, а среди всей этой толпы мелькали, с их шляпами ковбоев, американцы из У. М. С. А., придавая всему характер кинематографической картины.

Незачем было искать приключений в портах Тихого океана: они были здесь, в угрюмых равнинах Шампани, в развороченных лощинах Вердена, где ходили еще по костям и оружию; они были на Бетюнской дороге, где росли, как грибы, деревни, пробиваясь из груд листового железа и картона; они были на всей этой громадной золотоносной площади, куда со всех сторон света сбегались голодные золотоискатели.

Сколько раз Жак, взобравшись на холмы, которые тянутся за Эзи и Брэ, думал, что он находится на каком-то неизвестном материке! Ни малейшего признака цивилизации на этих меловых склонах! Ни дороги, ни дерева, ни хижины.

Вот след тропинки... Она вся изрыта воронками, но все же ее еще можно узнать по ее истоптанности: это Шемен-де-Дам. В течение пятидесяти месяцев из-за нее дрались и убивали друг друга, и весь мир со страхом следил за тем, кому удастся ее переступить. Да, вот она вся тут, эта легендарная дорога: через нее можно перескочить одним прыжком. А между тем, если бы выкопать братскую могилу от Мальмезона до Крана, то

[1]) Распространенная в Италии игра. *(Прим. перев.)*

ее пришлось бы сделать в десять раз шире, чтобы поместить всех мертвецов, заплативших за эту полоску земли своею жизнью. Их там триста тысяч, немцев и французов; их батальоны смешались там в последнем объятии, которого уже не разомкнешь; их там триста тысяч человек, над которыми, когда они были маленькими, в беспокойстве склонялись матери; их там триста тысяч молодых людей, лица которых ласкали юные руки!

Триста тысяч покойников — сколько это составит слез?

Все эти кресты, на которых уже не разобрать имен, все эти штыки, по рукоятку погруженные в землю, все эти курганы в ширину тела, — все это могилы. Ходишь по смерти, топчешь ее. Земля как бы перемешана там с трупами.

Косогоры, от взорвавшихся снарядов, все покрыты ямами, словно следами исполинских животных. Видны только осыпавшиеся пещеры, исковерканное железо и странные, перепутавшиеся и ржавеющие под дождем лианы проволоки.

Затем выходишь на Ланскую дорогу, окаймленную кладбищами и траншеями, пробираешься вдоль дьявольского Бютского леса, чьи истерзанные гранатами деревья доходят лишь до колен, идешь дальше мимо испуганной Мьетты, напрасно разыскивающей в камышах свое исчезнувшее русло, и вдруг около четырех полусгнивших и покривившихся лачуг видишь громадную надпись:

Не забывайте живущих в пустыне людей!
Оставляйте им, пожалуйста, газеты!

Невольно вздрагиваешь и оглядываешься! Это — летучий поселок гробокопателей. Их там человек пятнадцать. Они работают вдали от людей, ничего не зная о событиях, потрясающих мир, питаясь консервами и умываясь в ручье. Зимою перед их хижинами собира-

ются кучками кабаны. А совсем близко оттуда, всего в двух часах езды на автомобиле, — Париж: сверкающая огнями и вечно праздничная столица...

Нет! Даже и в том случае, если бы его не удерживало в Кресси данное матери покойного обещание, Жак не решился бы уехать из разоренных областей. Он пустил здесь корни.

А между тем, дело его было далеко не из легких. Кооператив, руководимый мэром, влачил лишь призрачное существование; подрядчик делал, что хотел, и молодому человеку приходилось вести с обеими сторонами беспрерывную борьбу, причем Ганье и Аморетти — особенно первый — сходились на том, что архитектор слишком важничал. Мэр был такого мнения не потому, что был бесчестен, — но он не любил контроля Ле-Водуайе над своими действиями. Он отлично видел, что Жак отгадал его военную хитрость: пройти одним из первых перед кантональной комиссией, провести, при содействии своего зятя-эксперта, свою оценку в триста тысяч франков по курсу 1914 года, что составило бы, по теперешнему, более полутора миллионов, отстроить затем только главное, а с остальным подождать, пока оплата строительных работ не понизится вдвое.

— Полтора миллиона... сколько это составит камней? — спрашивал иногда с насмешливым видом мэр у бывшего землемера Нуазе, который, крадучись, измерял по вечерам своей тростью стены, чтобы обличить кого только было можно в неверных показаниях.

— Хватит, чтобы выстроить вам великолепный замок, господин Ганье, — лицемерно отвечал старый маньяк.

Но в воскресенье, в „Морском кафе", где землемер выпивал перед обедом рюмочку, он отыгрывался. Он вынимал свою, испещренную цифрами, записную книжку, и тогда посетители, по большей части мелкие потерпевшие, не жалели о деньгах, потраченных на его угощение.

— Знаете ли вы, во сколько было застраховано перед войной имущество вашего почтенного президента? В сто двадцать тысяч франков, считая в том числе и урожай... Если бы в июле 1914 года все у него сгорело, то он получил бы только такую сумму, ни одного сантима больше... К счастью, случилась война, и, благодаря своим махинациям, он теперь — богатейший фермер всего кантона. И это еще не все... Ему еще выдадут по тысяче восемьсот франков с гектара так называемого физического и химического вознаграждения да три тысячи франков для возобновления живого и мертвого инвентаря. Все, вместе взятое, составит кругленький миллиончик... Какого вы на этот счет мнения?

Другим земледельцам, которые должны были получить гораздо меньше, это, конечно, не нравилось, но, как люди практичные, они отвечали:

— Лишь бы для всех хватило!..

Молодой архитектор не питал большого уважения к Ганье, но он ежедневно сталкивался с таким множеством плутов, что почти не возмущался корыстолюбием мэра.

Спекуляция с развалинами происходила среди бела дня. Сотни вышедших из тюрьмы маклеров и бессовестных дельцов ожидали богатства от разоренных областей. Все они с одинаковым рвением доили эту уже досуха выдоенную корову.

Правительство могло издавать сколько угодно декретов и постановлений, — люди, спекулировавшие на возмещении убытков, сейчас же находили средство обращать закон в свою пользу. Так, чтобы помешать эксплоатации потерпевших, было объявлено, что переуступки прав на вознаграждение за понесенные во время войны потери должны совершаться только в гражданском суде. Но покупатели, чтобы избежать этого контроля, принялись тотчас же основывать так называемые анонимные обще-

ства, в которых несколько пострадавших объединяли свои претензии, чтобы употребить их сообща на постройку фабрики или доходного дома: так как речь шла, в таком случае, уже не о продаже, а об ассоциации, то суда это не касалось. В действительности же общества не существовало: у потерпевшего покупали за смехотворную цену его документы, и хитрому дельцу, становившемуся единоличным хозяином дела, оставалось только просить у государства авансов, которые ему нужны были для постройки фабрики.

Люди, промышлявшие приобретением уничтоженных недвижимостей, даже не прятались. На всех стенах мелькали их объявления: *Покупка убытков военного времени*. Сделки такого рода обсуждались повсюду, даже в винных погребках, и так как можно было возводить новые сооружения в районе до пятидесяти километров в окружности, то и в Суассоне и в Лане — как и в Аррасе, Реймсе, Дюнкирхене и Вердене — возникали сахарные заводы, ткацкие фабрики и роскошные виллы, сооруженные за счет тысячи сгоревших лачуг, которые никогда уже не будут отстроены.

На сто тысяч франков убытков, купленных в удобный момент по курсу 14-го года и выплаченных потерпевшему только в половинном размере, строили гостиницу или фабрику в полмиллиона.

Старик Жоссе, толстый и разбитый параличом человек, который никогда не показывался, а управлял своими делами издалека, находя, что его сын ни на что больше не годен, как на передачу его распоряжений, не упустил этого случая, чтобы еще больше обогатиться. Он велел расчистить свою фабрику в Кресси, на которой до войны работало человек сто; затем, получив аванс из Управления по Восстановлению Промышленности, он прекратил все работы, оставив на постройке, в качестве статистов, трех или четырех чернорабочих, а на миллион

двести тысяч франков приобрел облигаций Национальной Обороны, приносивших ему семьдесят две тысячи годового дохода.

Старый промышленник не торопился отстраивать свою фабрику: он знал, что в тот момент он не нашел бы людей за то жалованье, которое он хотел платить. Ему был расчет подождать, пока восстановление разоренных областей подойдет к концу, а его прежние рабочие очутятся без дела и не смогут выбирать: тогда он их наймет по десяти франков в день.

Молодой Жоссе, встретив как-то Елену в кафе, объяснил ей эту двойную комбинацию, и, может быть, не столько вследствие этой аферы, сколько из-за раздражившей его встречи его жены с сыном плута, Жак возненавидел обоих промышленников.

Сначала ему было досадно, что постройка их второй фабрики откладывалась на целые годы: он терял, таким образом, самый крупный заработок. Но так как, благодаря этому, у него оставалось много досуга, который он мог посвящать кооперативу, то он не особенно огорчался.

Скоро восстановление разоренных областей вышло из полосы возможностей и обещаний: принялись всерьез чинить, строить, и казалось, что на этот раз все будет доведено до благополучного конца.

Потерпевшие являлись поочереди в кантональную комиссию для точного установления их убытков, живя, после того, в боязливом ожидании эксперта. Судьба их была в его руках: он мог одним взмахом своего синего карандаша сделать из каждого либо богача, либо бедняка. В самом деле, как бы странен и несправедлив ни был его доклад, комиссия, не споря, его утверждала, если дело шло, конечно, не о родственнике или друге, или, наоборот, не о противнике, претензии которого оценщик заранее решил урезать насколько можно.

В комиссии не кривили душой и не брали взяток,— но как можно было помешать ее председателю или экспертам оказывать покровительство тем, кто им нравился, и вредить другим? Удалившийся от дел хлебный торговец, которого упрекнули бы в пристрастии к родственникам, если бы он пропустил, не уменьшив его, бесстыдно раздутое требование своего племянника, даже не понял бы, в чем собственно его обвиняют.

Сначала брали в качестве экспертов — архитекторов и подрядчиков; но когда не хватило специалистов, стали приглашать адвокатов и бывших чиновников, людей без тени знания и думавших лишь о том, чтобы, не давая себе большого труда, зарабатывать свои ежедневные тридцать франков за заседание.

Они приезжали, никого не предупредив, на велосипеде или в одноколке, с десятком описей под мышкою, осматривали с быстротой молнии лачугу, сокращали, как попало, смету архитектора, и, когда потерпевший, предупрежденный соседом, прибегал, эксперт, оказывалось, уже уехал, увезя в своем портфеле тайну несчастного, который с той минуты проводил ночи в безумном страхе, спрашивая себя, получит ли он достаточно, чтобы построить себе образцовую ферму, или же столько, чтобы лишь сколотить свою разрушенную хижину.

Но после первых же решений комиссии все успокоились: она оценивала щедро, и это внушало надежду тем, кто ожидал своей очереди.

Тем не менее, старик Нуазе старался изо всех сил пугать народ, донимая потерпевших страшными предсказаниями; не было такого тревожного слуха, которого он не подхватил бы, а иногда даже и сам выдумывал для своего удовольствия; и когда он уходил от крестьян, они оставались подавленными, раскрывши рты, побагровев до ушей и чувствуя тяжесть в спине, словно на каждого из них навалили по доброму кулю зерна.

— Это не надолго, — хихикал Нуазе. — Правительство пересмотрит все постановления о возмещении убытков и отменит их наполовину.

Или уверял:

— Говорю вам, что по таким ценам можно будет заплатить только первым, а остальные не увидят ни одного су. Это ставка на ловкачей...

Глухая ненависть поднималась в сердцах пострадавших, и они косо посматривали на счастливцев или на догадливых людей, уже получивших свои документы. Старались выиграть очередь, интриговали, передавали шопотом разные слухи или просто сплетни:

— Постарайся, чтобы твое заявление поддержал Унтель... Ты пройдешь сейчас же, тебе ничего не сбавят, и это тебе обойдется недорого.

Лабаду считали, между прочим, человеком влиятельным, по причине его близкого знакомства с агентом префектуры, дочь которого брала у него уроки пения. И дела этого спекулянта процветали.

В одну из суббот Жюльен Беккер, провожая свою сестру, заметил в одном кафе в Суассоне тенора, сидевшего с несколькими фермерами за столом, уставленным бокалами с шампанским. Собутыльники настаивали, чтобы он спел, но Лабаду жеманно отказывался: теперь, мол, не то, что раньше... Но, в конце концов, его тщеславие „артиста“ одержало верх над его новоиспеченным достоинством, и он, растягивая звуки, спел им вполголоса романс из „Фаворитки“, который был его коньком, причем фермеры невпопад отбивали такт, покачивая головами.

На следующее утро, за завтраком, Жюльен Беккер все еще говорил об этом с желчью на устах.

— Да, жизнь поворачивается к ним своей хорошей стороной, к этим кутилам-потерпевшим, — ворчал он.

В прошлом году он утверждал, что страна никогда не выползет из развалин, что у нее не хватит сил,

а теперь возмущался, почему отстраиваются слишком быстро.

— Да и наконец, почему все это делается за наш счет? — спрашивал он. — Почему больше интересуются промышленниками из освобожденных областей, чем фабрикантами абсента или купцами, торгующими черным мрамором? Ведь и их война разорила.

Затем, истощив свои парадоксы, он повторял, как припев, теребя свою рыжую бородку:

— Мотовство! Мотовство!

Фермер из Маруваля, завтракавший в этот день у Ле-Водуайе, возразил, улыбаясь:

— Нужно мотать, господин Беккер... Когда я разбрасываю в своих полях центнеры азотнокислой соли и кости в порошке, по пятидесяти франков за мешок, я проматываю деньги, потому что собрал бы урожай и без этого. И все же я это делаю. Деньги — то же удобрение. Если бы их не тратили столько в разоренных областях, ничего не собрали бы. Возьмите, например, меня, — фермер не переставал слегка улыбаться: — если бы я не рассчитывал разбогатеть немного, устроившись в опустошенных департаментах, я не согласился бы спать в бараке, есть сухой хлеб, ломать себе голову над описями, а ноги — в воронках от снарядов; я не вырезал бы целый гектар колючей проволоки, не дрался бы с кабилами, а просто устроился бы в Провансе, чтобы наблюдать за сбором маслин или за поливкою помидоров. Вы не можете понять, почему это разрушенные дома будут отстроены более красивыми, чем они были до войны, а мне показалось бы странным противоположное...

Жюльен Беккер принял саркастический тон:

— Боши должны платить...

— Надеюсь, — продолжал спокойно фермер. — Будет, конечно, лучше, если заплатят они, чем мы. Потерпевшие довольствовались некогда своими лачугами; не надо было

их разрушать: они об этом не просили... Вы, однако, не захотели бы, из чувства справедливости и под предлогом, что разрушенный дом не был новым, чтобы его отстраивали из старых камней и гнилых балок? При восстановлении воспользуются, конечно, прогрессом, сделанным человеком за сто лет. Это и понятно и вполне естественно... То же самое было бы, например, если бы прилив разрушил Марсель или Гавр: вновь отстроенный город, в силу вещей, был бы современнее... И если все обитатели разоренных областей могут получить теперь не такие жалкие дома, чтобы скоротать в них остаток своих дней, то, право, это совсем не плохо: они заплатили за это несколькими годами страданий...

Жюльен Беккер сейчас же нашел обидное возражение:

— В таком случае, сознайтесь, что вы отнюдь не проигрываете на этом деле, и пусть потерпевшие не строят больше из себя жертв, пусть они отныне не требуют, чтобы мы восторгались ими.

Улыбка Дидье Роже сразу исчезла с его лица, и он заметил своими маленькими голубыми глазами внезапно смутившийся взгляд своего оппонента.

— Чтобы мною восторгались... Ну, знаете, мне лично это никогда не нравилось, да и, кроме того, недавней бойни было достаточно, чтобы это с меня как рукой сняло. Демобилизация, поверьте мне, дала участвовавшим в войне хороший урок по части всяких мерзостей, и они воспользовались им. Успокойтесь: мы ни от кого не требуем благодарности. Когда людей заставляют восторгаться другими, они не прощают этого никогда.

Потом, почувствовав, что его слова вызвали за столом смущение, он прибавил, поднявшись с места:

— Я восторгаюсь всеми... И если вы купите у меня на корню урожай текущего года, я буду восторгаться

вами больше, чем кем-либо другим. У меня много палочной травы, дикой горчицы, великолепного чертополоха — и все это по очень выгодным ценам, а кроме того, есть еще заячья капуста, тоже обещающая прекрасно уродиться. Жаль только, что местами хлеб заглушает все это.

Фермер нисколько не преувеличивал: несмотря на повторную обработку и на обильное удобрение, на его полях росло больше сорной травы, чем полезных злаков. Сквозь редкий овес виднелась, покрытая мелом, почва, и всюду можно было проследить еще незажившие рубцы траншей. Половина Маруваля все еще не была возделана из-за ее густых зарослей колючей проволоки, ее воронок от снарядов, ее ходов сообщения в окопах, и все же этот опустошенный край понемногу оживал, и на затерявшихся могилах пуками цвели дикие желтые хризантемы.

Рабочие, пользуясь хорошей погодой, трудились, несмотря на воскресный день, и останавливались только на минуту, чтобы взглянуть на проходивших мимо них парижан.

Им платили от четырнадцати до семнадцати су за кубический метр, а подрядчик, заключавший договор на сотни гектаров, получал что-то вроде двадцати пяти; каждая сторона находила свой доход недостаточным и старалась его увеличить: хозяин, обмеривая рабочего, а тот, бросая в ямы кучи колючей проволоки и прикрывая ее лишь тонким слоем земли.

Рабочие, трудясь по пятнадцати часов в сутки, выгоняли свои тридцать пять франков, причем обязаны были приобретать инструменты на свой счет.

— Подите, они счастливее всех! — уверял Бузье.

С некоторого времени подрядчик все жаловался на дела и говорил о том, что бросит выравниванье почвы и расчистку. Прослышав, что на этом богатеют, окружные

землемеры, мелкие фермеры, уличные точильщики, приехавшие из Испании и Италии, устремились на торги, и там, где Бузье и ему подобные просили по шестисот франков с гектара, новые претенденты подряжались за триста, чтобы оставить торги за собой; таким образом в несколько месяцев цены уменьшились наполовину. В деле расчистки происходил тот же разгром: цены уменьшались по мере того, как росло количество подрядчиков; за щебень платили вместо десяти не более семи франков пятидесяти сантимов, остальное тоже понижалось соответственно этому, а кроме того, администрация требовала скидки в сорок процентов.

Подрядчики еще зарабатывали по этим ценам, но те, кто работал вначале, не довольствовались ими.

— Это дела не для Бузье, — заявил с презрением раздраженный миллионер, уходя с последних торгов.

С тех пор его больше не видали на его участках, опирающимся на свои журавлиные ноги, и землемеры его рассказывали, что он в Париже, где подготовляет новый удар.

У входа в шалаш висели лохмотья: там, на подстилке из листьев или на гнилой соломе спали рабочие. Иногда по ночам виднелся в полях свет; то были работники, которые, поставив фонарь на край ямы, еще работали, словно никак не могли закопать войну.

Теперь и пахари, и землекопы, и каменщики, все работали. То был словно потревоженный ногою прохожего муравейник, в котором копошатся тысячи занятых делом насекомых. Недавно молчаливая, огромная пустыня оживилась. Со стороны Эны слышался призыв поезда из Понтавера, на разбитой дороге скрипели тележки, на дворе почти каждой фермы слышалось пенье петухов, взгромоздившихся на кучу развалин, а колокол в Кресси, повешенный на колокольне из толстых досок, легким трезвоном призывал к вечерне.

Этот мирный шум приводил Жака в праздничное настроение. Он знал, что в этом возрождении есть и его доля участия.

Он хотел бы взять свою жену за руку, ощутить между пальцами ее кожу абрикосового цвета и усадить ее в тени пощаженных на этой изрытой дороге орешников. Оттуда не видать уже красной зоны и ее пустынной степи: там предстает взору долина Эны, окаймленная бордюром свежих полей. На склонах косогора есть, конечно, развалины, но они столько месяцев торчат перед глазами, что перестаешь их замечать.

Он взглянул на Елену. Она шла возле него, скучающая, покусывая василек, остававшийся у нее в зубах. В нескольких шагах за нею, опираясь на свою трость, следовал Жюльен, ворчавший, что его слишком далеко затащили. Жак чувствовал, что ни тот, ни другая не могли разделять его радость. Он внезапно понял, что находится среди двух чуждых ему людей.

И он вспомнил первое воскресенье, когда они поднялись в Марувaль, и он вновь увидел Елену, пальцем указывавшую ему леса, фермы, деревни, называя их по именам. И там, вдали, Лаффо...

Этого названия было достаточно, чтобы перевернуть всю его жизнь. С тех пор оно не выходило у него из головы: Лаффо... Это было как пятно, которое можешь тереть, тереть, но не выведешь.

Между Жаком и Еленой существовала, со времени их последней ссоры, некоторая натянутость отношений. Она знала, о чем он думал, взгляды их, встречаясь, говорили это друг другу, но больше они об этом не заговаривали.

Однако, в течение недели, Жаком иногда овладевало нечто вроде бешеной страсти: он желал бы все забыть, уничтожить прошлое; и тогда он посылал своей жене безумные письма, полные упреков и нежности, и, как только отправлял их, тотчас же сожалел, что написал.

— Я получила твое письмо, — говорила Елена в субботу. — Ну, и странный же ты бываешь порою!

И все... Что мог бы он ей ответить, если бы она вдруг в упор спросила его:

— Да в чем же ты, наконец, упрекаешь меня?

Знал ли он сам это? Поняла ли бы она, если бы он вдруг обнял ее и, разразившись рыданиями, прижал, как некогда, свою голову к ее теплой шее и признался бы ей во всем, что происходит в его измученном сердце?

Чтобы побороть свое уныние, он часто говорил себе:

— Мне не о чем тосковать. В общем, я счастлив...

Но разве можно быть счастливым, если в глубине души гнездится неясный упрек совести?

— Мне не в чем упрекнуть себя, я поступал всегда так, как следует,—повторял он самому себе.

А между тем, когда он вечером возвращался в свой барак, он не смел оглянуться назад, чувствуя у себя за спиной широко раскрытый глаз нового дома, в котором пел кабил.

Чтобы не думать обо всем этом, чтобы не мучить понапрасну свой ум, ему нужно было работать, как можно больше работать.

Когда в Марувале праздновали окончание первой постройки и в трактире все чокнулись после того, как кровельщик прикрепил к шпицу дома сосновую ветвь; когда в Суассоне торжественно открыли фабрику Жоссе; когда Жак предъявил планы мэрии муниципальному совету, и сам Ганье наговорил ему много лестного, — тогда он чувствовал себя на несколько дней свободным от забот и испытывал глубокую, здоровую радость.

Он верил в свою задачу, любил ее, но уже без несколько наивного опьянения первых дней. Он уже не допускал, как в первое время, что братский восторженный подъем восстановит развалины. Нет! Там не было места взаимопомощи, бескорыстию и доброжелательству.

Лавочник являлся с тем, чтобы потуже набить мошну, продавая как можно дороже; рабочий — чтобы, хотя и надорвавшись, побольше заработать; архитектор — чтобы получать крупные гонорары; крестьянин — чтобы отстроить свою хижину и засеять поле; но все приносили свою силу, свою выносливость, свою веру; они без отдыха работали, чтобы получить вознаграждение, они наживались на мире, как некогда, не ожидая славы, наживались на войне, и Жак, видя, как выравнивались развалины, восхищался человеком, который способен на столь великие подвиги, под влиянием лишь своих маленьких аппетитов.

IX.

— Теперь узнаю! — воскликнул Кревель. — Мы были там!..

И, протянув руку, он указал на траншею, совершенно такую же, как и другие, с двойной сетью колючей проволоки и кольев, расставленных как попало. Чтобы легче ориентироваться, он повернулся спиною к Невиллюна-Марживале, как будто он только что прибыл для смены на линию, и глаз его, блуждавший по обширному обвалу, искал предметов, по которым он мог бы опознать местность: дерева или холма, сохранившихся, несмотря на трехлетний промежуток, неприкосновенными в его памяти.

— Смотри-ка: „Дырявый овраг"... узнаешь?—с сильным волнением продолжал Кревель.—А там, должно быть, „Козье колено", другой конец которого занимали боши.

Но Каниве и его товарищ смотрели вокруг, ничего не понимая и не соображая.

— Нет, я ничего не узнаю, — сознался кривой.

— Мы, как раз, прибыли в Лаффо, чтобы пойти в атаку, а потом нас отозвали,—сказал другой кирасир. — А всетаки, мне кажется, что мы выступили именно отсюда.

И, стоя лицом к дороге на Пинон, он, в свою очередь, указал на ров с осыпавшимися стенками: место, откуда он двинулся на неприятеля...

Их было около тысячи человек. Скорчившись и тесно прижавшись друг к другу, они сидели в глубоком молчании и ждали сигнала, глядя на дымившийся скат, по которому им надо будет карабкаться...

Путники, склонившись над траншеей, старались вообразить себе их замиравшую от страха массу...

Сгорбленные спины, скатки через плечо, винтовки на готове... Еще минута — и они устремятся вперед... В тумане раннего утра уже должны трещать, в слепую, пулеметы... Люди уже почувствовали в себе ту смутную неодолимую силу, которая раскачивает тело и бросает человека, оглушенного и ничего не сознающего, на край сапы, навстречу всему...

Жаку, несмотря на усилия своего напряженного ума, не удавалось восстановить эту картину, этот простой, но трагический предсмертный миг, когда время словно замедляет свои шаги на огромных песочных часах... С тех пор брустверы поросли травой, вьюнки обмотались вокруг рогаток и, несмотря на хаос лежавшей перед ним бугристой почвы, несмотря на валявшиеся обломки оружия и на лохмотья, несмотря на кресты, молодому человеку не верилось, что все это действительно было.

Много тысяч живых и разумных существ, гордость целых наций, скопились на этом маленьком участке поля; два великих народа сорок лет готовили людей, ковали оружие, и все это для того, чтобы, в один прекрасный день, столкнуться у этого деревенского перекрестка, где некогда вращалась мельница. Как, в сущности, мизерна война!..

— Четыре часа сорок пять, — пробормотал Каниве, думая о страшном часе.

— Была такая чудная погода, помнишь? — сказал его спутник.

Стоя на откосе, Жак, у которого ветер шевелил волосы на голове, обозревал поле сражения, стараясь

ознакомиться с неприятельскими позициями и определить место расположения французских войск. Но все детали сливались у него в глазах: изгибы дороги, еле приметные глазу прикрытия, огромные ямы. Обернувшись к садовнику, архитектор спросил:

— Там была немецкая линия... „Соловьиная траншея?".

— Может быть, — скромно ответил Каниве. — Нам ничего этого не объясняли.

Товарищ его молчал. Он переводил взгляд с одного ощетинившегося колючей проволокой кургана на другой и искал, с бьющимся сердцем, путь, по которому он следовал тяжелым галопом вместе с другими, под оглушительный ураган снарядов. Память его не могла твердо установить ход событий. То ему казалось, что он все вспоминает, то все снова исчезало в потемках прошлого.

— Ну, конечно, — уверял его Кревель, лучше знавший сектор, — вам надо было, прежде всего, овладеть этим кряжом. А потом, на противоположном скате, — защитной траншеей.

Удивленный кирасир посмотрел по указанному направлению.

— Странно, — сказал он, наконец. — А мне помнится, что кряж этот был гораздо выше...

— Правда, — тотчас же согласился с ним Каниве, наивный смех которого перешел в квохтанье. — И я принял бы присягу, что там был форт из бетона.

Да, непреодолимый тогда кряж оказывался теперь маленьким откосом, а хижинка в уровень с почвой, пронизанная амбразурой, и была фортом. Но в памяти участников боя все это казалось таким огромным... Места сближались, холмы вросли в землю, и можно было сказать, что с течением времени даже горизонт и тот сузился.

Как в памяти детей садик представляется парком, а ручеек — рекою, так и солдаты сохраняют в своем мозгу искаженный и бесконечно преувеличенный образ вещей... Может быть, потому, что они видели все из своего окопа?

Когда они вспоминают, им снова представляются заполненные народом ходы сообщений, похожие на улицы, бесконечные траншеи и шалаши, где у каждого был свой угол, — а все это вместе, в действительности, не больше клочка земли, вскопанной вдоль дороги, от одного межевого столба до другого.

Кревель остановился у входа в прикрытие, куда между двумя стенками из круглых бревен отвесно спускалась лестница.

— И подумать только, что здесь, внутри, люди чувствовали себя счастливыми! — вздохнул он.

Оставив автомобиль Жака на краю дороги, путешественники углубились в пустошь. Приходилось подниматься, опускаться, перепрыгивать через траншеи, обходить воронки, отыскивать лазейки среди проволоки. Почва была усеяна обломками, и Каниве поминутно наклонялся, чтобы поднять гранату.

— Хочу посмотреть, годятся ли они еще, — говорил он, стирая рукавом ржавчину.

Кревель предусмотрительно удалялся и издалека кричал ему:

— Оставь!.. Вот увидишь, она взорвется у тебя под носом!

Жак шел впереди них, беседуя с другим кирасиром. То был лионец, воспользовавшийся каникулами, чтобы приехать взглянуть на пострадавшие от нашествия департаменты. Особенно хотелось ему видеть Лаффо, где он был ранен. Предоставив садовнику и парижанину препираться, они пересекли вдвоем поле и направились к замку Ламот, уже видневшемуся сквозь изувеченные деревья.

— Теперь узнаете? — спросил Жак.

Солдат покачал головою. Он казался взволнованным.

— Да... Видите этот окоп с выступающим бетонным капониром? Это защитная траншея. Когда мы прибыли сюда, в сети колючей проволоки ничего еще не было перерезано, все защищенные места были нетронуты, а у бошей не было ни одного убитого. Да! они хорошо приготовились!.. И из четырех привезенных нами танков до первой линии дошел только один, да там и застрял.

На минуту он остановился, чтобы лучше осмотреться. Так странно, так невероятно, что там, на этих буграх, в этих ямах ползали, задыхаясь, люди, что они яростно устремлялись на эти рвы, откуда в них плевались огнем пулеметы, что они видели, даже не обращая на это внимания, как падали их лучшие товарищи, что они сами могли, наконец, умереть, хрипеть часами, кричать, извиваться от муки... Нет, этому нельзя поверить!

Один вопрос терзал Жака, заполняя постепенно все его существо: „Андрэ Дельбо? Когда он был убит?“

Но какой-то стыд удерживал его. Кирасир, которого слепило солнце, прищурил глаза. Потом он вытянул руку:

— Вот посмотрите: после полудня, когда мы опять пошли в аттаку, мы выступили вон оттуда. Наша артиллерия взяла слишком близкий прицел и стреляла прямо по нас. Так как мы думали, что это были снаряды бошей, то бросились в траншею.

Он глубоко перевел дыхание. При мысли, что он мог умереть там вместе с другими, и что вместо, этого, он стоял живой и здоровый, на том же месте, где он тогда ползал на животе, им овладело чувство какой-то трагической радости.

— Нам повезло! — прибавил он. — Без Дельбо мы все остались бы там.

Жак вздрогнул.

— Андрэ Дельбо? Вы были с ним?

Кирасир, должно быть, подумал, что архитектор встречал некогда его прежнего сослуживца в Кресси.

— Да, верно: ведь, вы должны были знать его, — вздохнул он: — он был вашим земляком. Славный парень... Да, в тот самый день, когда мы лежали, спрятавшись в траншее, он один сообразил, что это стреляла наша артиллерия, взявшая короткий прицел; он увлек за собой быстрым маршем полувзвод, и мы домчались до дороги, куда снаряды не долетали. Без него нам была бы крышка. В саду замка боши продолжали защищаться, обстреливая нас из слухового окна. И опять Дельбо рискнул собою. Он вошел один в погреб, где хранились гранаты...

Жак не решался взглянуть на кирасира.

— И в этот момент он был убит? — спросил он, чувствуя, как судорожно сжалось его горло.

— Нет, только к концу дня... Бедняга!

Оба собеседника, пересекши дорогу, подошли к парку замка Ламот. Стена, служившая ему оградой, всюду была разворочена, а изломанная решетка валялась в траве. От великолепных некогда деревьев осталось лишь несколько стволов и ни одной ветви. Но кустарник, тем не менее, опять распустился, и в чаще его мелькали шиповник и цветы бузины, наполнявшие воздух сладким запахом. От замка не осталось никаких следов, кроме нескольких куч камней, около которых, верные своему старому жилищу, еще вились бородавник и плющ.

Жак присел на балку. Он попросил Кревеля, от которого не отставал Каниве, разыгрывавший из себя богача, поискать автомобиль и остался вдвоем с бывшим кирасиром.

Последний, урывками, описал ему свой боевой день.

Иногда он останавливался и с удивлением оглядывался вокруг: как это столько событий могло развер-

нуться в этом уголке сада!.. И ведь ничто не напоминает об этом: трава растет, птички поют...

— Так как поручик был убит у входа в защитную траншею, — продолжал он, — то командование взводом принял Андрэ Дельбо, и наши двинулись вперед с ручными гранатами наготове. Тогда немцы стали отступать шаг за шагом, и кирасиры снова окопались в парке.

„— Было очень жарко, и люди задыхались от жажды. Гранаты, подымая серые и зеленые облака, с корнем вырывали деревья, и не было даже возможности сообщаться с арьергардом, потому что пулеметы так и косили по скатам холма. Скоро стал ощущаться недостаток в снарядах. Дельбо, черный от пота, бегал от одного из нас к другому, разыскивая за развалинами и в ямах спрятавшихся там товарищей.

„— „Держись, ребята! — кричал он нам среди шума: — Наши идут на подкрепление!“

„— Он говорил им это, желая подбодрить их, но сам-то отлично понимал, что держаться дольше не было никакой возможности. Немцы, выходя целыми ротами из каменоломни, беспрерывно шли в контр-атаку. Наконец, солдат службы связи принес приказ отступить.

„— Как могли мы выйти оттуда, я и сейчас не перестаю себя спрашивать. Должно быть, одним прыжком, между двумя пулеметными шквалами, мы перескочили через дорогу...

„— И вот, в этой-то суматохе забыли трех раненых, которых положили позади стены. Когда кирасиры, под защитою какого-то кургана, перевели дух, они заметили этих трех умирающих, тащившихся вслед за ними. Один из них шел совершенно прямо, опираясь на винтовку, как на костыль; другой, с раздробленной челюстью, обеими руками держал свое лицо, а третий, раненый в живот, полз сзади на четвереньках, падая иногда наземь, когда руки под ним подламывались. Они при-

ближались к нам, и мы думали, что они уже спасены, как вдруг из парка выскочила кучка немцев и принялась стрелять.

„— Клянусь вам, — рассказывал оставшийся в живых кирасир, вертя в своих грубых пальцах цветок мака, — когда я увидел, как эти трое несчастных бросились наземь, а боши побежали к ним, меня за сердце взяло, и я отвернулся... В ту же секунду меня поразил в моем рву раздирающий крик. Весь потрясенный, я оглянулся: Андрэ Дельбо поднялся, взял свое автоматическое ружье и медленным шагом, откинувшись назад, чтобы натянуть погонный ремень, двинулся, стреляя, к парку. Скоро он подошел совсем близко к трем раненым и закричал им: „— Поскорее!.. Они не полезут вперед!" Не переставая стрелять, он сделал еще несколько шагов до самой дороги. Потом мы увидели, как он остановился, сделал полуоборот вокруг самого себя и упал навзничь.

Немного помолчав, кирасир прибавил, обрывая лепестки своего красного цветка:

— Товарищи рассказывали, что он полежал только с минуту, после чего дошел до парка и перелез через стену... Другие говорили, что он был только ранен и что боши увели его или прикончили на месте. Верно лишь то, что он больше не вернулся.

Жак ни разу не перебил солдата. Опустив голову, он мысленно представил себе, как шел на смерть этот человек: решительным шагом, подняв высоко голову, спокойно целясь из ружья...

Конец был приблизительно такой, какой он и должен был предполагать. И это для того, чтобы спасти трех раненых... Но Дельбо не умер, хотя он и исчез, ушел из этого мира... Нет, те, которые остаются там, на полях сражений, не умирают, как остальные. Долгое время спустя вам приносят горсточку костей и говорят:

„Это — он"... Или вам показывают местечко на поле и говорят: „Вот здесь"...

С другими умирающими бывает не так: видишь, как они слабеют в своих кроватях, привыкаешь постепенно к мысли потерять их, знаешь, что они покоятся под тем или иным камнем; но солдаты... есть что-то таинственное в их смерти и, вместе с тем, что-то ужасное: долго ли они страдали?.. плакали ли, затерянные между двумя неприятельскими линиями, истекая кровью под открытым небом?..

Ведь в то 5 мая 1917 года в семье убитого, должно быть, смеялись, дети играли. Все проснулись, довольные ярким солнцем. „Я чувствую, что сегодня получу письмо", — говорила его жена.

А в этот самый час все уже было кончено... Он упал, заряжая винтовку, на колени, согнулся вдвое, склонился лицом к земле, как если бы простерся ниц перед смертью... Он хрипел в окопе, звал „ко мне!", застряв в проволочном заграждении...

Кирасир принялся опять рассказывать. Он говорил о страшной буре, разразившейся к вечеру. Те, которые остались в живых, провели ночь в грязи, беспрерывно обстреливаемые немцами; над ними летали германские аэропланы и сбрасывали бомбы. Потом эскадроны, понеся большие потери, спустились на Мобежскую дорогу.

— В эту минуту меня хватило шрапнелью в плечо.

Но Жак больше не слушал. Какое ему дело до остального!.. Он повторял самому себе:

— Пятого мая семнадцатого года... Пятого мая семнадцатого года...

Роясь в своей памяти и сопоставляя даты, он старался вспомнить, был ли он в тот день с Еленой.

— Я уехал из Парижа, чтобы вернуться на пункт, пятнадцатого мая. А поссорились мы с нею дней за двенадцать до этого. А не было ли это за две недели?

Несмотря на все усилия, он не мог точно установить интересовавший его момент, и страшное сомнение продолжало точить его мозг... Проснулся ли он возле нее? Четыре часа сорок пять?.. Серая ночь уходила, в сумраке зарождавшегося дня бледнели кровли. В этот час они еще спали, прижавшись друг к другу. А „он", должно быть, караулил у амбразуры, глубоко надвинув каску и готовый выскочить из окопа. Вечером они были, может быть, вместе? Не встретился ли он с нею в маленьком кафе на улице Камбона, где они часто назначали друг другу свидания? Они разговаривали, сидя перед дымящимися чашками и пожимая друг другу руки. А в этот именно час, как раз тогда, „он" вышел из своей дыры и пожертвовал своей молодой жизнью ради трех умиравших товарищей...

Это сопоставление так больно поразило Жака, что он схватился обеими руками за голову и прошептал:

— Ты это сделал!..

Ужас перед самим собою разрывал ему сердце. Но через несколько минут его волнение улеглось:

— Это не моя вина, я не знал его...

Жак уже не чувствовал угрызений совести: им овладела лишь бесконечная грусть. Ему хотелось быть уверенным в том, что Андрэ простил его, и, наполовину закрыв глаза, он насторожился, словно думая, что сможет уловить витавшую мысль покойного в лафосском ветре, который молчаливо дул с фронта, не находя больше дерева, чтобы шелестеть в его ветвях, ни облака дыма, чтобы его развеять. Жаку казалось, что дыхание этого ветра как будто холоднее на висках... Он бежал без отдыха от Мальмезона до Крана, обнюхивая входы в прикрытия, роясь в развалинах и пустынных траншеях, что-то нащупывая в казематах форта. Но там не было никого... Куда девались солдаты?

Почему не слышно дыхания спящих людей в глубине подземного хода, почему часовой не топает больше ногами по звонкой земле, почему утих шопот заглушенных голосов?

На всей этой опустошенной земле оставался только он один, немой свидетель: ветер боевых полей. Пятьдесят месяцев внимал он крикам, призывам и стонам... Каждый вечер, когда замолкали, расстреляв свои снаряды, пушки, он дозором пробегал между обоими рядами окопов. Он осушал последний пот на лбу умиравших, он уносил, неизвестно куда, жалобы и рыдания отходивших в вечность мальчиков, он один, наклонившись, улавливал их последнее слово... Утешится ли когда-нибудь этот печальный наперсник мертвых?

Жак, с бьющимся сердцем, слушал и думал. А ветер, постепенно перейдя в вихрь, умчался буйным шквалом...

— Каниве и его друг могли бы поторопиться, — сказал кирасир, глядя на потемневшее небо. — Будет, пожалуй, буря...

Тогда Жак, выйдя из своей задумчивости, поглядел солдату прямо в лицо и, не стесняясь, спросил:

— Дельбо никогда не говорил с вами о своей жене?

Тот тотчас же ответил:

— О, да, говорил!.. Она заставляла его много страдать. Это бессердечная женщина.

Запинаясь, Жак продолжал его расспрашивать:

— Она не обманывала его? Он ничего не знал?

— Нет, но предполагал... Она не отвечала на его письма. Иногда пришлет, бывало, пару слов, но никогда ни одного нежного... Она ему писала, что часто бывает у каких-то знакомых на Монмартре, где встречается с разными людьми. Тогда ему и стало приходить в голову...

Жак почувствовал, как глаза его наполнились слезами.

„Среди этих людей она встречала меня", — подумал он.

Он сидел совсем обессиленный, опустив руки.

— И все же он защищал ее, — продолжал кирасир. — Он говорил нам: „Она очень любила меня, но я сам виноват: не надо было уезжать". И потом его очень беспокоила судьба матери. „Если я не вернусь, — часто повторял он, — жена как-нибудь устроится. А вот старики..."

Зажав руки коленями, Жак пристально всматривался в печальный пейзаж, отразившийся в последнем взгляде Андрэ: обнаженные откосы, лес Водессона, Аллеман в развалинах, большой садок.

Всюду торчали кресты. В плодовых садах не было больше деревьев, не было больше хлеба на полях, но зато всюду — могилы, могилы... И Жак, мокрыми глазами, разыскивал, какое место избрал Андрэ, чтобы умереть, когда неизвестные руки бросили по ветру эти горсти людей, эти синие семена, которые никогда не прорастут...

Появление автомобиля, рожок которого призывал их на дорогу, заставило архитектора очнуться. Кревель и Каниве вернулись через Марживаль, причем парижанин держал пари, что он взберется на гору, не меняя скорости. После остановки у трактира они возвратились, не переставая о чем-то спорить. Садовник, склонный к апоплексии, с усилием держался прямо и, задыхаясь, поддерживал странное пререкание.

— Ты скажешь, что я упрямец, а я все-таки понять не могу, куда девались крысы? Ведь в траншеях ими было полным-полно, они пожирали решительно все в наших шалашах, и вдруг — ни одной! Это неестественно!.. Куда они девались?

Кревель и не думал выводить Каниве из его сомнения. Стоя позади Жака, он смотрел на скаты Лаффо,

полные для него воспоминаний. Где-то в стороне, в долине, жгли траву, и от этого образовалось движущееся облако, в котором терялись низкие силуэты кустарника.

— Надеть маски! — крикнул, дурачась, Кревель.

И действительно: можно было подумать, что издалека надвигалась газовая завеса, позади которой колебались ряды наступавших гренадеров. Снова война, вечно война...

Жак поднялся, но не спешил уходить, как это часто бывает в момент, когда покидаешь кладбище. Каниве, напротив, был очень весел. Воспоминания сделали его моложе.

— Ничего не значит, — сказал он, потирая руки, — мы прекрасно провели день.

После этой экскурсии, Жак, в течение нескольких дней, посетил одно за другим все кладбища в окрестностях Лаффо: Марживаль с его белыми крестами и крошечными венками, — такими, какие кладут на могилы детей; Мулэн, где трагические даты написаны на самой земле — воткнутыми в нее патронами; деревенский погост у часовни Ангела-Хранителя, посреди красной зоны, весь заваленный искромсанными стволами и зияющими ямами. Можно было безошибочно проследить за продвижением наших войск после каждого их наступления: каждый раз, несколько подальше, открывалось новое кладбище.

Часто молодой человек видел склонившихся над могилами родственников, как и он, кого-нибудь разыскивавших, — бедных людей, приезжавших с другого конца Франции, с провизией в корзинке и с бисерным венком в сетке. Он присутствовал при разрывании братских могил, в которых, под общим саваном из извести, почивали мертвецы. Но нигде он не находил и следа Андрэ Дельбо.

Тем не менее, он написал его матери, что не теряет надежды, и передал ей рассказ, выслушанный им в парке Ламот от товарища ее сына.

В субботу, ожидая Елену, он очень волновался, и, когда она вышла из вагона, он протянул ей холодные, как лед, руки.

Он знал, что сцена неминуема, и даже не пытался избежать ее. Как только они приехали домой, он все рассказал жене.

При первых же его словах у нее вырвался жест неудовольствия, и она пробормотала сквозь зубы:

— Ах!.. Опять!

Однако, забытые воспоминания, дожно быть, волновали ее, потому что она слушала его молча.

— Он был, кажется, очень грустен в последние месяцы, — рассказывал Жак. — Он жаловался, что не получал от тебя писем.

На этот раз Елена перебила его:

— Меня удивляет, что он жаловался; это не было в его характере.

— Наконец, он, повидимому, ревновал тебя.

Елена пристально взглянула на него.

— Ревновал? К кому же?

Жаком овладели злобные воспоминания.

— Разве я могу знать всех мужчин, с которыми ты встречалась! Я припоминаю этого долговязого дурака, покупателя-англичанина, который ежедневно являлся к тебе затянутый в мундир и в сапогах. Еще немного, и он въехал бы к тебе верхом на коне...

Елена потеряла терпение.

— Не думаешь ли ты, что цветы продают монахиням для раздачи бедным?

— Я ничего не думаю... Я случайно назвал его... Ты посещала и других мужчин, и муж твой знал об этом.

Во взгляде Елены мелькнул злой огонек.

— Это опять маменька насплетничала ему.

— Оставь, пожалуйста! Никогда эта бедная женщина не захотела бы причинить горе своему сыну. Она знала, что он и без того несчастлив.

При этих словах Елена рассердилась.

— Ну, да, ты, как всегда, берешь ее под свою защиту, но я-то знаю, в чем тут дело. Я ни в чем не могу себя упрекнуть, слышишь, ни в чем!

Жак неловко возразил:

— У тебя плохая память.

Молодая женщина, поняв мысль мужа, смущенно взглянула на него. Потом вспыхнула:

— Это уж слишком! Значит, ты меня упрекаешь в том, что я была твоей любовницей? Это верх низости... Но я не бегала за тобою. Если ты так щепетилен, не надо было ухаживать за мною.

— Не в этом дело, — защищался Жак.

— Прости, пожалуйста, именно в этом, — продолжала возмущенная Елена. — У меня был только один любовник — ты! Если у тебя явились угрызения совести, то немного поздновато.

— Мне не в чем раскаиваться... Я ничего не знал.

— Да перестань! — насмешливо воскликнула молодая женщина, поправляя дрожавшей рукою свои растрепавшиеся волосы. — Не думал же ты, что я девственница?

Она заговорила вульгарным тоном, какого он не знал за нею, тем тоном, который она пускала в ход, когда была ученицей и ссорилась в мастерской, не давая спуску главной мастерице.

— Если Андрэ и знал что-нибудь, то только о тебе...

— Неправда! — воскликнул Жак, словно ужаленный этим обвинением. — Это невозможно. Даже мать его думает, что я только позднее познакомился с тобою.

— Значит, она с тобой откровенничает? Ты встречаешься с нею? Да?

Никогда еще споры их не доходили до такой резкости.

Оба, побледнев, смотрели друг на друга, и был момент, когда молодая женщина сделала такой жест, что мужу ее показалось, будто она хочет надеть плащ и шляпу и уехать. Тогда он шагнул к ней.

— Елена! — произнес он сдавленным голосом.

Она сбоку посмотрела на него.

— Что еще?

Затем, бросив с яростью на пол свой ручной сак, она прошла, хлопнув за собою дверью, в соседнюю комнату.

Оставшись один, Жак успокоился и сам удивился этой мало разумной с его стороны сцене.

„Может быть, я и виноват", — сказал он себе.

Под выдуманным предлогом он пошел к жене, чтобы спросить ее о каком-то пустяке, и стал говорить с нею, как ни в чем не бывало. Она читала и отвечала ему, не подымая глаз.

За обедом они обменялись лишь несколькими словами, так как за ними следила прислуга. Они задыхались под железной крышею своего барака, которую с самого утра припекало солнце.

— Хочешь прогуляться немного?—спросил Жак, проглотив последний кусок.

Елена тотчас же согласилась, не желая оставаться с ним наедине из опасения новой ссоры. Она надеялась, что у них обоих во время прогулки, может быть, отдохнут напряженные нервы.

Было еще совсем светло, и все население Кресси находилось на улице.

Двери и окна были настежь раскрыты, и из бараков люди болтали с прохожими на шоссе.

Говорили только об одном: об отъезде китайцев. Раз десять супругам привелось услышать одну и ту же фразу:

— Значит, это правда: они уезжают...

Огромный и беспокойный лагерь должен был, наконец, исчезнуть, и это было большим облегчением для потерпевших. Одни только торговцы были в отчаянии. Да еще не одна девушка плакала втихомолку при мысли, что никогда не увидит больше своего возлюбленного с узкими глазами и черными зубами, делавшего ей такие хорошие подарки.

Желтолицые ходили из одной лавочки в другую, вежливо делая прощальные визиты и обещая писать. У Вору расставание носило трагический характер. Так рассказывал, по крайней мере, архитектору и его жене Кревель, стоя с разинутым от удовольствия ртом перед строящимся домом Жака.

— Ах, если бы вы видели Татус! — говорил он, размахивая длинными руками. — Слезы капали у нее, как воск со свечки!.. Подумайте только: ее бездельник возвращается в страну мусмэ. Сначала толстуху разлучили с ее бошем, а теперь у нее отбирают ее китайца. Нет больше любви, кончено!.. Счастье, что я здесь и охраняю своего приемного отца, а то она, чего доброго, развратила бы и его.

Когда Вору вышла из своего барака, причем ее шаровидное тело катилось, как колесо, Кревель указал на нее пальцем, потом обрисовал жестом округлость ее талии.

— Держу пари, что она испечет нам пряничек... Нет?.. Увидите!

Когда Жак и его жена вернулись домой, возбуждение их упало, но оставалось неприятное чувство, и они легли спать, почти не разговаривая. Жак хотел бы помириться, но его удерживал сердитый вид Елены.

Было так жарко, что он сбросил одеяло, оставив только одну простыню.

Широко раскрыв глаза и подложив руку под затылок, молодая женщина прислушивалась к ночным звукам и к голосам певших итальянцев. Жак смотрел на тело своей жены, обрисовывавшееся под полотном, на ее немного выпуклый живот, на длинные ноги, и вдыхал, уже взволнованный, отделявшийся от нее острый запах.

Им овладела странная, парализовавшая все его существо, слабость; сила оставалась только в его бурно колотившемся сердце.

Осторожным движением он прикоснулся к руке Елены. Она не отняла ее. С минуту он молча гладил ее пальцы, потом тихо поднялся вверх до ее круглого и гладкого плеча. Молодая женщина не шевелилась... Осмелев, он скользнул дальше, почувствовав под своей горячей ладонью твердую и свежую плоть, и вдруг всем своим возбужденным телом приблизился к ней и заключил ее в свои объятия.

— Я несчастен, моя дорогая! — шепнул он ей.

Наклонив голову, чтобы прижать его к своей щеке, она ответила вполголоса, как и он:

— И меня тоже делаешь несчастной.

Они замолчали. Каждый из них о чем-то размышлял... Жак уже забыл их ссору, свои страхи и мучения. Он ни о чем больше не думал. Он просто был счастлив тем, что находился около нее, что чувствовал ее и мог ею овладеть. Тяжело дыша, он обнял ее:

— Елена!

Готовая отдаться, она ответила слабым голосом:

— Андрэ!

Если бы железная рука схватила их, она не так быстро отшвырнула бы их друг от друга. Молодая женщина моментально отпрянула. Жак с сильно бьющимся сердцем, весь оледенев, откинулся в свой угол.

В полутьме, отдалившись от Елены, он смотрел на нее. Он весь трепетал от ужаса.

Она, должно быть, тоже была расстроена... Но нет! Она была только взбешена.

— Я обмолвилась, вот и все! — сердито сказала она, поворачиваясь к нему лицом. — Ты сам виноват: целый день только о нем и говорил.

Жак ничего не ответил. Он даже не сердился на нее. Он, действительно, поверил в пришедшее издалека предостережение.

Он натянул на них обоих одеяло, потому что теперь ему уже стало холодно. Долго лежал он на спине, скрестив руки на груди и не проронив ни слова. Он размышлял... Потом, как можно тише, он отодвинулся от Елены и улегся на самом краю кровати, словно желая оставить между ними узурпированное у мертвеца место.

На следующий день, когда Жак посадил свою жену в вагон, он почувствовал облегчение. При расставании они обменялись несколькими холодными словами и еле коснулись пальцами руки друг друга, когда поезд тронулся.

Молодой человек понимал теперь, какая произошла в его душе перемена с тех пор, как он узнал жизнь Андрэ.

Вначале, когда ему говорили о его предшественнике, он раздражался. Он чувствовал, что его жена и его дом, в глазах обитателей Кресси, всегда будут принадлежать покойному, и страдал от этого. В особенности был он настроен против Этьена, который, не думая ничего дурного, упорно называл его „новым мужем Елены Дельбо".

Но с тех пор его, Жака, успели хорошо узнать, он оказал многим услуги, он стал человеком известным в округе, и, по мере того, как росло его имя, все меньше

и меньше говорили об Андрэ. Теперь перемена совершилась вполне: Дельбо был забыт, оставался только Ле-Водуайе. Все был кончено: кирасир умер — и основательно.

Но это забвение, которого Жак желал, причиняло ему теперь душевную боль. Ему казалось слишком жестоким, чтобы уже стерлось воспоминание о мертвеце, чтобы уже утешились горевавшие о нем. Теперь, если бы он смел, он постоянно говорил бы об Андрэ, чтобы оживить память о нем, как оживляют собирающийся угаснуть огонь.

Теперь архитектор чувствовал себя хорошо в обществе Этьена, который еще вспоминал иногда о Дельбо и вздыхал, когда в кооперативе возникала ссора.

— Ах, если бы среди нас был такой человек, как Андрэ!

И даже добавлял, взглядывая на Ле-Водуайэ:

— Я уверен, что вы были бы с ним большими друзьями.

Старый рантье не помнил Андрэ угрюмым. Он сохранил о нем воспоминание, как о крепком, всегда веселом молодом человеке, уехавшем из Кресси босоногим мальчишкою и гордо вернувшемся туда, чтобы купить себе дом.

— Часто он говорил мне: „Родители мои будут жить на втором этаже, а для меня с женою хватит места внизу“. Но с вашей супругой нельзя было этого устроить. Она, ведь, бой-баба и умеет настоять на своем.

Сославшись на усиленную работу, которой потребовал от него царивший в предприятии Аморети беспорядок, Жак послал Елене только очень коротенькое письмо. Она, со своей стороны, тоже почти не писала ему под предлогом спешных заказов, хотя стоял так называемый мертвый сезон, и приехала только через две недели.

Эта разлука была им необходима, чтобы снова явилось желание встречаться и позабыть за это время все, что было сказано.

Молодой человек лгал, впрочем, только наполовину. Дела кооператива шли так плохо, что у него не было ни одной свободной минуты; целые дни приходилось ему проводить в Управлении Строительными Работами и в Лане, где он старался вывести подрядчика из тупика, в который тот угодил. Но Жак ничего не добился, несмотря на все свои усилия.

Однажды вечером Ганье срочно созвал общее собрание пайщиков и сообщил пораженным потерпевшим, что Аморети, не имея ни гроша в кармане и не зная даже чем уплатить за две недели рабочим, только что объявил себя несостоятельным.

— Вот до чего мы дошли! — закончил он с яростным видом свой доклад, словно вся ответственность за эту историю падала на пострадавших от войны.

Поднялся шум, перешедший скоро в настоящий содом. Потерпевшие кричали и размахивали руками; одни хотели подойти поближе к столу, чтобы узнать подробности; другие, взобравшись на скамьи, выспрашивали мэра; а над всей этой бурей возгласов, грохота топавших ног и треска опрокидываемой мебели стоял один только вопль:

— Вор! Вор!

Пострадавшим нужен был виновный, и они обрушились на подрячика.

Между тем, Аморети, действительно, разорился на этой авантюре. Целые месяцы расходовал он деньги для кооператива, платил рабочим, покупал материалы, получив от казны только первую выдачу в счет той пятой части, которую с июня месяца отпустили десятку потерпевших; но эти несколько сот тысяч франков не могли служить ему ни к чему, так как у него уже был

дефицит более чем в три миллиона. Поддерживаемый Жаком, он, конечно, пытался ускорить прохождение своих просьб об авансах и слал почти безумные ходатайства Сельскому Инженерному Управлению; но так как кооператив еще не был утвержден профектурою, а администрация не особенно ему доверяла, то просителям отвечали, что ни подрячик, ни правление общества не имели права требовать денег от лица пострадавших, и не прибавили ни франка к ранее выданным суммам.

Тогда Аморети, кинулся к банкам, выдавшим ему ссуду под восемь, потом под двенадцать и, наконец, под пятнадцать процентов. Но и там ему скоро отказали в авансах, после чего, чтобы уплатить в срок, он был вынужден обратиться к кредитному обществу, занимавшемуся пенкоснимательством в разоренных департаментах и потребовашему три процента в месяц. Этот удар его доконал.

Подрядчик, на долю которого падала вся тяжесть уплаты процентов и новые ссуды которого моментально расхватывались его ростовщиками, скоро совсем приуныл. Он прекратил работы сначала на одной постройке, затем на другой, отменил заказы, стал оттягивать платежи, а так как деньги все не получались, то, наконец, капитулировал.

Потерпевшие не знали, да и не желали знать этого. Аморети обещал отстроить им дома и должен был исполнить обещание!

— В тюрьму его! — вопили они.

Им надо было кого-нибудь обвинить в своей неудаче.

— Вор! Вор!

Когда они устали реветь и предлагать наперерыв различные решения вопроса, одно нелепее другого, потребовал слова Ганье. И сразу же все пайщики моментально обратили всю свою ярость против него. Подрядчика не было налицо: значит, мэр должен дать им отчет.

Люди засвистали и зашикали, мешая ему говорить. Нуазе, проведенный на собрание, хотя он и не был членом кооператива, кричал среди этого шума своим надтреснутым голосом.

— Они снюхались!

А Каниве, выпивший, вероятно, лишнее, грозил Ганье издалека кулаками.

Никто не пытался защитить мэра: те, кто был ему обязан, первые покинули его, а те, кто накануне умоляли его, теперь его ругали, довольные тем, что наконец-то развеялось прахом могущество этого богача, которому они всегда завидовали.

Стоя позади стола, Ганье, с налитыми кровью глазами и с дрожавшими от гнева губами, не мог вымолвить ни слова, но с минуту не уступал крикунам.

— Негодяи! — глухо восклицал он. — Я вытащил вас из ваших ям, а вы...

Но „негодяи“, не слыша его среди невероятного гвалта, хором кричали:

— В отставку! В отставку!

Мэр был близок к удару. Сделав еще попытку что-то сказать и видя, что это бесполезно, он схватил колокольчик и сразмаху разбил его о стол. После чего, нахлобучив себе на голову шляпу с большими полями, он покинул зал среди шиканья и воплей.

Когда он ушел, никто уже не слушал друг друга. Жак хотел, было, объяснить, что самое важное было удержать рабочих Аморети и что для этого надо было немедленно заплатить им, истратив хотя бы все наличные деньги; но его выступление привело лишь к тому, что потерпевшие стали орать во все горло:

— Пусть платит казна! У нас нет денег!

Наконец, после шумных и безрезультатных препирательств, пришлось закрыть собрание, не придя ни к какому решению.

Через несколько дней произошло то, что предвидел архитектор: партии землекопов и каменщиков рассеялись, тотчас же нанявшись в другие места, а Кресси опять погрузилось в маразм, все постройки приостановились, и дома, которые ремонтировались, оставались без крыш накануне новой зимы.

Работали только у одиночных потерпевших, а другие плакались и жаловались.

— Ах! Вору лучше сделал бы, если бы сломал себе ногу в тот день, когда он вступил в кооператив, — охала лавочница. — Только и было от всего этого, что несчастья да разные заботы... Посмотрите на Брен: там отстраиваются и без этих затей!

Муж ее тоже ворчал, засучивая рукава, словно собирался драться.

— Обвиняют пострадавших! Это позор! Как будто бы не довольно того, что у нас отобрали китайцев!

При этом напоминании толстуха каждый раз разражалась рыданиями. Но, несмотря на свою сентиментальность, она была, в то же время, весьма практична.

— И подумать только, что у нас на шее остается пятьдесят флаконов духов! — хныкала она, сморкаясь в передник. — Кому, скажите пожалуйста, продать их, раз китайцы уехали?

Еще раз потерпевшие увидели себя покинутыми, и теперь не одни только кооператоры приходили в отчаяние. Все те, кто в суматохе при возвращении на родину потеряли голову и заключили контракты с подозрительными подрядчиками и случайными архитекторами, наводнившими разоренные департаменты, все еще ждали первого удара заступом. А так как в договорах, по большей части, не обозначали срока выполнения работы, то приходилось затевать процессы, чтобы их расторгать.

Некоторые плуты пошли еще дальше: они положили в карман первую получку и исчезли, буквально ограбив

пострадавших от войны и лишив их всякой надежды вернуть свои деньги.

Архитекторы Строительного Управления, которые, с самого начала, повели глухую борьбу с кооперативами, решили, что настал благоприятный момент выйти в отставку и устроиться. В течение года они составили себе клиентуру, давая ход вне очереди некоторым заявлениям, и теперь, когда у их протеже были уже на руках документы и потерпевшие получили первую ссуду, эти ловкачи принялись их отстраивать, избавив и себя и их от забот о завтрашнем дне.

Среди всех этих бед, свалившихся на пострадавших от неприятельского нашествия, сборщик податей стал требовать с них налоги, словно для того, чтобы еще больше их раздражить. Целый дождь повесток хлынул вдруг на бараки и даже на погреба.

С десяток горячих голов возмутились, стали горланить в трактирах, требовали созыва собраний, писали депутатам; но в тот день, когда финансовый инспектор открыл во временном бараке возле церкви свою деятельность, потерпевшие стали в очередь, чтобы уплатить все, что с них причиталось,

Такая дисциплина, — он называл это фискальным патриотизмом — привела в восхищение Лабаду, который пел теперь гораздо меньше, но зато говорил гораздо больше.

— Какой пример! — восхищался он.

Он уже не носил бородку, а усы у него были подстрижены по-американски; он ораторствовал, где только мог, с чувством прославляя величие развалин, которые его кормили, и благородство потерпевших, карманы которых он опорожнял.

Он соглашался иногда на круговую чарочку в „Морском кафе“, или даже у Вору, когда обделывал хорошее дельце о возмещении убытков. И каждый раз, поды-

мая стакан, он провозглашал с проникновенным видом:

— За возрождение разоренного края!

И пострадавшие, вместо того чтобы сердиться, усердно с ними чокались, а он, уходя из трактира, повторял:

— Какой пример!.. Какой пример!..

X.

Каниве, если и утратил из-за неудач свою былую безмятежность, ничего все же не потерял из своей доверчивости, и продолжал, не удивляясь, подбирать и распространять самые нелепые слухи, находя каждый раз повод для негодования против общественного строя, в котором все шло шиворот навыворот.

Однажды утром, придя к Жаку, который был занят черчением, он, ни с того ни с сего, ему сказал:

— Вы знаете последнюю новость?

Архитектор, заинтересованный, взглянул на него.

— Нет...

— Ну, так вот! Бузье возвращается. Он нашел себе новое дело. Он откупил всех покойников на Шеменде-Даме.

И, упершись кулаком в бедро, он добавил с воинственным видом:

— Подумайте только, какая мерзость!..

Удивленный архитектор положил свой карандаш.

— Да что вы такое болтаете, Каниве? Ведь, в том, что вы говорите, нет ни малейшего смысла... Нельзя продавать трупы... И потом, что он с ними будет делать? Подумайте-ка немного.

Но эти возражения не смутили садовника.

— Мне это сказал верный человек, — настаивал он: — мой бывший старшой на постройке, которого Бузье снова взял к себе. Так что, видите...

Жак взглянул на кривого, у которого никогда еще не было более искреннего вида, и сделал уклончивый жест.

— В таком случае, я ничего не понимаю...

Несколько дней спустя все объяснилось. То, что сказал Каниве, было не совсем глупостью. Бузье трупов не купил, но выговорил себе целый участок, чтобы заняться устройством маленьких кладбищ и отдельных могил на бывшем боевом секторе.

Однажды утром обитатели Кресси увидели, как в городок прибыли большие, с парусиновыми верхами, грузовики; впереди них несли знамя, а группа землекопов сидела на гробах. Вслед затем началась работа. Начальник команды, имевший на отвороте своего поношенного пиджака красную ленту, показал Жаку, пришедшему, чтобы узнать, в чем дело, большое поле, подымавшееся по отлогому склону к „дороге виноградарей".

— Кладбище протянется вон туда. Французы будут лежать вдоль всей дороги, а немцы — в конце.

Это было одно из тех больших полей, где, в дни войны, выстраивались полки перед отправлением на передовые позиции. Сколько на этот раз встретится там полков? „Раздача крестов?" Последних?..

Бузье все-таки нагрел руки и на этом предприятии.

— Мне сказали, что на моем участке будет двадцать тысяч мертвецов, — заявил он своему заведующему работами, — но я думаю, что их окажется гораздо больше.

Зная по опыту, со времени катастрофического падения цен в период расчистки, к чему ведет конкуренция, он хотел добиться соглашения со всеми подрядчиками по откапыванию убитых.

— Зачем вредить друг другу? — добродушным тоном спрашивал он их. — Не много наживешь, поедая один

другого: лучше сговориться между собою, — на всех хватит.

Заведующий работами, который передавал Жаку эти речи, не знал, слышал ли уже архитектор торговые сентенции его хозяина, но в первый раз подряд сдали с торгов по невероятно высоким ценам, до семидесяти трех франков за тело, что давало предпринимателям почти пятьдесят франков прибыли на каждой могиле. Они поделили между собою поля сражений, большие города и тыловые госпиталя.

— Я подрядился на участок только около Вердена, но очень хотел бы, чтобы мне уступили всю Жиронду: я оттуда родом.

К несчастью, сейчас же нашлись предатели. Так, где-то на Сомме, несколько подрядчиков сговорились между собою, чтобы взять на круг по шестьдесят пять франков за труп, с тем, чтобы кто-нибудь из них получил это дело за шестьдесят; но в последний момент какой-то темный тип, нарушив соглашение, подсунул подставное лицо, просившее только пятьдесят семь франков, вследствие чего участок был ему и присужден. Бузье вернулся из Амьена, весь бледный от гнева.

— Подумайте только, — бесновался он, — дело, по меньшей мере, в пятнадцать тысяч тел! Предположите только по тридцать франков прибыли на каждом трупе!..

Он говорил об этих горах покойников, как раньше о кубических метрах щебня.

— Я, так же, как и вы, проделал войну, — объяснял Жаку заведующий работами, пока его люди, по-двое, приносили гробы к уже вырытым могилам. — Уехал я капралом, а вернулся поручиком и хотел остаться в армии. Но в один прекрасный день нас выставили, выдав нам шестимесячный оклад... Мне двадцать восемь лет, и я не имею никакой профессии; вот я и явился сюда. Ведь, есть-то надо, как вы думаете?

Жак, с обнаженной головой, смотрел, как мимо него проносили мертвецов.

— Кого подрядили для этих работ? — спросил он.

— Ба! всех, кто явился, — выбора не было. Агентов, угольщиков, торговцев бумагою, облицовщиков могильных памятников...

Убитых укадывали в жалкие ящики, сделанные из шести, еле обструганных досок, таких тонких, что, когда гроб сваливался с дрог, он каждый раз раскалывался. Сквозь щели ящиков можно было разглядеть саваны из грубого и жесткого, как картон, холста. Затем земля, новый крест — и все было кончено... В одну минуту рабочие опустили в могилу сорок покойников.

— На этой неделе мы откопали уже тысячу пятьсот человек, — продолжал, покусывая губы, заведующий работами. — Бузье платит шесть франков за то, чтобы вскрыть яму, десять за то, чтобы выкопать новую, и еще четыре франка за извлечение тела, на содержание заведующего работами и за грузовики; все же остальное — чистая прибыль; больше тридцати франков на тело. Если мы откопаем в секторе двадцать пять тысяч штук, сосчитайте сами... Даже если отрывать только полагающиеся сорок трупов, то и тогда каждая партия рабочих даст более тысячи франков прибыли в день. Недурненькое дельце, неправда ли?

— Да, — вполголоса ответил Жак, — лучше хоронить других, чем дать себя убить.

И, попросив молодого человека сообщить ему, если он случайно найдет могилу Андрэ Дельбо, архитектор, расстроенный на целый день, ушел.

С тех пор, проходя много раз по окрестным деревням, Жак встречал партии рабочих Бузье, занятых своим страшным делом. Когда за ними наблюдал только сговорчивый заведующий, и офицер сектора отсутствовал, они торопились во-всю. Старались только как можно скорее зара-

ботать свои сорок франков. Могилы тогда вскрывались только наполовину, тела вытаскивали как попало, а если их оказывалось несколько в одной яме, то, чтобы не терять времени на розыски документов и блях в этих ворохах гнили, останки быстро клали в гробы и надписывали: „неизвестный солдат", „неизвестный солдат".

Правительственный смотритель, хорошо все это знавший, зорко наблюдал всегда за рабочими, и нередко ему случалось, сбросив пиджак и надев каучуковые перчатки, самолично обшаривать вытащенные из земли тела.

— Ну, — ворчали тогда гробокопатели, — Бузье не так церемонится со всем этим.

„Неизвестных", которых в братских могилах было очень много, укладывали по-двое и по-трое в один и тот же гроб, где останки их перемешивались. То, что заколачивали в эти ящики, уже не представляло собою человеческие трупы, а лишь груды перемолотых костей одного огромного безымянного тела, — прах полка... В виду того, что работа в таких случаях шла быстрее, Бузье платил своим людям за трех убитых, как за одного, но он сам, по договору, получал „поштучно". Таким образом, он наживал еще больше.

— В прежнем секторе дело шло гораздо лучше, — рассказывал один из гробокопателей, зажигая в конце кладбища костер из старых крестов, вылинявших венков и лоскутьев материи. — Одно благотворительное общество давало нам премию в двадцать су за удостоверение личности каждого покойника. Ну, а ты сам понимаешь, как мы удостоверяли их при помощи солдатских блях, которые можно было подбирать во множестве.

Семьи павших не присутствовали при вторичном погребении их родных, о котором газеты извещали, не указывая, однако, числа, и Бузье был этим очень доволен, так как не любил, когда за ним следили,

В Кресси у него было не одно столкновение с местными учительницей и кюре, которых родственники убитых уполномочивали на это печальное дело, причем подрядчик упрекал их, что „они бегают следом за его рабочими".

— Здесь правительство — я! У меня все права! — орал он, бегая большими шагами по полю, немного сутулясь, с надвинутою на глаза шляпою и с длинным носом, который моментально краснел, как только ветер становился свежее.

Он никогда не упрекал своих рабочих за то, что они слишком торопились уносить „неизвестных", не обыскивая их.

— Не слишком-то усердствуйте; надо работать быстро, — повторял он им.

А для любопытных, которые могли его подслушать, он прибавлял с огорченным видом:

— Другие ждут.

Каниве, не имея по целым дням никакого дела, прибегал на кладбище как только узнавал, что проехали грузовики; а так как он ненавидел своего прежнего хозяина, то всегда находил что критиковать. По четвергам он приводил с собою Амедея и, когда бывал народ, неизменно заявлял, указывая на плохо одетого мальчишку:

— Вот, господа, солдатский сирота! Семнадцать су на прожитие в день!..

Потом, когда Бузье, худой, как скелет и всегда одетый в порыжелый непромокаемый плащ, садился в свой автомобиль, кривой, с раскрасневшимися щеками, кричал:

— Отец этого ребенка пожертвовал своей жизнью для того, чтобы эти бандиты жирели!

Он столько шумел, что подрядчик пожаловался, наконец, мэру, и этот последний, у которого, после общего собрания кооператива, было достаточно причин не любить садовника, обещал, что будет за ним наблю-

дать. Когда Ганье встречал Каниве у зеленщика, он говорил ему своим грубым тоном:

— Ни в чем не желаешь отказать себе, а? Сейчас видно, что государство дает тебе ренту... До войны ты не позволял себе такие лакомые куски.

И садовник уходил, не смея купить себе четверку фиг, до которых он был большой охотник.

Так как назначение его почтальоном все еще не состоялось, то некоторое время спустя архитектор попросил для Каниве место сельского стражника.

— Сделать блюстителем порядка человека, который по целым дням устраивает скандалы! — воскликнул мэр.— Никогда! Это был бы плохой пример!

Жак Ле-Водуайе, который был теперь помощником Дидье Роже, занимавшего, после отставки Ганье, место председателя кооператива, мог бы, конечно, куда-нибудь пристроить Каниве, но с последним, действительно, не было больше сладу.

— Меня изувечили; пусть меня и кормят! — упрямо твердил он.

Он взвинтил себе голову мятежными речами пьемонтских каменщиков, он принимал всерьез болтовню Нуазе и начинал приводить в отчаяние всех паническими слухами, которые он распускал, предсказывая ежедневно банкротство и революцию.

— Это его другие подбивают, — говорил, желая оправдать его, Кревель.

Когда в Кресси было объявлено, что в городке будет устроен праздник в честь ордена „Военного креста", пожалованного всему округу, кривой поверил нескольким энтузиастам, сказавшим ему, что по этому поводу будут организованы манифестации.

— Наплевать на их военный орден! — заявил он.— Нам нужны дома, да!.. Вот, увидите, как их освищут в воскресенье!

Но потерпевшие, не знавшие никаких развлечений, отнеслись, напротив, очень благосклонно к этой церемонии. Предполагались шествие пожарных, поднесение городом вина почетным лицам, приветственные речи, бал с оркестром музыки, и никому не приходило в голову портить эту программу. Один только Каниве, выйдя из временной мэрии, где он хлебнул больше, чем другие, почувствовал потребность обратить на себя внимание. Когда председательствовавший на банкете сенатор появился на площади, кривой, потрясая зонтиком — предметом довольно необычным в руках у пожарного — устремился к нему.

— Мы живем в свиных хлевах, жирный купчина! — закричал он испуганному парламентарию.

На Каниве тотчас же набросились, — первым храбро ринулся на него Вору, — и так как не было карцера, чтобы запереть его, то его ввели в мэрию, где он немедленно выпил все вино, еще остававшееся на дне стаканов...

Его отпустили в тот же вечер, но составили протокол, и несколько дней спустя приговорили к неделе тюремного заключения, причем, принимая во внимание его военную медаль и отсутствие глаза, наказание было объявлено условным.

Со времени возвращения бежавшего населения это был первый осужденный в Кресси. Так как все жители, несмотря на выходки Каниве, относились к нему с симпатией, его немного жалели; приверженцы же порядка были удовлетворены: мэр, Бузье, отец и сын Жоссе, Лабаду, — все, вплоть до агента администрации, который, объезжая по делам службы потерпевших, пользовался случаем, чтобы сбывать им вино, и у которого Каниве, правда, с большим сожалением, не пожелал купить полбоченка красного.

* * *

Работы по восстановлению города приостановились в Кресси ненадолго. Подрячик заводчика Жоссе, сдавшись на доводы Жака Ле-Водуайе, согласился принять наследство Аморети, и скоро жители опять увидели, как вдоль усыпанных наново мелким щебнем улиц стали выростать стены.

Отстроив дом для архитектора и проработавши с ним два года, подрядчик вообразил, что его не будут слишком строго контролировать; желая увеличить цифру произведенных работ, он принялся все ломать, не считаясь с комиссией по расчистке; но Жак сейчас же поднял шум. Подрядчик думал, что заставит его замолчать, пригрозив забрать свой материал и снять рабочих; но Дидье Роже и его друг не дали запугать себя и без споров согласились на уничтожение контракта.

Когда потерпевшие об этом узнали, они заволновались. Как, работы опять приостановят! Подобно тому, как побежденные солдаты всегда готовы верить, что их предали, так и пострадавшие подозревали, что их обворовали, и были убеждены в каком-то низком мошенничестве, в том, что воры просто не поладили между собой; подбивая друг друга, они побежали к Дидье Роже, на ферму, а по пути задержали на улице архитектора, упрекая его намеками в том, что теперь, отстроив свой дом, он плевал на других. На очень бурном собрании партия Ганье протестовала, довольная тем, что могла отомстить; но оба друга, поддержанные кое-кем из их сторонников, собрали на своей стороне большинство.

Жак нашел других подрядчиков; он сдал все каменные работы мастеру, местному уроженцу, которому выдан был аванс; а всю плотничью и слесарную работу возложил на Кревеля; он разыскал кровельщиков, которых, впрочем, было не так-то много и которым пришлось, поэтому, платить по шестьдесят франков в день; каменщиков набрали, сколько было возможно, а для того,

чтобы дешево получать камни, купили в красной зоне каменоломню, которую кооператив предполагал эксплоатировать сам.

Таким образом, благодаря стараниям обоих друзей, работы ни на один день не прекратились и ни одна постройка не приостановилась. Впрочем, потерпевшие почти не высказывали по этому поводу своей благодарности; хотя должность члена правления не приносила никаких доходов, жители смотрели на лиц, занимавших ее, почти как на своих служащих, в особенности, на председателя, и, если бы Дидье Роже только допустил, они бы затормошили его, как мальчишку, на побегушках.

— Если они столько возятся, значит, находят в этом выгоду для себя, не беспокойтесь! — твердил Нуазе.

И старый землемер, который, работая один, не мог возвести ни одной стены, уверял, потирая руки:

— Я учредил свой личный маленький кооператив и чувствую себя совсем не плохо...

Зима приближалась быстрыми шагами: начинало раньше темнеть, в лишенных листвы лесах лежали, притаившись, как зайцы, порыжевшие деревья, и нужно было до холодов окончить постройку возможно большего числа домов.

Повсюду поднимались облицованные новыми камнями стены; балки снова покрывались полами, а срубы — крышами. Население погребов постепенно выбиралось из них, и на шаткой двери одного из подвалов какой-то потерпевший, желая оказать кому-то услугу, написал, уходя: „Квартира свободна".

Соорудили также много временных бараков, — и на „Горе" вытянулась в линию дюжина таких построек с зелеными ставнями, где помещались бакалейные лавочки, кабачки, колбасная и галантерейная торговля, придавая этой части городка вид выставки.

В первое время Жак позволял потерпевшим морочить ему голову; они вечно были недовольны, что бы он для них ни предпринимал; но теперь архитектор перестал им поддаваться: он делал только то, что хотел, хотя с виду как бы уступал им. Раньше он еще старался переубеждать этих упрямых крестьян, требовавших дом по своему вкусу, с низким потолком, потому что так теплее, а нижний этаж — еще ниже, потому что таков обычай; теперь он соглашался, не споря, со всеми их прихотями, заставляя их просто-напросто подписывать свои планы, которые они недоверчиво рассматривали, водя своими грубыми пальцами по линиям чертежа, но не понимая, что это было как раз противное тому, чего они требовали.

А когда постройка дома, который был так красив, что соседи на него засматривались, приходила к концу, и крестьянин видел, что после первого дождя навозная жижа не просачивалась к нему в кухню, он начинал соображать, что Ле-Водуайе был все-таки прав; таким образом, новоотстроившийся оказывался, помимо своей воли, новатором, и ему ничего не оставалось, как насмехаться над теми, кто требовал себе дома по старому образцу.

Только в денежных делах с ними ничего нельзя было поделать; тут они бывали непреклонны. Если отпущенный потерпевшему кредит не был исчерпан, а постройка уже была закончена, то нечего было ждать от него, чтобы он поступился хотя бы полушкой; он предпочитал, в таком случае, перекрасить все сверху донизу, сорвать сосновый пол и настелить дубовый, поставить вместо деревенской печки камин из белого мрамора и построить сажалок больше, чем у него когда-либо будет кроликов.

— Каждый должен получить то, что ему полагается! Мне незачем подарки делать!

И потерпевшие находили куда израсходовать деньги до последнего франка: там кистью мазнуть, там ввинтить в потолок лишний крюк.

Впрочем, если бы они и хотели быть великодушными, то не могли бы: закон возбранял им это. Тот, кому его кредиты позволили бы изваять себе барельефы на дверях отхожих мест (если бы ему пришла в голову такая фантазия), не имел права уступить из того, что ему было отпущено в возмещение убытков, ни одного гроша своему соседу, который не получил даже столько, чтобы возвести над своею головою крышу: было строго запрещено помогать друг другу.

Правительство объявило, правда, в первой статье „закона о возмещении убытков", что все французы солидарны относительно тягот, наложенных на них войною, но дальше этого их альтруизм не пошел: в остальном они словно избрали себе девизом: „Каждый для себя!" Поэтому потерпевшие предпочитали расходовать все, чем оставлять свой избыток в бездонной государственной казне.

Особенно упорные споры происходили у архитектора с колбасницей Агатой, которая хвасталась тем, что в пять лет наживет себе состояние, и желала, поэтому, иметь, в качестве жилища, великолепный дом. Кантональная комиссия назначила ей вдвое больше того, сколько надо было для отстройки ее помещения 1914-го года, и Агате все казалось недостаточно красивым. Жак хотел, было, оставить в нижнем этаже прежний каменный пол, сохранившийся под развалинами в нетронутом виде, но она рассердилась.

— Разве вы платите за это? Нет?.. В таком случае, я хочу, чтобы везде был паркет, и самый хороший: у меня ноги не менее изнеженные, чем у вашей барыни.

Колбасница потребовала, чтобы все потолки ей украсили отвратительными орнаментами и карнизами

в медальонах, которые, из утонченности, она заставила выкрасить в розовый цвет; а чтобы израсходовать последнюю тысячу франков, она пожелала устроить себе места уединения такие светлые и так затейливо отделанные, что все население Кресси гуськом потянулось к ней, желая посмотреть на это невиданное дотоле сооружение.

Но еще больше было у архитектора неприятностей с лавочницей Вору. Толстуха, которую грядущее материнство сделало еще сварливее, не могла больше слышать ни о Кревеле, ни об Этьене. Из-за каждого пустяка она кидалась к Жаку Ле-Водуайе и поднимала гвалт среди его канцелярии.

— Если вы говорите, что это справедливо, то я вам доложу, что это чистейшая несправедливость!.. Скажите, пожалуйста, что есть в этом отвратительном Кревеле такого, чего бы не было в других: ведь, он даже не местный уроженец!.. Пусть сплетничают, что мой последний любовник — бош: я могу, все равно, пройти с высоко поднятой головой перед целым светом, и это, во всяком случае, не резон, чтобы Этьен пользовался моим забором.

Больше всего выводило ее из себя предположение, что между ее домом и жилищем Этьена, как между смежными постройками, соорудят общую стену.

— Нет, нет и нет! На это я не соглашусь!

— Но, ведь, иначе это будет стоить дороже, — возражал архитектор.

— Пусть! У меня есть средства!

— Но если Этьен построит стену, которая будет прилегать к вашей, это разведет у вас сырость.

— Пусть! У него тоже будет сыро!

Получив, наконец, шесть тысяч франков пособия за пятьдесят один месяц далеко небезвыгодного пребывания в занятой неприятелем полосе и тридцать пять

тысяч франков в возмещение убытков за разрушенный дом Каниве, за который они заплатили всего шесть тысяч, Вору задумали построить возле своей лавки зал, где можно было бы танцовать, как в „Морском кафе“ и где по субботам был бы кинематограф.

Зная об их проекте и негодуя на это несправедливое благополучие, Кревель все раздумывал о том, как бы повредить своим соседям. Наконец, он решил приклеить к окну своего барака, на видном месте, открытку с изображением хибарки Вору до войны (лачугу эту сфотографировали, должно быть, потому, что она была до живописности жалка.) Прохожим стоило только взглянуть на снимок, а затем повернуть, для сравнения, голову, и перед ними вырастал новый дом Вору, выстроенный на счет казны и превышавший своим одним только первым этажом трубы старого жилища. Потерпевшим эта затея, конечно, не особенно нравилась, потому что ни одному из них не улыбалось угодить в такое положение и быть выведенным на чистую воду. Один скандал рождает другой, и никто при этом не выигрывает.

Но вот, однажды, когда Кревель стучал, насвистывая, молотом по своей наковальне, он увидел, что к нему направляется молодая белокурая девушка, очень мило одетая, с целью, очевидно, взглянуть на знаменитую фотографию.

„Ишь, какая кокетливая особа, — решил про себя рабочий, опуская свой инструмент. — Это, наверно, парижская штучка“.

И он вежливо подошел к барышне, чтобы дать ей нужные объяснения. Но она его предупредила.

— Почему вы выставили эту карточку? — спросила она. — Это очень нехорошо с вашей стороны.

Кревель так и остался с разинутым ртом.

— А вам-то что до этого? — грубо ответил он, забыв о своем намерении выказать свою галантность.

— Я дочь Вору. Во время войны я работала в Париже, а теперь родители нашли мне место машинистки в У. Г. Р. Вот я и вернулась.

Парижанин удивленно смотрел на нее. Этого он никак не ожидал.

— Дочь Вору! — воскликнул он. — Ну, право, это на него не похоже!

Молодая девушка решила принять это за комплимент и улыбнулась.

— Да, я еще совсем молодая, — сказала она, немного жеманно.

Затем, мило вытянув губки, она прибавила с капризным видом:

— Вы это снимете, неправда ли? До-свиданья, сударь...

Кревель, усмехаясь, смотрел ей вслед, а когда она повернула за угол, пошел к себе под навес.

— Мила девченка, а? — сказал он товарищу. — Клянусь, что без всяких прикрас она понравилась бы мне больше, чем ее мамаша, расфуфыренная впух и впрах. Она хочет, чтобы я снял почтовую карточку... Как же! держи карман шире!

Тем не менее, на следующий день, он караулил у окна, и когда увидел, что дочь Вору вышла из своей квартиры и с любопытством повернула голову в сторону его барака, он, с риском сломать стекло, поспешно сорвал фотографию, а изорванные куски ее выбросил на улицу.

Любезным кивком молодая девушка его поблагодарила и, улыбаясь, повторила несколько раз это движение.

— Ну, что ж, раз это ей доставляет удовольствие, — пробормотал Кревель.

А на утро, — без сомнения, по той же причине, — он вежливо поклонился и толстухе Вору, положение которой, впрочем, должно было внушать к ней уважение.

Стараясь оправдать перед самим собою столь внезапную перемену фронта, Кревель приводил разные серьезные причины: теперь он уже не голоштанник, а предприниматель, и потому незачем портить свою репутацию из-за удовольствия пошутить. Единственное, о чем он сожалел, это о том, что слишком поздно приехал в пострадавшие от войны департаменты.

„Ну, и не повезло же мне: я — не потерпевший, — подшучивал он над самим собою, попивая в „Морском кафе" белое вино. — Если бы я устроился здесь только за год до войны, я был бы теперь уже собственником".

Собственниками, впрочем, жители Кресси были, в большинстве случаев, пока только на бумаге. Не менее половины заявлений еще не было проверено комиссией, и пострадавшие от нашествия изнывали от беспокойства, убежденные в том, что из-за излишков, получаемых другими, им, в конце концов, дадут меньше; они успокаивались только в тот день, когда им окончательно выдавали на руки их документы.

Случалось, что неожиданным поворотом колеса фортуны люди, которых все жалели, становились вдруг предметом зависти: так было с младшей Фаржетон, самой бедной в ее семье; перед войною у нее лишь был маленький деревянный домик, и ее старшая сестра, получавшая львиную долю во всех наследствах, кичилась, будучи обладательницей самого красивого в городке особняка.

Когда потерпевшие, вернувшись в родные места, увидели, что дом старшей сестры остался невредимым, а жилище младшей разрушено, они еще раз прониклись состраданием к судьбе бедной женщины; но вскоре счастье повернулось к ней лицом. Следуя умным советам Лабаду, Фаржетон-младшая составила список убытков, доходивший до сорока одной тысячи франков, и, пройдя перед комиссией, когда коэффициент был еще 5,50, она

получила двести восемьдесят пять тысяч на постройку и обзаведение. Тогда, на месте старого домика, она возвела великолепные палаты, в которых окна с выступами были вдвое шире, чем в особняке старшей сестры, а крыльцо, по меньшей мере, в восемь ступеней, с вазами из синей глины по сторонам. Словом, благодаря войне, самый красивый дом в Кресси принадлежал теперь обиженной судьбою женщине.

Фаржетон-старшая, гордая и завистливая, заболела от досады, и, желая отомстить, ибо не могла ничего заработать на своей вилле, которая — увы! — отделалась лишь незначительными повреждениями, она раздула до скандальных размеров список своей обстановки. По мере того, как рос дом ее сестры, она вспоминала то одну, то другую забытую вещь — пианино или шкаф — и, настрочив заявление, бежала в комиссию, где чиновнику приходилось иметь дело, главным образом, с ней.

— Тут что-то не так,—сказал ей, наконец, выведенный из себя агент администрации: — я измерил кубический объем мебели, которая у вас погибла, и выходит, что он превышает кубический объем вашего дома, считая и чердак. Если все перечисленные вами предметы нагромоздить один на другой, они пробили бы потолок.

Список ей, конечно, урезали, но переведенный на коэффициент 3, 50, он всетаки выразился еще в настолько солидной сумме, что Фаржетон-старшая, с целью принизить свою сестру, купила себе шикарный и совершенно новенький автомобиль, с полированным кузовом и никкелированными фонарями.

Но не всем потерпевшим так везло. Когда новый министр, решив понизить стоимость построек, предписал уменьшить коэффициент, то бедные люди стали получать прямо смехотворные суммы; и Жак Ле-Водуайе, у которого в кооперативе было несколько человек,

подпавших под это предписание, спрашивал себя, какие лачуги построит он им на отпущенные им деньги.

Каниве, в качестве вечного неудачника, был в числе этих обездоленных.

Ошеломленный и полный страха, он предстал перед комиссией в качестве представителя интересов своего племянника Амедея. Он пользовался уже определенной известностью, и у него была теперь репутация буяна, способного на все, когда вино ударит ему в голову.

— Дать ему много денег, значит, оказать ему дурную услугу, — пробурчал председатель.

Экспертиза свела почти наполовину весьма, впрочем, умеренные требования садовника. Одним духом чиновник прочел список и сумму, которую взволнованный кривой не успел уловить, и ткнул ему под нос документ.

— Подпишите, вот здесь... И здесь...

И вызвал следующего пострадавшего.

Только вернувшись в Кресси, к своей матери, и немного придя в себя, Каниве понял постигшее его несчастье. Ему назначили за дом его племянника четыре тысячи пятьсот франков по курсу 14-го года, что составляло, по коэффициенту дня, восемнадцать тысяч франков. Старуха и ее мальчик не хотели этому верить.

Садовник сначала взбесился, стал грозить и, раскрыв настежь дверь своей хижины, кричал на всю улицу, что выпустит кишки из эксперта и из Ганье на придачу; но когда Амедей разразился от его криков рыданиями, жалобно вопя: „Не ходи туда, дяденька, не ходи! Они тебя еще в тюрьму посадят!“ — он умолк и тоже стал плакать, держа сироту в своих объятиях и оглашая воздух причитаниями.

У него не было дома, он был нетрудоспособен, его пенсия составляла четыре франка в день, деньги Вору были съедены до последнего су, — неужели же он дойдет до того, что будет жить на счет матери?..

— Нет, нет, так это не может продолжаться! — воскликнул он.

И в тот же вечер ушел, не сказав куда.

В десять часов старуха, видя, что он не возвращается, побежала в беспокойстве к архитектору, но Жак целый день не встречал садовника. Не видели его у Кревеля и ни в одном из кабачков.

Женщина и ребенок провели ужасную ночь, предчувствуя несчастье. И только на другой день они узнали от почтальона, что Каниве видели на мосту через Эну, и что позднее хозяину „Морского кафе“ показалось, что он слышал со стороны воды какой-то крик. Он вышел на улицу, звал, но в ответ донесся только шелест ветра в камышах.

Старуха пустилась бегом через все Кресси, а Амедей за нею, — оба с громкими криками. Когда они прибежали к реке, то увидели кучку людей, рассматривавших с сельским стражником жилет и фуражку, поднятые на берегу. То были вещи Каниве...

Искали жердью в траве, спустились на барке вниз по течению до Венизеля, но ничего не нашли.

Каниве исчез, как его зять, как Андрэ Дельбо. Его, как и их, убила война, только несколько позднее... Где присоединился он к ним?

Этот трагический финал сильно расстроил Жака. Терзаемый угрызениями совести, он все спрашивал себя, сделал ли он для калеки все, что должен был сделать: может быть, он помешал бы самоубийству, если бы действовал иначе.

С тех пор, по ночам, он подолгу думал еще об одном покойнике.

Уже несколько недель архитектор жил в своем новом, наконец, отстроенном доме, но ему там не нравилось: он никак не мог к нему привыкнуть. Странное беспокойство преследовало его. Он постоянно думал

об Андрэ. Греясь у огня, с котом на плече, он все спрашивал себя: „Сидел ли он на этом месте?“

Пока с ним находились оба его помощника, он был спокоен, но как только они уходили в свой барак, и он чувствовал себя одиноким в доме мертвеца, страх всецело овладевал им. Когда он переходил из одной комнаты в другую, он шел не оборачиваясь, быстро запирал за собою дверь, и ему приходилось делать над самим собою огромное усилие, чтобы опять ее отпереть.

Он уговаривал себя, сколько мог: „Ведь, не боялся же я на фронте“...

Но и это не помогало: какой-то безотчетный страх не покидал его.

С тех пор, как наступила плохая погода, Елена приезжала к нему редко. Жак чувствовал, что она боялась оставаться с ним наедине, опасаясь новых сцен или просто того тяжелого молчания, которое они никак не могли нарушить.

Но по мере того, как время шло, он думал о ней все снисходительнее, а потом стал вспоминать ее с нежностью; через две недели он забыл все свое неудовольствие и стал посылать ей одно письмо за другим, торопя приехать. Тем не менее, каждый раз, как она приезжала, ее посещение было для него новым разочарованием, как будто бы присутствие Елены стирало ее образ, витавший вокруг него во тьме разлуки.

Ему хотелось, чтобы память о его любви к ней не шла дальше их первых встреч, когда они едва знали друг друга, когда молодая женщина бывала такой откровенной, такой хохотушкой. Он постоянно думал о прекрасных днях, проведенных ими в Сент-Онорэ-ле-Бэне, когда он выздоравливал, и она приехала туда, чтобы ухаживать за ним. Но и в этой иллюзии он тоже был разочарован.

Однажды, когда он вспоминал об этом счастливом времени в присутствии своего зятя, Жюльен, с невинным видом, хотя отлично знал, что делал, сказал Елене:

— Ах, да! Это было тогда, когда ты удрала из Парижа, боясь нашествия готов. Ну, и трусила же ты тогда!..

Молодая женщина не покраснела, а лишь раздраженно пожала плечами. Но Жак ощутил вдруг такую грусть, такое унижение, что отвернулся: он не хотел, чтобы они знали его чувства.

Затем он стал себя спрашивать, любила ли она его когда-нибудь на самом деле, любила ли с тою страстью, которая еще недавно владела им, с тою болью, которая сейчас так терзала его душу.

Он вспомнил, как приехал в Кресси в разгар зимы, совершенно больной: если бы она любила его, разве она позволила бы ему вести такой образ жизни?

Сидя за своим чертежным столом, он размышлял об этом прошлом, и скоро карандаш выпал у него из рук. Должно быть, и тому, другому, были знакомы эти унылые вечера, когда сердце до краев наполнено слезами.

„Знал ли он, что Елена обманывала его со мною?“— постоянно спрашивал он себя. — Знал ли он мое имя?“

Молодой человек склонил голову на руку, как это делал, может быть, ночью, у своей амбразуры, Андрэ. Какими долгими должны были казаться солдату эти часы бодрствования! И какими печальными!.. Охваченный глубокой грустью и не отвлекаемый ни одним звуком извне, Жак мысленно очутился в траншее. Он— один, товарищи спустились в более безопасное место, дозорный стоит на своем наблюдательном посту, глухо звучат голоса под капониром; тогда, не чувствуя холода, не слыша отдаленной канонады, он вынимает, словно из игрушечного ящика, свои чудесные воспоминания.

Они — там, в полном порядке, свежие, новые... Вот прогулка в Медон, когда она искала в траве мокрыми руками фиалки... Вот первое их воскресенье на берегах Эны, когда в лесу были еще гнезда, а у церкви была колокольня... Вот ее платье... ее смех... Но эти видения постепенно исчезают. Дышишь на стекло, но рисунок уже не показывается вновь. Хочется удержать эту тень счастья, как вдруг появляется другой образ, более отчетливый. Сколько ни отодвигай его, он все тут, перед глазами: безразличное лицо во время последнего отпуска, подмеченное выражение скуки в глазах, исчезнувший в толпе, на вокзале, и ни разу не обернувшийся силуэт.

„К кому пошла она?"

В лихорадочно возбужденной голове Жака все перепуталось; обидное чувство за Андрэ и за самого себя. Он не знал, злится ли он на нее за себя или за того, другого?

Искал ли вдали, в последний вечер, в Лаффо, тусклый взор умирающего туманные изгибы косогоров своей родины?

Все его счастье осталось там: тропинки, по которым они гуляли, леса, где собирали цветы...

Как ужасна мысль, что он умер совсем близко, так близко, что, наверное, мальчишкою бродил в полях Ламота, в том самом месте, где он, должно быть, пал; так близко, что он мог бы дотащиться до своего дома, чтобы там испустить дух!

Казалось, что видишь его, этого раненого, бредущего по дороге на трясущихся ногах... Вот он идет вдоль болота, вот падает на каменистом шоссе Маруваля. Вот он встает... приближается...

В доме могильная тишина. Но Жак с опаской прислушивается, как бы желая что-то уловить... Чу! скрипнула мебель. Может быть, кто-нибудь оперся

о нее?.. Заскрипела половица... Что?.. Как будто, кто-то ходит по лестнице...

Молодой человек, обернувшись лицом к двери, вскакивает с табурета; его глаза широко раскрыты от страха.

Но он сейчас же спохватывается. Сердце его начинает биться медленнее.

— Я слишком впечатлителен, слишком нервен; это глупо, — говорит он сам себе вслух, чтобы нарушить тишину. — Надо попросить Шапара, чтобы он дал мне успокоительного.

Нельзя сказать, чтобы Елена не замечала лихорадочного состояния своего мужа, но она приписывала это исключительно последствиям отравления газами и не тревожилась.

Впрочем, Жак и не жаловался, ибо ему казалось, что жену раздражала его склонность к частым заболеваниям. Однажды, в Суассоне, он слышал, как за его спиною Жюльен Беккер сказал своей сестре:

— Ты еще очень добра... Такой болезненный человек не должен был жениться. Таким людям надо иметь мужество и страдать в одиночестве.

Молодая женщина ничего не ответила.

На новоселье, чтобы принять Елену, архитектор украсил свой дом ветками дикого бородавника, пучками камыша, вставленного в стаканы от расстрелянных снарядов, и гирляндами из плюща. Но она, казалось, и не заметила всего этого скромного, придуманного для нее убранства.

— Боже мой, как все здесь миниатюрно! — воскликнула она, как только пробежала по комнатам. — Когда я подумаю только о доме, который мы могли бы иметь! Нет, я была дура, что послушалась тебя!

Жак возразил:

— Я потребовал только то, что нам следовало. Больше просить я не имел права.

— Ах, оставь, — сейчас же вспылила она: — кто хочет быть великодушным, тот...

Но она резко остановилась, словно испугалась слов, которые собиралась произнести.

— Тот не пользуется деньгами других лиц, неправда ли? — закончил вместо нее внезапно побледневший Жак. — Ведь, ты это хотела сказать?

Но Елена сделала нетерпеливый жест.

— Ах, пожалуйста! Прошу тебя, без сцен!..

В последнюю субботу, когда она приехала в Кресси, она привезла мужу новость.

— Умер отец Андрэ. Мне сообщил об этом в поезде Нуазе. А вот хуже то, что жена его собирается, повидимому, поселиться у матери Каниве. Я надеюсь, ты не будешь с нею встречаться?

— Никаких причин для этого нет, — уклончиво ответил молодой человек.

Но в понедельник же утром он пригласил к себе в контору мать садовника, чтобы поговорить с нею о вызове ее в Комиссию по возмещению убытков. С нетерпением подошел он к окну и увидел у решетки сада обеих женщин в черном: обе матери пришли вместе, и изумленная старуха Дельбо осматривала дом, в котором каждая мелочь напоминала ей сына.

Архитектор побежал к двери и попросил их к себе.

Обе женщины не казались несчастнее, чем раньше: они уже слишком много перенесли, и ничто не могло увеличить тяжесть давившего их горя. Даже нищета не пугала их. У них были две их пенсии и пособие Амедея, что составляло пять франков в день, — ровно столько, чтобы питаться и как-нибудь существовать.

За двоих солдат, убитых на войне, и за калеку, бросившегося в воду, — сто су... Как это было далеко от прежних обещаний, когда Франция взывала: „К оружию!“ и когда постоянно приходилось вербовать новых мертвецов...

— Устроимся как-нибудь! — кротко повторяла мать Каниве. — Вот, если бы только удалось отстроить дом малыша!.. Мы очень рассчитываем на вас, сударь.

Жак узнавал в ее дрожавшем голосе кротость садовника, когда тот еще не был озлоблен годами притеснений.

Пока старуха говорила, мать Андрэ, вся взволнованная, со сложенными крест-накрест руками, оглядывалась вокруг.

— Точь-в-точь его дом, — шептала она. — Можно подумать...

Она указала на кресло, в котором Жак любил отдыхать по вечерам.

— Он всегда здесь сидел... вот здесь, около огня...

Жак задрожал.

— Он так любил свой семейный очаг! — продолжала мать Андрэ. — Сколько он старался, бедный мальчик, чтобы заработать необходимые для этого деньги!

Молодой человек опустил глаза. Ему было стыдно видеть перед собою эту старую женщину с дрожавшими руками и продырявленными башмаками и принимать ее, как просительницу, в доме, который был выстроен на средства ее сына.

Вдруг она зарыдала и рассказала о кончине своего мужа. До последней минуты бедный старик думал только об их сыне.

— Не трогай наших сбережений, особенно для того, чтобы отвезти меня в Кресси, — наказывал он ей. — Похорони меня в общей могиле, а деньги спрячь, чтобы заплатить за погребение мальчика, когда ты его найдешь... Ты будешь с ним в одном склепе, и я буду доволен...

Не переставая плакать, старуха говорила, заикаясь:

— У меня теперь никого больше нет на свете. Мне нужен мой сын, чтобы нас похоронили вместе...

Жак не находил, что ей сказать. В глубине его памяти перед ним всплыло удрученное лицо его матери. Что, если бы она была жива, а он был бы убит: не она ли плакала бы сегодня?..

Повернув в это мгновенье голову, он увидел на камине карточку Елены, еще не замеченную обеими женщинами. Он сделал несколько шагов, прислонился в естественной позе к камину и незаметно положил рамку, фотографией вниз, на мрамор.

XI.

„Восстань, Кресси".

Под этим громким названием, звучавшим как призыв трубы, Лабаду учредил новый кооператив, тотчас же объединивший человек пятьдесят ничего не успевших в одиночку жителей и нескольких членов старого кооператива, вышедших из его состава; Ганье, переменивший фронт, был без споров избран председателем и на этот раз должность оказалась как раз по нем, потому что у него только и было дела, что одобрять, закрыв глаза, действия Лабаду и его компанионов, Греба и Тома.

Лабаду, вступивший в торговое соглашение с этими двумя подрядчиками, совершенно новыми в разоренных департаментах людьми, внес, в виде пая, только свою сметку, которая, конечно, чего-нибудь да стоила. В течение нескольких недель он объехал наиболее пострадавшие деревни красной зоны, главным образом, те, в которых еще ничего не сделали, и где горсточка обитателей все еще ютилась в хибарках и погребах, и, наобещав беднякам все, что они хотели, и не требуя от них ничего, кроме подписей, он успел почти повсюду сорганизовать кооперативы, которые он тотчас же связывал договором со своим.

В тех общинах, где такие учреждения уже существовали, Лабаду немедленно устраивал другой, если ему удавалось сгруппировать на миллион франков требований о возмещении убытков; он добивался своей цели без особого труда, потому что везде и всегда находились недовольные или опоздавшие, не решавшиеся записаться в старый кооператив, а также отдельные пострадавшие, которых Лабаду пугал рассказами о том, что отныне авансы будут выдаваться облигациями сроком на шесть лет; в конечном результате, вывеска „Тома, Лабаду, Греб и К°“, похожая на торчавший на развалинах военный флаг, замелькала вскоре на сорок километров в окружности, во всей долине Элеты, на полях Жювенкура, вплоть до ворот Реймса.

Новый кооператив в Кресси пригласил к себе в качестве архитектора какого-то важного господина, отстраивавшего деревни и поселки в трех департаментах и внушавшего всем уважение своими чинами, огромным автомобилем и красною ленточкою в петлице. Говорили, что у него уже было работ на сто миллионов, и этих толков было достаточно для беспрерывного роста числа его клиентов. Само собой понятно, что его никогда не видели на постройках: для этого у него не было времени. Да и, кроме того, обеспечив себе пять процентов с общей суммы вознаграждения, он передавал обычно подряд менее удачливому коллеге, который довольствовался тремя процентами, отдавая остальное ловкому дельцу только за то, что тот подписывал планы и описи. Впрочем, заместители сего важного лица часто и не стоили больше получаемых ими трех процентов, и их бездарность усложняла задачу председателя кооператива вместо того, чтобы облегчать ее; иногда еще, вдобавок, такой тип оказывался бесчестным и, желая наверстать то, что у него урывали, он, попадая на покладистых подрядчиков, принимал у них какую-угодно гниль, при условии, что

с ним поделятся незаконными доходами. С таким архитектором любой предприниматель мог, конечно, вносить в свои счета фиктивные работы, тем более, что потерпевший, несмотря на всю свою недоверчивость, был неспособен что-либо понять в такой тарабарщине, как „укладка столярных усов поперек поля — набивка гвоздей пачками с обоих краев — прилаживание стропильных напусков — косой пролет для укладки перемычной балки“, то-есть уразуметь названия, столь же мало ему понятные, как рецепт врача.

Лабаду, хорошо знавший человеческое сердце и еще лучше слабости пострадавших, делал всегда вид, будто он не согласен с архитектором, понимая, что таким образом он внушает к себе доверие. И так как все эти бездомные люди испытывали потребность излить на кого-либо свой гнев, то хитрец возбуждал их против администрации, ответственной, по его словам, за всякое затягивание дела, и против экспертов, „которым, — уверял он, — платили только за то, чтобы притеснять несчастных“. Но эта политика не мешала ему, конечно, быть в наилучших отношениях с кантональными служащими.

Раньше, когда оценщики репарационных комиссий зарабатывали не больше каменщиков, их не только ненавидели, но и презирали: ведь бедняки не внушают страха.

— Ишь ты, важничает в своем резиновом воротничке, а самому-то, поди, жрать нечего! — язвил какой-нибудь потерпевший по адресу эксперта, окорнавшего ему его опись.

Но позднее, когда правительственный декрет изменил, словно по мановению волшебного жезла, положение оценщиков, дав им чуть ли не министерские оклады, все стали относиться к ним с уважением, хотя ненавидели их ничуть не меньше, чем прежде.

И действительно, плохо одетые и не всегда сытые контролеры, которым платили двенадцать франков за три часа работы, стали вдруг получать, ни с того ни с сего, от двух с половиной до пятнадцати франков с каждой тысячи причиненных вражеским нашествием убытков; быстро сообразив, в чем дело, они начали оценивать так усердно, что содержание их оказалось внезапно увеличенным в пять, в десять и больше раз, и зять Ганье, бывший раньше простым землемером, мог вскоре похвастать, что заработал пятнадцать тысяч в месяц. С тех пор, как существуют хозяева и служащие, еще не слыхали о таком увеличении заработной платы.

При всяком удобном случае, Лабаду сурово порицал это расточение народных денег, но красноречие его лилось рекою, когда он говорил о репарациях натурою.

— Ничего не надо нам от бошей! — восклицал он, выпячивая вперед руку, как некий Гамбетта-освободитель. — Лучше жить и умереть в трагическом величии наших развалин, чем взять хоть камень от тех, кто сжигал наши дома.

А так как он жил в то время в Париже, то эта клятва не налагала на него серьезных обязательств.

Потерпевшие, которые желали лишь одного — увидеть, наконец, свои дома отстроенными, не любили этого болтуна; зато его речи действовали на его крупных клиентов, торговавших, все до одного, лесом, инструментами, черепицей, удобрением и дрожавших при мысли о том, что цены на эти предметы могут упасть.

С тех пор, как стал действовать кооператив „Восстань, Кресси", ворчуны, перешедшие в него из старого предприятия, сделались еще требовательнее. А так как Дидье Роже бесцеремонно их выпроваживал, то они набросились на более доступного Жака. Ле-Водуайе возлагал на него ответственность решительно за все: за недостаточные кредиты, за то, что строительный материал получался не во-время, и даже за плохое действие артезианских колодцев, упорно не дававших воды.

Хозяйки, уткнув руки в бедра, останавливались перед архитектором на улице:

— А что же, воды так и не будет? Уж не прикажете ли нам ходить с ведрами на Эну?

Они подбивали своих мужей, а те, доведенные до белого каления, бежали к Жаку, крича, что кто-то желает им зла, что кто-то не хочет, чтобы они отстроились, что их нарочно отодвинули на последнюю очередь. И это несмотря на то, что порядок срочных работ был утвержден особым циркуляром префектуры, установившей для этой цели жребий, который заинтересованные тянули на общем собрании; пострадавшие знали все это и, тем не менее, вопили о несправедливости, заставляя Дидье Роже выходить из себя и грубо обрывать их обвинения и попреки: они больше двух лет ждут своих домов, и терпению их пришел конец, — больше ждать они не намерены!..

А когда у кого-либо начиналась работа, то архитектору уже не давали ни отдыху ни сроку.

Так как отпускаемые кредиты подлежали использованию, до последнего гроша, на отстройку разрушенных неприятелем домов, причем потерпевшие не могли, ни в каком случае, получать возмещение их убытков наличными, то многие из них, боясь не истратить всего, что им следовало, и хитро рассчитав, что все, раз построенное, у них отобрать уже нельзя, заказывали все, что им нравилось у соседей. И если бы Жак их слушался, то у многих из них не хватило бы денег на сооружение крыши. Правда, когда через неделю молодой человек напоминал им об их недавних прихотях, они клялись, что ничего не заказывали, грозя не принять счета. И архитектор, наученный опытом, ничего,

поэтому, не делал без предварительной подписи пострадавшего.

— Он не доверяет нам, — ворчали женщины, показывая на свои кофты: — он забывает, что хорошо одеваются не самые честные люди.

К счастью для Жака, с тех пор, как дочь Вору поселилась у своих родителей, Кревель и лавочница перестали ему надоедать, и, таким образом, два самых горластых крикуна кооператива оставляли его в покое.

Согласие, воцарившееся между соседями, изумляло все Кресси, и даже Этьен, обработанный своим жильцом, дал себя уговорить. Татус поклялась ему, что ее последний отпрыск был не от немца, а от бельгийца, а Вору, чтобы внушить людям лучшее мнение о себе, рассказывал, как его лишали пищи в концентрационном лагере для гражданских пленных.

Лавочница, тем временем, произвела на свет своего пятого ребенка, приплюснутое лицо которого, лимонный цвет кожи и миндалевидные глаза были явным и жестоким оскорблением для его мнимого родителя; но великан не обнаружил ни подозрения, ни гнева, и когда Кревель, наклонившись над колыбелькой, коварно заметил, что „младенец—вылитый отец", Вору сделал вид, что принял комплимент на свой счет.

Кревель усиленно увивался за Люси Вору. Каждый вечер он поджидал ее у выхода из канцелярии, чтобы проводить домой, и если, после обеда, они не отправлялись гулять, то он являлся, пощелкивая орехи, в комнату за лавочкой и там ухаживал за девицей. Мать взирала на все это благосклонным оком, ибо парижанин стал отличной партией. Недавно, благодаря тому, что он скупил у мелких собственников их права на возмещение убытков, ему выстроили обширную мастерскую, в которой восемь человек рабочих трудились для кооператива, а когда У. Г. Р. ликвидировало без экспертизы

и контроля все машины, то лучшие их них приобрел по смехотворной цене тот же Кревель. К приезду Люси Вору, у него уже было, в старом временном бараке, превращенном в магазин, много всякого материала, и взоры прохожих привлекала огромная вывеска из коленкора: „Замки и ключи, скобяной товар, устройство печей, железо и жесть".

Иногда лавочница припоминала насмешки и ругательства, которыми их осыпал когда-то Кревель, его угрозы по адресу Вору, не смевшего ему отвечать, и все неприятности и пакости, причиненные им за два года. В такие минуты, взглянув не без уважения на долговязого негодяя, она говорила своей дочери:

— Да, Люси, это человек, который заставит уважать тебя.

Кревель нашел, впрочем, верный способ заслужить милость мадам Вору: как будущий жених, он усиленно дарил барышне духи, которые не успели раскупить китайцы, и мало-по-малу весь парфюмерный склад толстухи перешел с полок лавочки в комнату девицы. Татус ожидала, вероятно, продажи последнего флакона белой сирени, чтобы назначить день свадьбы.

Но парфюмерия, единственным покупателем которой являлся парижанин, не приносила много дохода, и потому Вору вознаграждали себя продажею разных аксессуаров для похорон; у них был большой выбор венков из бус, материи и фарфора, и семьи, приезжавшие на бывший фронт отыскивать тела своих родственников, имели чем украшать их могилы. В большие праздники Вору устраивали даже, для соблазна публики, у самых ворот кладбища целую выставку, где их старший сын, имевший наклонность к коммерции, учился торговать.

Бывали дни, когда красная зона кишела приезжими мужчинами в трауре и женщинами с распухшими от слез глазами, проводившими иногда целый день в дороге только для того, чтобы увидеть клочок земли, где лежит

близкий им человек, чтобы знать его кладбище и запомнить, какой над ним стоит крест. Они чувствовали, казалось, облегчение, имея возможность поплакать близ дорогого им мертвеца.

На Пасху в опустошенные департаменты прибыло так много народу, что гостиницы не могли поместить всех у себя, и жители, из сострадания, приютили в своих домах некоторых приезжих, не знавших, где им провести ночь. С тех пор, как на бывшем фронте начали „возвращать покойников семьям", туда являлись люди даже в будни и тотчас же отправлялись то на одно, то на другое кладбище, чтобы присутствовать при откапывании трупов и постараться узнать своего усопшего, раньше чем его окончательно предадут земле.

И тут опять Бузье взял это дело по шестидесяти франков за мертвеца. Платя могильщикам от восьми до десяти франков за тело, а тем, кто извлекал смертные останки из земли — двадцать франков в день, он получал, по меньшей мере, тридцать франков барыша; несмотря на это, он постоянно жаловался, что у него слишком много расходов, и решил, что впредь, вопреки подрядным условиям, вынимать убитых из могил будут сами землекопы. Одновременно, вместо того, чтобы увеличить им плату за дополнительный труд, он еще уменьшил ее до семи франков, рассчитывая, что родственники жертв войны будут давать рабочим на чай.

Какой-то конкурент подрядчика хотел, было, воспользоваться этим обстоятельством, чтобы вызвать среди рабочих Бузье стачку и, таким образом, заставить его уничтожить договор, но это ему не удалось. Когда бывало много приезжих, рабочие сколачивали по пятьдесят и даже по сто франков в день, а при таком заработке стачек не устраивают.

Мертвецов, которых, несколько месяцев тому назад, откопали, чтобы привезти их в Кресси, извлекли во вто-

рой раз из могил, и поговаривали, что отроют, в свою очередь, всех тех, которых их родные не потребовали, чтобы отправить их в Супир, где, по слухам, предполагалось устроить национальное кладбище. Но на это Бузье не жаловался: чем больше перемещали трупы, тем больше он зарабатывал денег.

— Это будет дело, приблизительно, на тридцать тысяч тел, — тотчас же подсчитал он. — Меня интересуют, главным образом, перегруппировки... Вот, в Артуа у меня было кладбище, расположенное вне общего плана, и пришлось переместить на несколько метров две тысячи могил. И что же? Это принесло мне сто тысячных билетов. Да, это куда интереснее, чем брать подряды в Париже, где администрация надоедает вам с продолжительностью рабочего дня, где приходится преодолевать одно препятствие за другим и где куча родственников не дает вам ни минуты покоя.

И, размахивая своими длинными руками, он прибавил:

— Не удивляйтесь: я смотрю на все в большом масштабе.

И он, действительно, видел все в большом масштабе, просыпаясь каждое утро с каким-нибудь новым, смелым планом. В последнее время, заполучив модель гроба из прессованного цемента, он носился с мыслью монополизировать доставку таких гробов, которые обходились бы наполовину дешевле деревянных. К несчастью, несмотря на поддержку депутата, министерство отказалось оценить по достоинству его патентованный гроб, и Бузье не переставал ругать рутинность представителей государственной власти.

— Вы подумайте только, — негодовал он, — я даю им прочный гроб за сорок восемь франков, включая сюда доставку до станции отправления, а они там и ухом не ведут! Хороший, прочный гроб, водонепроницаемый и красивой формы! Ведь, это для всех было бы выгодно!

— Даже для покойников, — серьезно заметил Жак, которого донимал, главным образом, своими речами подрядчик.

Трупный коммерсант искоса, поверх очков, взглянул на архитектора.

— Конечно, и для покойников, — проворчал он.

И он удалился, пожав плечами, с еще более замызганным видом, чем его смотритель за работами: в запачканных грязью накладных голенищах и в фетровой шляпе, со спущенными, наподобие капюшона, полями.

Не зная, как помочь матери Андрэ, Жак решил передавать ей через учительницу небольшие суммы денег, которые та получала, будто бы, от благотворительных обществ. Благодаря этой поддержке, обе старухи и сирота могли кое-как существовать.

Молодой архитектор чувствовал сильное смущение, сталкиваясь с нищетой этих женщин и зная, что его вполне обеспеченная жена продолжала получать пенсию Андрэ. Но каждый раз, когда он просил ее отказаться от этих денег, Елена сердилась.

— Нечего мне важничать! — возражала она. — И более шикарные, чем я, дамы, даже с жемчугом на шее, приходят за пенсией...

— И напрасно! Все остальные вдовы должны бы прогнать их и содрать с них ожерелья...

Эти разговоры неизменно кончались новыми спорами. К счастью, с тех пор, как у них был свой дом, молодая женщина почти каждую субботу приезжала со своими знакомыми, клиентами ее магазина, проводившими воскресный день в Кресси, и супруги редко бывали одни.

Чтобы устроить комнату для гостей, Елена прислала целую, вышедшую из моды, домашнюю обстановку, которая в Париже только стесняла ее: комод, обитые гранатовым бархатом стулья, две кровати, этажерку, рабочий стол с треснувшим зеркалом и конторку из красного

дерева, с еще лежавшими в ней бумагами. Воспользовавшись свободным вечером, Жак решил привести все эти вещи в порядок.

Когда он выдвинул, наполненный письмами, большой ящик конторки, перед ним, от движения воздуха, раскрылся лежавший сверху листок. Рассеянно, ничего не думая, молодой человек начал читать, и слова „дорогая моя“ (ведь, так он всегда называл Елену) так и впились ему в мозг... Они сверкнули перед ним так неожиданно, что он вздрогнул и почувствовал, что бледнеет. Сразу же голова его стала пустой, словно в ней промчался ветер. Оглушенный и слишком еще взволнованный, чтобы продолжать, Жак смотрел на листки бумаги. Неужели Елена обманывает его?.. От кого эти письма?

Дрожа, как в лихорадке, он быстро вынул из ящика всю пачку — около сотни конвертов, беспорядочно туда запиханных, позабытых и перемешанных с фотографиями, приглашениями и счетами... Ледяными пальцами принялся он переворачивать страницы.

То были письма Андрэ за все время его пребывания на фронте.

Когда первое изумление Жака прошло, силы покинули его; его сердце бурно билось, а ослабевшие вдруг ноги бессильно подгибались. С расстроенным лицом, он повторял про себя эти два слова, написанные незнакомым ему почерком: „Дорогая моя“. Итак, покойник и он нашли для нее одно и то же обращение. Какое странное совпадение!.. Трясущимися руками молодой человек перелистывал почерневшие на сгибах письма, — страстные послания мертвеца, которые могли быть и его собственными, с одним и тем же нежным приветствием.

Не сходя с места, Жак начал их читать перед открытым ящиком. Все письма были написаны случайно, где и как попало: то на клетчатой бумаге, купленной в бакалейной лавчонке, то на открытке казенного образца, то на вырван-

ном из блокнота листке бумаги и даже на немецкой почтовой карточке, на которой покойник царапал несколько слов, когда солдаты, взяв германскую траншею, обыскивали мешки убитых бошей. Он писал на военных постоях, на передовых позициях, в походных госпиталях: отовсюду он посылал ей письма, и все они были пропитаны тою же страстью, и та же горячая любовь звучала в его словах.

Вся горестная жизнь Андрэ развертывалась в этих посланиях. Сначала они были полны слепого доверия, напоминая какой-то счастливый лепет: „Я доволен, зная, что ты дрожишь за меня. Люби меня, крепко люби меня. Пиши мне ежедневно, говори мне о близком возвращении“...

Потом — первое сомнение, постоянно нараставший страх:

„Прошла целая неделя, а от тебя ни одного письма. Сегодня ночью я опять не ложился, ожидая возвращения посланных за почтой людей. И опять ничего. Что случилось? Умоляю тебя“...

Наконец, отчаяние:

„Ты хочешь меня с ума свести! На какую глупость хочешь ты меня толкнуть?.. Иногда мне хотелось бы знать, что ты состарилась, отцвела и даже, что ты умерла. Тогда у меня была бы только одна мысль: присоединиться к тебе, и пуля, которая ждет меня, была бы мне не страшна“.

И так — на протяжении многих месяцев, и из каждой строчки писем было ясно, что мольбы писавшего оставались без ответа, а его крики — без отголоска. Жак читал, с трудом переводя дыхание. Он не думал, что совершал дурной поступок, нет. Он лишь опустился на колени на краю могилы, он откапывал мертвеца... До этого открытия, он полагал, что знал Андрэ Дельбо, а тут он вдруг понял, что совсем его не знал. Он вдруг

увидел, что то был не простой и бесцветный молодой человек, как он думал, а глубоко чувствовавшее существо, сердце которого было создано для страданий.

Некоторые места Жак, охваченный волнением, читал вполголоса, и, растроганный до слез, он уже не знал, кто так молил эту женщину: он сам или покойник. Но он сознавал, что употребил бы, вероятно, те же слова, те же жалобы и угрозы. И он бормотал их сквозь плотно стиснутые зубы, словно Елена находилась перед ним и могла его слышать...

— Но как могла она не сжалиться над ним? — спрашивал он себя, останавливаясь то на одном месте письма, то на другом. — Как хватало у нее гнусного мужества смеяться и развлекаться?

Иногда чувствовалось, что солдату надоело жаловаться и постоянно повторять одни и те же упреки: тон его становился с каждым днем все покорнее, как будто он смирился окончательно.

„Ах, какая жалость! Я хорошо спал: зачем было просыпаться? — писал он, однажды зимою, из окопов под Кенневиером. — Представь себе, мне снилось, что мы гуляли по „Дороге виноградарей“, и я видел, как ты с жадностью ела сочные гроздья... Кажется, по „Толкователю снов“ — есть виноград считается хорошим предзнаменованием? А впрочем, не все ли равно: добрая или дурная примета, раз это был такой приятный сон. Если мне суждено умереть, я хотел бы, чтобы это случилось во сне...“

Зажмурив на мгновенье глаза, Жак вспомнил зиму 16-го года. Как раз в то время он сделался любовником Елены. Да, это он был неизвестным соперником Дельбо; это его ненавидел Андрэ, совершенно его не зная; это его он боялся, без всякой уверенности в том, кто был его враг. Молодой человек вдруг почувствовал острые угрызения совести. Как он мог так поступать?

Может быть, он сейчас найдет одно из тех писем, которые Елена ему читала при их пробуждении, в кровати. И в его ушах прозвучал, как тогда, ее спокойный голос:

„Видишь, он не жалуется...“

И действительно, Жак не нашел ни одной страницы, где кирасир говорил бы об опасностях, которым он подвергался, о своих лишениях или страданиях. Чувствовалось, что он боялся обеспокоить жену, и если ему случалось обмолвиться: „Вчера мы взяли траншею“, — он немедленно прибавлял: „Ничего не говори об этом маме“. Мать была второй мукой его жизни.

Перед апрельским наступлением Дельбо писал:

„Если со мной случится несчастье, прошу тебя, не оставляй маму... У нее больше никого не будет на свете. Обещай мне не оставлять ее. Для солдата ужасно думать, что снаряд, который его уничтожит, тем же ударом убьет и тех, кого он любит“.

Этот отрывок из завещания дрожал в пальцах Жака. „Не оставляй маму“... Как ответила Елена на эту мольбу мертвеца?.. О, если бы он знал, что его мать прогонят из его дома и что она будет бродить вокруг него, не имея права туда войти!.. О, если бы он знал, что его мать будет нищенкою?

Но мертвые ничего не знали. Ведь, иначе, — разве они позволили бы убить себя?

Завещание повторялось и в других письмах:

„И не позабудь меня так скоро, моя дорогая. Мне кажется, что именно после смерти мы нуждаемся в любви. Живым достаются и слова и ласки: пусть же оставят они мертвым хоть воспоминание“.

С помутившимся взором читал и перечитывал молодой человек это полное отчаяния прощание, в котором несчастный молил об одном — не предавать его так скоро забвению, словно он уже шагнул за его черную дверь.

С минуту Жак колебался: продолжать ли чтение? Его стиснутое скорбью сердце противилось этому. Но потребность знать все взяла верх, и он снова принялся за связку, выпавшую было из его рук.

Андрэ, повидимому, понимал, что он только будет раздражать жену, если станет донимать ее упреками, и в иные дни, довольный тем, что вырвался из траншеи или осчастливленный не слишком сухим письмом Елены, он заполнял целые страницы ребяческой болтовней, воспоминаниями, проектами. Он был похож тогда скорее на любовника, чем на мужа. Он говорил ей: „Сердце, полное прекрасных планов, моя дорогая, дороже туго набитого всяким добром солдатского ранца, ибо эти припасы не имеют веса и никогда не истощаются“.

В другом письме он писал:

„Ты вечно предо мною! Напрасно стараюсь я отгонять этот неотступный образ: моя мысль неизменно летит к нему: мое сердце свило себе гнездо в твоем доме“.

Сидя в окопах на Сомме, где его эскадрон утопал в снегу, Дельбо жаловался:

„Брр... Настоящая фронтовая ночь... Я только что вернулся, простояв два часа на посту; погода мерзопакостная! Я добрался до своего прикрытия весь промокший и измученный; но раньше, чем уснуть, я хочу пожелать тебе спокойной ночи“...

С течением времени такие письма становились все реже, потом прекратились совсем, как бы оборвались... Тон Андрэ сделался еще резче после того, как солдат вернулся из своего последнего отпуска. Не узнал ли он чего-либо? Растроенный, он писал чуть ли не каждый день, прося вечером прощения за брошенные им утром угрозы. Казалось, эти письма писал сумасшедший.

„Если даже я буду убит, это не спасет тебя: я, все равно, вернусь... Я слишком тебя люблю, чтобы оста-

ваться в земле, уступив тебя другому. Я выйду из могилы! На фронте мы не имеем права на саван: я приду его искать в твоей кровати!"

Эти страшные, звучавшие, как проклятие, слова привели Жака в ужас. С минуту, он стоял, не шевелясь, перед пустым ящиком, не смея повернуть голову к темному коридору, который (он чувствовал это) зиял, как черная яма, за его спиною.

„Я выйду из могилы!" — говорил мертвец, и все, казалось, ждало его возвращения в этом населенном призраками доме. С глубоко ввалившимися глазами смотрел Жак на доски пустого ящика, напоминавшего гроб, и долго оставался неподвижным. Наконец, он встряхнулся и, сложив письма в кучу, быстро запер стол и повернул в нем ключ, чтобы не было соблазна открыть его снова.

Среди конвертов молодой человек нашел маленький снимок на эмали, о котором ему говорила старушка Дельбо. Подойдя поближе к лампе, он жадно стал разглядывать юное лицо кирасира, словно надеялся вырвать у него последнюю его тайну.

Андрэ умер, убивая. Но верно ли, что люди, которых он ненавидел сильнее всего, находились под прицелом его ружья на укреплениях Ламота?

Жак потупил голову. Конечно, это так. Злейшие враги Дельбо были, как и для многих других, не перед ним... Мог ли он, после перенесенных им страданий, ненавидеть стоявших против него германских солдат, которых он не знал? И если даже эта порожденная войною ненависть и была у него, то ее быстро притупили проведенные в окопах ночи... Да и зачем ненавидеть? Ведь, и без того убивают друг друга.

С болью в сердце, Жак подумал: „Он ненавидел меня, и в меня он стрелял бы".

И, охваченный жалостью, он смотрел на мертвеца, у которого ему так хотелось вымолить прощение.

Несколько дней спустя, архитектор встретил старушку Дельбо. Это было на распродаже немецкого скота, и „Гора" была превращена для этой цели в базарную площадь. Земледельцы толковали о ценах, ощупывая коров и хлопая лошадей по крупу, а женщины несколько поодаль квохтали, в то же время, вокруг клеток с курами. Птицу продавали по сто двадцать франков за десять штук, да еще давали петуха в придачу. И все же, несмотря на дешевизну, люди относились к этому товару с недоверием.

Старик Наузе, всегда мрачно настроенный, отговаривал покупателей.

— Будет то же самое, что и в последний раз, — предсказывал он: — все они подохнут и отравят ваши курятники... Боши привили им холеру, уверяю вас. Рассмотрите-ка их поближе: держу пари, что у них опухшее горло.

Жак, уже несколько дней искавший встречи со вдовою Дельбо, заметил ее на рынке и отвел в сторону.

— Вот что я нашел для вас среди бумаг, — сказал он ей.

И передал ей фотографию сына. Бедная старушка быстро пристегнула медальон к своему корсажу и, поблагодарив со слезами на глазах архитектора, побежала к стоявшим над клетками кумушкам, чтобы показать им портрет.

— Какой счастливой вы ее сделали, — заметила Жаку маленькая учительница, бросив на него полный признательности взгляд. — Право, чем дольше я вас знаю, тем добрее вы мне кажетесь.

Почувствовав, что она покраснела, молодая девушка прибавила с лихорадочной торопливостью робких по своей природе женщин:

— Я тоже не злая и, где могу, я делаю добро; но при этом я всегда спрашиваю себя, не поступаю ли я так из эгоизма, ради удовлетворения своей глупой сантиментальности.

Жак, не отвечая, улыбнулся и пожал ей руку. Он знал, с каким самоотвержением учительница заботилась о бедных малютках, посещавших ее школу, обо всех ребятишках, осиротевших по милости войны, и мальчиках „Общественного призрения", которых воспитывали чужие семьи. Она смело выступала против всего, что ей казалось несправедливым, и уже получила выговор от своего учебного начальства за то, что, в качестве представительницы родственников убитых солдат, спорила с Бузье во время раскапыванья могил.

После объезда податным инспектором округа Кресси, Ганье тоже стал коситься на учительницу. Обычно, финансовый контролер, прежде чем определить размер налога, причитавшегося с того или иного обывателя, наводил справки у раскладчиков, которых назначал для этой цели Муниципальный Совет; вполне понятно, что большинство этих господ пользовалось своим положением для мести своим врагам. Им вредили, показывая, что они богаты, а тем из потерпевших, которым удалось отстроиться раньше всех, или которым Комиссия назначила слишком крупное вознаграждение за военные убытки, приписывали скрытые ими ресурсы, причем лучшим способом сделать пакость земледельцу считалась неумеренная похвала плодородию его поля.

— Такой-то? Да, его вы можете смело обложить: у него есть чем заплатить... Этот плут сумел получить и за паровой плуг, которого у него никогда не было, и за кабриолет, который он продал за три месяца до

войны. У него, правда, только тридцать гектаров земли, но зато она в отличном состоянии и ничуть не пострадала от военных действий. Да, вы не рискуете ошибиться: с него можно содрать...

Желая отомстить кооперативу, из которого он вынужден был уйти, Ганье приписывал его несостоятельным членам источники доходов, которые никому не пришли бы в голову, и, будь это в его власти, он удвоил бы налог с архитектора и с Дидье Роже.

Вот тут-то учительница, предложившая обремененному работою чиновнику свои услуги в качестве секретаря, вмешалась, на имея на это права, в разговор и сумела восстановить истину. Ганье не мог ей это простить и все искал случая сделать ей неприятность.

„Бедняжка, — подумал Ле-Водуайе, глядя, как ее маленькая, худая фигурка исчезла в толпе горланивших людей. — Кто решится ее защитить?"

После своего открытия, Жак несколько раз поднимался в верхние комнаты дома, чтобы перечитать еще и еще раз письма Андрэ. Они и притягивали его и пугали в одно и то же время.

Сидя за открытым яшиком конторки, он раскладывал их на круглом столике, брал в руки одно за другим и старался восстановить события день за днем, начиная с отъезда в Лаффо.

Можно было точно определить, в какой именно момент доверие Андрэ к своей жене ослабело в нем. „Почта работает неправильно, — жаловался он: — твои письма не доходят до меня". Да, именно тогда он и начал, должно быть, беспокоиться. Затем, видя, что Елена ему не отвечает, он стал тревожиться еще сильнее. Его тон стал резче. „Прошла целая неделя, а от тебя ни строчки. У тебя, конечно, много работы, но и у меня ее не мало, да и притом мое дело не всегда приятно.

А потому я буду отвечать только на те письма, которые ты будешь мне посылать".

Но эта угроза оказалась для него слишком большим самоотречением. Должно быть, молчание Елены причиняло ему сильные страдания, и он расстраивал себя, думая, что молодая женщина для него погибла. Тогда, чтобы удержать ее и сохранить для себя, он писал ей пропитанные страстными мольбами страницы, словно его жалкие слова, как протянутые руки, могли ее схватить...

С мучительным любопытством, словно не зная развязки, Жак читал эти письма. Он терзался, он надеялся, он приходил в ярость вместе с солдатом. Он жадно вникал в некоторые его гневные выражения, он следил за его полными надежды фразами, и, мало-по-малу, с ним произошла странная метаморфоза: архитектор забыл, что он был в то время любовником Елены, а тот другой — ее мужем, жертвою: сердце мертвеца и его собственное, столь похожие друг на друга, слились в одно.

„Молю бога, чтобы он заставил тебя выстрадать столько же, сколько и я, — писал однажды кирасир. — А если ты встретишься с честным человеком, я поручу ему отомстить за меня".

Еще через несколько дней Жак смотрел на Елену уже глазами покойного.

Он не считал ее жестокою, нет, а только бесчувственной. Ей следовало бы отказаться от развлечений, стараться думать об отсутствовавшем, противиться ухаживаньям мужчин. А она? Она предпочитала плыть по течению, веря в свое счастье и надеясь, что все устроится.

В свое оправдание, она, вероятно, говорила как и другие: „Что делать — война..." Может быть, она даже писала в этом тоне своему мужу, потому что в одном из писем Андрэ было сказано:

„Да, знаю, что ничего тут не поделаешь, — война! Все, значит, дозволено: купец может красть, женщина — развратничать, а военно-полевой суд — расстреливать несчастных. Ничто не принимается в расчет: война — и кончено! Короче говоря, она оправдывает все подлости и все преступления. Тыл, который погряз в пороках, бросает нам в лицо эти слова, когда мы в ярости сжимаем кулаки. Война все покрывает: она прибежище мерзавцев и негодяев.

„Победители вернутся на костылях, их очаги будут разрушены, а семейное счастье разбито. Не беда! Зато кое-кто славно повеселился: война..."

С каждым днем письма Андрэ становились все тоскливее. Он кричал, как человек, которого ведут на казнь и который, по мере того, как он удаляется, напрягает все сильнее свой голос, чтобы его было слышно.

Тяжело дыша и опершись сухими ладонями о мрамор столика, архитектор читал жуткие послания солдата. Какая же душа была у этой женщины, если она оставалась глухою к его крикам? Жак сердился на нее, словно все эти муки она причиняла ему самому. Он сердился на нее и за то, что она сделала из него своего сообщника.

Содрогаясь всем телом, он повторял вполголоса:

— Я ей скажу... Я должен ей сказать... Непременно должен...

Но, охваченный смятением, он не знал, на что решиться. Он лишь чувствовал внутри себя полный хаос.

Он уже не знал, любил ли он еще Елену или ненавидел ее. Были минуты, когда ему хотелось немедленно уехать из Кресси, чтобы уйти из-под власти охвативших его чар, но уже через час это желание исчезало, и он понимал, что должен остаться навсегда в этом городке, там, где должна была свершиться (он смутно это чувствовал) его судьба.

В субботу его жена должна была приехать с вечерним поездом, и волнение молодого человека достигло крайней степени. В этот день, на соседнем кладбище, откапывали мертвецов, причем собирались вскрыть братскую могилу, в которой, с 1917 года, покоилось свыше двадцати неизвестных солдат. Ле-Водуайе пошел туда.

Несколько ям уже было разрыто, и в глубине одной из них виднелся старый сосновый гроб, а на дне другой лежал убитый, в шинели и без савана, прямо в земле. На таких, приличия ради, набрасывали брезент.

Вокруг могильного холма переругивались рабочие. Одни из них пошли в ближайший кабак; другие, для которых уже не было ничего отвратительного, закусывали тут же, сидя на носилках; третьи проклиная кого-то, продолжали копать.

Родственники, с самого утра и полные нетерпения, ожидали со страхом у открытых ям, откуда еще не извлекли ни одного трупа.

— Я ничего не могу сделать, — отвечал на их жалобы смотритель. — Гробы еще не доставлены, и мы не можем начать.

Тогда несчастные накинулись на правительственного чиновника, который, со скучающим видом, сказал:

— Это очень печально, я сам это знаю, но что же мне делать?.. Я присутствую здесь лишь для удостоверения личности убитых, а все остальное меня не касается... Надо ждать подрядчика.

Перед одной из зиявших могил рыдала, стоя на коленях, женщина. Ее черная юбка вся была испачкана мокрым песком и глиной. Если бы она наклонилась и протянула руку, то могла бы коснуться гроба, сквозь разошедшиеся доски которого виднелся клочок сукна защитного цвета.

К волновавшимся родственникам присоединились местные жители, а также, может быть, и несколько

тайных агентов конкурента Бузье, посланных им в надежде вызвать скандал. И действительно, с минуты на минуту протесты становились все энергичнее и громче. Больше всех шумел маленький садовод, которому платили двадцать пять франков в год за то, что он смотрел за военным кладбищем и которого перегруппировка мертвецов должна была лишить заработка.

— Он издевается над вами, ваш подрядчик! — вопил этот субъект. — Каждый вагон с трупами приносит ему тысячу двести франков, — больше ему и не надо!

Другие поддерживали крикуна, а плакавшие женщины топали от ярости ногами.

Наконец, на дороге послышался звук автомобильного гудка: то подъезжал Бузье с партией гробов. Когда он слез с грузовика, в толпе раздалось несколько сердитых возгласов, а садовод принялся свистать; но подрядчик и головы не повернул, а спокойно направился к могильному холму, расталкивая локтями людей.

Там он напал на своего смотрителя.

— Вот как вы работаете, когда меня здесь нет! Прекрасно! Мы с вами потом поговорим!

Затем он повернулся к рабочим:

— Ну, поворачивайтесь! Разгружайте машину и опорожняйте ямы!

Бузье был в таком настроении, что соваться к нему не следовало. Впрочем, с тех пор, как он получил за услуги, оказанные им опустошенным областям, орден Почетного Легиона, он считал, что ему все позволено.

Пока освобождали от гробов грузовики, — те самые, покрытые брезентами, грузовики, на которых перевозили войска из тыла на передовые позиции, — подрядчик разгуливал вдоль могил, опустив, как усталая лошадь, голову и надвинув на глаза фуражку.

— Увидим, кто здесь распоряжается, — ворчал он.

И, протирая углом носового платка стекла своих очков, он вызывающе косил глазами в сторону недовольных.

Какой-то человек, одетый, повидимому, в свое праздничное платье, с крепом на рукаве, подошел к нему и вполголоса что-то ему сказал.

— Ну, так что же?—возразил ему Бузье.—Разве я виноват, если гробы не прибывают? Я не сижу в них... Если бы мой образец был принят, этого бы не было...

И, повернувшись спиною к смущенному жалобщику, он пошел дальше, сердито бормоча:

— Столько трудиться из-за каких-то несчастных шестидесяти тел да еще иметь неприятности! Ну, нет! слуга покорный!..

Рабочие тотчас же принялись за дело. Ударом заступа они быстро вскрывали старые, уже разъехавшиеся, деревянные ящики, привычным движением заворачивали мертвецов в саваны и укладывали их в новые гробы. С теми покойниками, родственники которых присутствовали при этом, могильщики, в надежде на чаевые, обращались учтивее и внимательнее.

Носильщики, работая попарно, беспрестанно ходили от огромного рва к дороге,—то туда, то назад,—и устанавливали гробы, как ящики с товаром, на грузовики. Усевшись на чьи-то смертные останки, один из рабочих крикнул вдруг женщине, обещавшей ему сто су:

— Ваш в семнадцатом номере!

Бузье, побаиваясь чиновника, следил за правильным ходом работы, но как только тот на минуту отворачивался, он торопил своих людей:

— Скорее, скорее! Мы и без того опоздали. Гроб хорошо запаян!.. Да, нет же, не надо никакой дезинфекции!..

Вдруг Жак, стоявший в стороне, заметил, как одна из женщин, отделившись от своей группы, заговорила

с подрядчиком. Он узнал мать Андрэ Дельбо и тотчас же подошел.

Бузье, всмотревшись в старуху, подскочил на месте и скрестил свои длинные руки.

— Как! — воскликнул он. — Вы опять тут!.. Нет, это уж слишком!.. Я положительно не могу прийти ни на одно кладбище, чтобы не увидеть вас среди моих рабочих. Этому надо положить конец! Когда я захочу, тогда и вскрою братскую могилу! Я не обязан вам давать отчет!

Маленькая учительница, сопровождавшая мать Андрэ, услышала гневный голос подрядчика и, без всякого дурного намерения, просто для того, чтобы увести бедную женщину, подошла ближе, но взбешенный Бузье, думая, что девушка хочет вмешаться в разговор, вспыхнул, как костер, и прежде, чем она раскрыла рот, напустился на нее:

— Вы, голубушка, занимайтесь лучше своим делом!.. Ведь, это не ваш муж, неправда ли! И не брат? В таком случае, ступайте домой! Вас не спрашивают!..

Побледнев и стиснув зубы, Жак подошел вплотную к подрядчику и, схватив его за плечо, резко повернул к себе, так что они очутились лицом к лицу.

— Если бы тот, кого они ищут, стоял живым перед вами, осмелились ли бы вы говорить таким тоном? — спросил молодой человек, дрожа от гнева и не разжимая своих судорожно стиснутых пальцев. — Разве вы имели бы тогда этот наглый вид, разговаривая с матерью, если бы здесь присутствовал ее сын? Вы были бы повежливее, неправда ли?

Собралась кучка любопытных.

Бузье, в первую минуту изумленный, выпрямился и попытался освободиться от державшей его руки.

— Пустите-ка меня, любезный, — потребовал он, побледнев. — Что за манеры?

Но Жак не выпускал его.

— Манеры человека, которому вы внушаете ужас,— ответил он, глядя ему прямо в глаза. — Вы торгуете руинами, трупами, вы отвратительнее всех кладбищенских ворон...

Подрядчик хотел, было, оттолкнуть архитектора.

— Убирайтесь к чорту! — закричал он.

И заорал еще громче:

— Эй! эй! сюда! На помощь!

Тогда Жак схватил его обеими руками и, держа его перед собою, произнес дрожавшими от ярости губами:

— От вас несет мертвечиной... Вы наживаетесь на покойниках! Но знайте, почтенный, что все вы, обогатившиеся на нищете и страданиях других, дадите в этом отчет! За все вы заплатите, и очень дорого!..

В это мгновенье, привлеченный шумом, прибежал, со своими работниками, смотритель и освободил своего хозяина.

— Так его! так! — кричала вокруг толпа.

— Вор! — орал маленький садовод, прячась за чужие спины.

Обе женщины с трудом увели Жака, лицо которого стало багровым, а ноги подкашивались.

А на кладбище бесновался Бузье, обращаясь к своим людям.

— Вы свидетели, — кричал он, — что этот человек меня ругал!.. Меня, который работает для правительства, меня, которому пожаловали орден... Хорошо, хорошо! Он еще услышит обо мне! Я его упрячу в тюрьму! Да, в тюрьму!

Вечером, когда приехала Елена, Жак весь еще дрожал. Он, конечно, старался скрыть свое волнение, но

это было трудно, и он должен был рассказать жене все, что произошло днем, не упомянув, однако, о старухе Дельбо. Молодая женщина посмотрела на мужа с состраданием.

— Ты никогда не переменишься, — сказала она, пожав плечами. — У тебя какая-то мания вмешиваться во все, что тебя не касается.

Жак, в душе, был доволен, что ничего не скрыл от Елены: таким образом, — думал он, — она не станет доискиваться причин его волнения, и можно будет не говорить ей о письмах Андрэ до тех пор, пока не наступит подходящий момент.

Переписка убитого солдата прочно засела в голове архитектора. На языке у него беспрестанно вертелись фразы и выражения, которые он знал наизусть, — столько раз он их читал, — и ему приходилось делать большие усилия, чтобы не произносить их вслух. Разговаривая с женою о разных делах, он внимательно ее разглядывал, и его преследовало странное желание отвечать ей словами Андрэ. Он находился в том состоянии душевной неуравновешенности, когда какая-то темная сила коварно толкает человека сделать какую-нибудь бессмысленную глупость, которой он не хочет, но которую он всетаки сделает, лишь бы избавиться от навождения.

В воздухе пахло грозою. Небо над Бреном было черное, цвета заводской сажи, где-то рокотал еще далекий гром, и тяжелые тучи, увлекаемые сильным ветром, закрыли весь небосклон. Все как-то изменилось. Серые сумерки искажали очертания предметов, а звуки как бы отскакивали от сгустившейся вдруг атмосферы. Всем было как-то не по себе, стало душно, и нервы были натянуты.

— Надо вернуться домой, — сказала несколько раз Елена.

Но Жак, сам не зная почему, удерживал ее. Может быть, он опасался, как бы ей не пришла в голову мысль подняться в верхние комнаты, чтобы привести их до наступления ночи немного в порядок, и он боялся, что она может найти письма.

В одно и то же время, он желал и страшился объяснения, которое — он это знал — будет роковым.

Молодой человек играл со своим страхом, как это бывает вечером с человеком, когда он идет вдоль реки и невольно к ней приближается. Он подходит к самому берегу, смотрит, потом пугается и быстро отходит в сторону... Голова Жака кружилась в предчувствии чего-то неизвестного.

„А что будет потом?.. Что она сделает?"

Елена начала, наконец, смущаться под не покидавшим ее пристальным взглядом мужа.

— Чего ты так смотришь на меня? — раздраженно спросила она, вставая с кресла.

Жак отвернулся, все еще не решаясь на разговор.

— Ничего, — ответил он, подымаясь, в свою очередь. — Пойду, уберу стулья: наверно, будет дождь...

И, в самом деле, едва они вошли в дом, как крупные капли тяжело зашумели в саду; небо разодрала вдруг молния, загрохотал гром, и начался страшный ливень, вперемежку с градом, барабанившим об оконные стекла. Почти сразу стало темно, и пришлось зажечь лампу.

Жак сел боком на стул; он облокотился на спинку и уткнулся подбородком в согнутую руку, мечтательно глядя на окутанный мраком сад.

При каждом ударе грома Елена, хоть и не боявшаяся грозы, вздрагивала. Видя, что муж все молчит, она, в конце концов, потеряла терпение.

— Ну, и весело же здесь, — сказала она вполголоса.

Жак, попрежнему, не отвечал. Елена сердито спросила:

— О чем ты все думаешь?

Лицо молодого человека оставалось бесстрастным.

— О том, что я сегодня видел, — произнес он вдруг каким-то далеким голосом, словно все еще был во власти грез. — Об этих двадцати неизвестных солдатах, могилу которых вскрыли слишком поздно и которым придется провести под дождем свою последнюю ночь в окопе... Долго же они ждали свою смену...

Странный тон этих слов заставил вздрогнуть молодую женщину, которую гроза привела в нервное настроение.

— Ах, не говори мне об этом, — сказала она, качая головою, словно для того, чтобы прогнать какую-то мысль. — Найди какую-нибудь другую тему...

В мозгу Жака моментально промелькнула одна фраза, выскочила само собою из головы и неудержимо завертелась у него на устах.

Надтреснутым голосом и чувствуя, как бурно билось его сердце, он медленно произнес:

— Живым достаются и слова и ласки; пусть же оставят они мертвым хоть воспоминание...

Он поник головою, как бы после огромного усилия. Последовало короткое молчание. Жак не смел взглянуть на Елену. Ему чудилось, что она вся побелела и сидела с широко раскрытыми глазами. Но нет... Через минуту она безмятежно ответила:

— Это верно... Бедные.

И, протянув руку, она взяла наудачу номер журнала, чтобы посмотреть иллюстрации. Она ничего не заметила, не вспомнила фразу Андрэ.

Молодой человек вздохнул с облегчением. Тем не менее, он продолжал наблюдать исподтишка за Еленой, и когда, при взгляде на одну картинку, она улыбнулась, улыбнулся и он, но с горечью в душе... Письма Андрэ? Да она давно забыла о них. Да и читала ли она их

до конца? И Жаку, пока он рассматривал жену, припоминались другие фразы Дельбо. И опять болезненное желание повторить слова убитого охватило его еще сильнее, чем раньше. Не может быть, чтобы она забыла все, до последнего звука... Ну, а если это так? В таком случае, почему же не пойти немного дальше? Сразу видно будет...

И, поколебавшись еще с минуту, Ле-Водуайе внезапно, без всякой связи с тем, что он говорил раньше, произнес:

— Сегодня ночью мне снилось, что мы гуляли по „Дороге виноградарей“, и я видел, как ты с жадностью ела сочные гроздья. Кажется, по „Толкователю снов“, есть виноград считается хорошим предзнаменованием?

Елена не шелохнулась.

— Почем я знаю? — ответила она, не подымая глаз.

С недоброй улыбкой на губах Жак нервно повел плечами. Он смеялся над самим собою, над своей наивностью. Она не узнавала ни одного слова, ни одного!..

И он начал жестокую для его сердца игру: то тут, то там, он вставлял в разговор отрывки из писем Андрэ, но молодая женщина, помогавшая прислуге собирать на стол, казалось, ничего попрежнему не замечала...

Архитектор не мог ничего есть: с трудом проглотил он несколько ложек супу. Его вялость еще сильнее раздражила Елену.

— Да что с тобою, наконец! — вспылила она. — У тебя какая-нибудь неприятность? Почему у тебя такое лицо?

— Да нет же, ничего, — уверял ее Жак. — Может быть, я немного переутомлен.

А между тем, уши у него горели, и кровь стучала в виски.

— Здесь можно задохнуться, — сказал он, вставая из-за стола. — Могу я открыть окно?

— Пожалуйста, — разрешила она, не подымаясь с места.

Дождь перестал, но ветер все еще раскачивал деревья, и слышно было, как капли воды падали на мокрый песок садовой аллеи. Огонь в лампе заплясал.

— Стекло треснет, — сказала Елена, кладя локти на стол.

И, ни о чем не думая, она стала смотреть своими большими, спокойными глазами на метавшееся пламя.

— Как здесь тоскливо, — произнесла она через секунду, чтобы нарушить молчание. — Ты никогда не скучаешь?

— Нет, я думаю о тебе, — все тем же далеким голосом ответил Жак. — Ты вечно предо мною. Мое сердце свило себе гнездо в твоем доме.

Лицо молодой женщины ничего не отразило. Она лишь повернула голову и с легким беспокойством взглянула на мужа. Помолчав, она полураскрыла губы и прошептала:

— Это очень мило...

Она еще не понимала, но что-то дрогнуло, на этот раз, в ее памяти. Можно было подумать, что тень мертвеца мелькнула перед ней. И вдруг, безо всякой видимой причины, она ощутила тревогу.

В это мгновенье послышался треск, и лопнувшее стекло рассыпалось по столу.

— Я так и знала! — сердито сказала Елена, вставая с места.

Она задула лампу, которая начала коптить, и снова села.

— Для того, что мы здесь делаем, хватит света, — тихо проговорила она.

Жаку незачем было видеть жену: он чувствовал и без огня, что ей не по себе, и почти слышал биение ее сердца. Вперив глаза в непроницаемую тьму за окном и весь дрожа, он произнес вполголоса:

— Настоящая фронтовая ночь... Я только что вернулся, простояв два часа на посту; погода мерзопакостная. Я добрался до своего прикрытия весь промокший и измученный; но раньше чем уснуть, я хочу пожелать тебе спокойной ночи...

Оттолкнув нервным движением свой стул, Елена поднялась.

— Что ты такое говоришь? — сказала она прерывистым голосом. — Что это такое?

Она скрестила на груди руки и посмотрела на мужа долгим взглядом.

Жак почувствовал, что трепавшая его до той минуты лихорадка сменилась вдруг ознобом. Выпрямившись, он подошел к молодой женщине, лицо которой выделялось в темноте белым пятном.

— А! — произнес он, с трудом переводя дыхание. — Наконец-то ты узнала! Да, это из письма Андрэ... Я нашел их в ящике конторки и все прочитал...

Елена пошатнулась, но ничего не ответила.

— Почему ты причиняла ему столько страданий? — продолжал архитектор, подходя к ней вплотную. — Неужели это доставляло тебе удовольствие?.. Почему ты скрыла все это от меня, когда я с тобой познакомился? Почему ты лгала? Теперь я зол на тебя, понимаешь?.. Мне стыдно, что я его обманывал, и меня мучат угрызения совести...

Елена овладела собою и оттолкнула мужа.

— Ты опять начинаешь! Оставь, пожалуйста! Умоляю тебя! — проговорила она раздраженным голосом. — Каждую неделю новые сцены! Я больше не могу, я измучена!.. Ты нашел письма Андрэ? Ну, что ж,

тем хуже... Тебе незачем было их читать. Сожги их и покончим с этим!..

Жак глазами следил за нею в полусвете раскрытого окна.

— Сжечь их? И это все, что ты придумала в ответ? Очевидно, ты даже не понимаешь того, что он тебе писал. Ведь он молил тебя, ненавидел и проклинал, — неужели ты забыла?.. Целые месяцы ты мучила его... Я начинаю думать, что ты не хотела его возвращения, что ты желала его смерти... Да отвечай же, отвечай!..

Отрывистым голосом Елена произнесла:

— Я больше не любила его...

Лихорадочное состояние Жака передалось молодой женщине. Она вся дрожала. И, как бы считая своим долгом оправдать свое поведение, она продолжала:

— И я имела право не любить его больше... Он стал властным и подозрительным; он ревновал меня ко всем мужчинам, с которыми я встречалась... Если бы он вернулся, жизнь с ним стала бы невозможной...

Тогда, мягко и настойчиво, точно на исповеди, Жак стал задавать ей вопросы.

— Значит, ты находила, что было бы лучше, если бы он не вернулся, да?..

Елена молчала.

— Ты надеялась на это, неправда ли? — шопотом выспрашивал ее Ле-Водуайе. — Ведь, если бы он вернулся с войны, вы разошлись бы, и ты, перестав быть хозяйкой магазина, потеряла бы все?.. Если ты не бросала Андрэ, то из-за дела, неправда ли? Иначе, ты порвала бы давно?.. Отвечай же!

Чуть слышно, она призналась:

— Да, я ушла бы.

— Но ты этого не сделала, чтобы место осталось за тобою, — продолжал тем же тоном Жак. — Ты ждала, ты надеялась...

Она поняла, наконец, его мысль и стала защищаться.

— Ничего подобного: я надеялась...

— Нет, ты надеялась, что, может быть, его убьют, и ты заново построишь тогда свою жизнь и будешь еще счастлива...

Жестокая спазма сжала горло Елены и, задыхаясь, она созналась:

— Да... правда... Я думала об этом.

Сердце Жака почти остановилось.

— Ты не горевала, когда он умер?

— Нет, не очень...

Молодой человек опустился в кресло, на котором обычно сидел перед камином Андрэ.

— Ты внушаешь мне страх, — сказал он, охватив голову руками. — Мне стыдно за нас...

И ему вспомнилась Елена, какою он встретил ее в Тюильри, после смерти мужа. В глубоком трауре, но очень коротком платье, она оживленно болтала с ним своим высоким голосом. Прохожие оборачивались на эту странную вдову.

— Да, я был слеп, — пробормотал Жак. — Я сразу должен был понять, какая ты женщина...

Эти слова уязвили и рассердили Елену.

— Ну, тебе-то я ничего не сделала, во всяком случае! — вспылила она, снова став самоуверенной. — Я не любила больше моего мужа, это верно, но ты с радостью воспользовался этим.

— А его последние письма, в апреле? — возразил, вставая, Жак. — Он упрекал тебя, что ты развлекаешься, почти не сидишь дома... Но ты развлекалась не со мной, потому что тогда я с тобою еще не встречался. Значит, это было с кем-то другим... С твоим покупателем — англичанином в мундире, не так ли?

Елена, глядя ему прямо в лицо, презрительно ответила:

— Ты тоже ревнуешь?

— Успокойся: меньше его! Только он один мог так страдать, потому что никто другой не мог так любить тебя, как он...

Вдруг, нервы молодого человека ухватились, точно щупальцы, за одну мысль, которая, словно наитие, осенила внезапно его мозг.

— Никто другой, — повторил он, — даже Жоссесын...

Они стояли так близко друг к другу, что, несмотря на темноту, Жак уловил, как дрогнули губы его жены.

— Скажите, пожалуйста! — злобно отпарировала она. — В таком случае, позволь тебе напомнить о твоей маленькой учительнице.

Ее низкое коварство возмутило Жака.

— Замолчи! — приказал он. — Я эту девушку почти не знаю. И еще сегодня днем она была там, где следовало быть тебе. Она сопровождала мать Андрэ на кладбище...

— Мне незачем туда ходить, — упрямо возразила Елена. — Я не хочу больше видеть эту паршивую старуху!

Жак незаметно приближался к жене, заставляя ее отступать перед собою.

— А Андрэ, — спросил он, вытягивая шею. — Его-то ты хотела бы увидеть?

Молодая женщина, нащупав позади себя стул, тяжело опустилась на сиденье. Она вся дрожала. Жак, с его угрюмыми глазами, вытянутыми чертами и хриплым голосом, стал внушать ей вдруг ужас.

— Оставь меня, — произнесла она умоляющим тоном, как бы защищаясь от наступавшего на нее мужа.

Но он уже не слушал ее. Всякое самообладание его покинуло. Казалось, какая-то темная сила неудержимо толкала его вперед...

— Он там, совсем близко, — медленно проговорил он, вытянув руку по направлению к сырой ночи. — Там, в яме, вместе с товарищами... Его не нашли, потому что ты ни разу не пришла. Он ждет тебя. Его первый взгляд, когда откроют его могилу, будет искать тебя... Ты должна быть там!..

— Нет, нет! — еле слышно и вся дрожа сказала Елена. — Я не хочу... Мне было бы страшно...

Но Жак, наклонившись к ней, упорно продолжал, задыхаясь от гнева:

— А!.тебе было бы страшно, тебе было бы страшно!.. А почему же ты не боялась, читая его письма?.. Ведь, он предупреждал тебя!.. „Я слишком тебя люблю!.. Я вернусь!.. Мы не имеем права на саван, но я приду за своим к тебе в кровать!..“ Помнишь?.. В кровать!..

Она сидела, как прикованная к стулу, стараясь оттолкнуть мужа вытянутыми вперед руками.

— Оставь меня, — умоляла она: — оставь меня!

— Он там!.. Он скоро придет! — продолжал, словно безумный, Жак. — Он сам сказал тебе это. „Я не останусь в своей яме: я выйду оттуда!“ Неужели ты не видишь?..

Елена порывисто вскочила, уронив стул.

— Замолчи!.. Жак, замолчи! — крикнула она не своим голосом, хватаясь за голову. — Замолчи!..

В ее вопле было столько смертной муки, что Ле-Водуайе испугался, как бы с женой не случился нервный припадок. С искаженным лицом и с тяжестью в ногах он отступил на несколько шагов. В его мозгу не было ни одной мысли. Машинально, ничего не сознавая, он начал ощупью собирать рассыпанные по столу осколки лампового стекла. В темноте он слышал, как стучали зубы Елены.

Вдруг, сильный порыв ветра резко распахнул окно и ворвался в дом вместе с шумом деревьев и с холодным дыханием ночи.

Елена, все тело которой сотрясалось от судорожных, без единой слезы, рыданий, прошла, как автомат, через комнату, чтобы задернуть оконную занавеску. Жак едва успел заметить, как она нагнулась, потому что, в то же мгновение, одним прыжком она отпрянула назад, испустив сдавленный, душу раздирающий крик женщины, которую душат.

— Андрэ!.. Там!.. В саду!.. — прохрипела она, плотно прижимаясь к стене.

Ле-Водуайе, охваченный ужасом, невольно отступил назад. Он перестал вдруг соображать... Вся кровь отлила у него от головы, и он закачался, чувствуя, как все закружилось вокруг него. В одну секунду десятки разнообразных мыслей пронизали его мозг... „Там... Андрэ... Он пришел...“ Но почти тотчас же, и вполне сознательно, он сказал самому себе: „Я зашел слишком далеко: она, кажется, сходит с ума“.

И, сделав над собою усилие, он подошел к окну и, высунувшись в него, посмотрел в сад.

Его оглушило, словно ударом, и он чуть не упал. Весь похолодев от невыразимого страха, он судорожно вцепился руками в подоконник, чувствуя, что лишается рассудка.

Внизу, под ним, на темной ленте аллеи стоял солдат с каской на голове. Вся его фигура был окутана мраком, из которого выступало мертвенно бледное лицо с большими, провалившимися глазами и со страшным пустым ртом, который захлебывался от смеха...

Жак, напрягши все свои силы, оторвался от окна. Прыгнув назад в комнату, он устремился к Елене и, схватив ее в свои объятия, прижался, как и она, лицом к стене, и принялся, вместе с нею, испускать дикие вопли.

XII.

Почему солнце было таким красным, когда оно садилось за Лаффо? В одно мгновенье, лучи его зажгли огромным заревом дремавшие на горизонте тяжелые тучи. Ветер мчался над самою землею, плотно прижимаясь к полям и заставляя трепетать траву.

Было уже, должно быть, довольно поздно: на ясном небе показался воздушный рог полумесяца. Пахавший крестьянин взялся за выпущенную, было, ручку плуга и закричал: „Но...о". „Он хотел, прежде чем вернуться домой, кончить свой участок.

Пашня, словно зарубка, вклинивалась в красную зону, и засыпанные траншейные ходы обрисовывались на ней более светлыми и смешанными с мелом пластами. Все пространство вокруг оставалось еще необработанным. Почва, казалось, все еще лежала, застыв в ужасе, и сквозь мешки с окаменевшею землею, из которых сооружали брустверы, не могла пробиться даже сорная трава.

С этой стороны вверх тянулись только завитки колючей проволоки, да заржавевшие штыки, рукоятки которых торчали наружу.

Какая же должна была происходить здесь бойня, как беспощадно должны были люди истреблять здесь

друг друга, чтобы усеять всю землю вокруг бесчисленными лоскутьями кожи, продырявленными противогазами, сломанными ружьями. А сколько валялось здесь пожелтевших смертных останков и обломков черепов, отполированных временем и дождями, как валуны... Разве костей никто не собирает?

Налегая на плуг, крестьянин не переставал смотреть на окружавшие его печальные поля. Дойдя до конца борозды, до того места, где переплетавшиеся колена окопов отмечали границу, он остановился и повернул лошадь. В ту же минуту почва у его ног слегка приподнялась.

— Что такое? Полевая мышь?

И ударом сапога он раздробил шевелившуюся глыбу земли. Но содрогание почвы не только не прекратилось, а стало распространяться. Поле, казалось, хотело приподняться, и остолбеневший земледелец смотрел, ничего не понимая, как ширилась и росла борозда.

Лошадь пахаря, с ощетинившеюся от страха шерстью, тоже остановилась и начала, фыркая, оседать на задние ноги. Крестьянин, которым окончательно овладел ужас, стал пятиться назад, обливаясь холодным потом. Через несколько минут перед ним был уже довольно глубокий ров. Еще немного земли соскользнуло вниз, и на дне ямы задвигался какой-то предмет, стряхнул, казалось, с себя песок, и пораженный земледелец увидел солдата, мертвого солдата в синей шинели, который, опираясь на локти, смотрел на него в упор своим безжизненным взглядом.

Крестьянин не имел даже силы, чтобы крикнуть; руки его парализовал безумный испуг, а искаженное лицо покрылось смертельной бледностью. Когда он осмелился поднять глаза, голова у него закружилась, и все вокруг него заплясало.

Ему показалось, что вся пустошь вдруг зашевелилась, словно всюду, в глубине ее, действовала какая-то скрытая сила. На всей ее поверхности забурлили, как волны,

земляные холмики и протянулись канавки. Чувствовалось, что под почвой пульсировала какая-то странная жизнь, рвавшаяся наружу: то старались подняться из своих темных ям мертвецы.

Могилы не пускали их, затвердевая над ними каменистым покровом, но трупы напрягали свои мускулы, вытягивали свои затекшие ноги, и, под напором их плеч, подавалась земля и осыпались траншеи, разрушаемые ударами их тяжелых сапогов. И мертвые тела все выходили и выходили на божий свет...

В одну минуту они заполнили все пустынное поле. С глазами, еще окутанными мраком, шатаясь и качаясь, они вставали изо рвов и канав, медленно сбрасывая с себя свои земляные саваны.

— Мертвецы! — хотел крикнуть в великом ужасе крестьянин.

Но его горло не издало ни малейшего звука, а застывший рот не шевельнулся. Словно потеряв вдруг свой вес, человек сделал огромный прыжок и сразу же, без единого шага, очутился на околице городка, очень похожего на Кресси, но с Марувальской фермой на центральной площади. Все население его было на ногах, кричало и шумело.

Вопли и стоны панического страха наполняли улицы. Люди куда-то убегали, не одетые, босые. По дороге из городка улепетывали тележки и автомобили. У окна своего дома стоял и взывал к кому-то Ганье, в своем трехцветном поясе мэра, а смертельно перепуганный Вору никак не мог стащить с себя свой прусский мундир.

Словно по волшебству, вдали показались вдруг и Шемен-де-Дам, и развалины Крана, и все холмы полей недавних битв, покрывшиеся внезапно толпами грязных и безоружных солдат, которые быстро приближались, словно для них наступила, наконец, великая и последняя смена.

Жители городка, проснувшиеся первыми, смотрели на эту картину, ничего не понимая. Как могла вдруг измениться знакомая им до малейшего кустика местность? Везде оставались, правда, окопы, но как могло вырасти, по ту сторону их, это обширное свекловичное поле?.. Вон та деревушка, в лощине, еще вчера была словно мертвая, все ее хижины были стерты с лица земли, а теперь там стояли дома с белыми стенами и черепичными крышами и виднелась колокольня... Что случилось? И куда девалась „Артиллерийская траншея“? Дорога, замаскированная до того прикрытиями, снова показалась в полях...

А трава! Она покрывала все вокруг, вперемежку со злаками...

Часовой, машинально занявший, было, свое место у амбразуры, вышел вдруг из оцепенения и с удивлением осматривался, не смея еще верить тому, что он видел. Потом он испустил торжествующий крик и, как пьяный, прыгнул на бруствер.

— Конец войне! — завопили вокруг невидимые голоса.

Этот крик промчался по окопам, как трубный звук, как последняя команда: „Вольно! Оправься!“ Он прозвучал в блиндажах, понесся в обрушившиеся сапы — и с быстротою молнии поднялись, ему в ответ, и встали со всех сторон люди: без вести пропавшие, чьи могилы можно было узнать лишь по воткнутым в них штыкам; солдаты, раздавленные, во время сна, в их лисьих норах; раненые, сваленные в кучи позади перевязочных пунктов; бомбардиры, живьем засыпанные в их укреплениях, и многие, многие другие...

Отовсюду вставали человеческие фигуры. Грязные, с блуждавшими глазами, молодые пехотинцы в красных штанах и ветераны в касках выскакивали из своих ям, наполняли своими когортами обнаженные поля и,

насколько взгляд охватывал красную зону, повсюду в ней шло такое же движение, такая же толкотня прошедших когда-то по этим местам мундиров всех полков. С изумлением оглядывали друг друга призраки, напрасно отыскивая товарищей в рядах незнакомых им лиц. Откуда взялись все эти стрелки и кавалеристы, эти зуавы в хаки?.. Но удивление было недолгим. Какое значение имели теперь полки, мундиры и галуны?..

— Конец войне! — ревели тысячи глоток.

Леса зазеленели, а на лужайках послышалось свежее журчанье ручейков; на дорогах, по которым катились по ночам фургоны с продовольствием, зазвенели бороны и сохи, а воскресшие деревни смеялись под розовыми крышами. Кончено! Конец войне!

Но вдруг на равнине раздался треск снарядов. Все вздрогнули.

— Еще стреляют!

В призраках мгновенно проснулся старый воинский дух: одним прыжком они очутились в окопах и наполнили ходы сообщений.

Ни одного человека вокруг! Молчание. Испуганными глазами выслеживали солдаты неприятеля, искали дым выстрелов... Где же враг?

Но их страх был недолгим; радость жизни была в них сильнее... Если люди окопались здесь, то там, дальше, все новые и новые толпы подымались из земли.

В траншейных ходах извивались, как змеи, человеческие ленты,—бесконечные быстрые смены, без мешков и ружей. Пусть себе разрываются снаряды: никто не верит бо́льше в опасность; кончено: больше уже не убивают!

Какое это было молчаливое войско! Нельзя было даже уловить, как раньше, тяжелое дыхание людей, изнемогавших под бременем своей ноши: слышался лишь сухой стук множества костей, лязгавших на-ходу. Некоторые из призраков махали своими развевавшимися

рукавами, как длинными руками неведомых пугал. По мере того, как трупы оживали и в их пустых головах загоралась мысль, они принимали свой прежний вид: страшная улыбка их лиц затягивалась мускулами, показывались глаза в черных, как ямы, орбитах. Но, в то же время, каждый восставший из мертвых солдат сохранял свою рану: один — обожженный лоб, другой — развороченный живот, а третий, слепой, уцепился за руку одноногого зрячего, чтобы следовать за другими.

Мало-по-малу призраки поняли совершившееся с ними чудо, но оно не удивило их. Для них это не было воскресение: они просто уходили с полей войны.

Лишь на одну минуту испытали они безумную радость возвращения к жизни, несказанное счастье впивать в себя свет, ощущать на своих щеках свежий ветерок. Только на минуту, ибо почти тотчас же их начинал терзать страх.

— Что сделали с тех пор, как нас там нет, с тех пор, как мы умерли?..

Великая радость, разлитая повсюду в воздухе, — пение птиц, крики детей, шелест листьев — все это наполняло их сердца тоской. Они чувствовали, что их не ждали. Неужели это верно?

Один мертвец, вставая из гроба, смотрел на свою могилу без цветов, а другой — на свой крест без имени.

— А как там у меня?.. Моя жена?.. Мои малютки?..

И они бежали все быстрее, тоскуя и желая все узнать.

Некоторых из них, уже несколько лет, преследовали в земле страшные сны и мучила ненависть. И вдруг, как духи мести, они вырвались внезапно из подземных глубин.

Какой-то призрак со связанными руками, расстрелянный по приговору военного суда, вопил:

— Я был невинен! Что сделали с тем, кто поставил меня к столбу?

На краю одной воронки от снаряда спал уставший гробокопатель; он проснулся и, обливаясь от страха потом, смотрел на солдата, протягивавшего к нему руку без пальцев:

— Мое кольцо! Отдай мне мое кольцо!..

Повсюду, где только ни выскакивали наверх трупы, начиналась паника. Испуганные живые оказывались вдруг окруженными мертвецами.

Рабочие, раскапывавшие на кладбище могилы, заметив, что земля стала под ними шевелиться, побросали свои инструменты и убежали. Бузье пытался их остановить. Он удерживал их за полы, толкал снова к ямам и, бросаясь, как безумный, от ворот погоста к часовне, прыгал всей своей тяжестью на разверзавшиеся под ним гробы.

— Не выпускайте их! — вопил он отчаянным голосом. — Держите их!

Он перескакивал с одной могилы на другую, вдавливал одним ударом сапога обратно в почву выпиравшие из них холмики, утаптывал ногами землю вокруг крестов; но как только он отходил от какой-нибудь ямы, она принималась содрогаться, и из нее снова показывались скрюченные, готовые вцепиться в него руки.

— Не оставляйте меня! — кричал он своим людям.— Они хотят меня схватить!

С бледным, как мел, лицом и весь дрожа, он бегал то туда, то сюда, наталкиваясь повсюду на раскрывавшиеся перед ним ямы. Наконец, в него вонзились серые пальцы какого-то солдата, и он с воем покатился по полю, не переставая сопротивляться и упираясь кулаками в землю.

— Помогите! Ко мне! — завывал он.

Почва под ним колебалась, и он чувствовал, что там, в могильных рвах, рассыпалось во прах его богатство— все эти отрытые лопатами его рабочих мертвецы, все

эти сложенные кучами покойники, все эти купленные и проданные им трупы. Не было силы, которая могла бы их остановить. Один за другим, они неудержимо подымались наверх, сбрасывали свои тяжелые земляные саваны, и даже самые искалеченные из них вырывались наружу, разбивая раздробленными руками свои наскоро сколоченные гробы.

Бузье понял, что сопротивление бесполезно, и молча стал смотреть, как лезли из поглотившей их когда-то бездны убитые солдаты. Потом безумная улыбка растянула вдруг его черты, и, весь, запачканный землею, он вскочил с пеною у рта.

— Вы мои! — заревел он. — Я вас узнаю! Вот покойники с коммунального кладбища, вот — из равнины, вот — из траншеи!.. Вы не уйдете от меня! Я требую, чтобы мне уплатили!

Мертвецы окружили его, разглядывая своими, еще пустыми орбитами. Другие уже были на дороге, стремясь в беспорядке все вперед и вперед.

— Подождите меня! — взывал к ним подрядчик. — Пойдем вместе!..

И, сильно жестикулируя, он побежал за уходившими, чтобы стать во главе их серых отрядов.

— Шестьдесят франков штука! — орал он. — Я продаю их по шестьдесят франков!..

На их пути закрывались все двери. Жители убегали по задворкам. Вдруг сумасшедший пустился галопом, и тотчас же все призраки понеслись за ним по пятам. Но как он ни старался улизнуть на своих длинных ногах, почва уходила из-под него, а дорога упорно отступала назад. Как только он кидался на какую-нибудь боковую тропинку, выраставшие из земли трупы преграждали ему путь; они выходили из развалин, прибегали с полей, и все, безликие и неизвестные, бежали вслед за ним, жадно протягивая руки, чтобы его схва-

тить. Напрягши все свои силы, Бузье прыгнул вдруг на месте, но тут ноги под ним подломились, и он покатился... В ту же минуту вся толпа мертвецов сомкнулась над ним, и началось кровавое дело: поднятые кулаки и подбитые гвоздями сапоги бурно колотили и били по корчившемуся под ними человеку...

Восставшие из могил не узнавали, в своем беге, деревень, по которым они некогда проходили. Как все изменилось!.. Там, где раньше были расквартированы войска, не было ни одного солдата; на дверях амбаров—ни одного, написанного мелом, номера, на заборах — ни одной повешенной для просушки шинели. Походные кухни уехали, лавки были закрыты, а пушки прекратили пальбу.

Весть о приближении призраков опережала их, и население сел и городов словно вымирало. Люди убегали или запирались в своих домах.

Солдаты, издалека, могли видеть длинные ряды удиравших по шоссе телег и пешеходов.

„Мы внушаем им страх", — с грустью думали мертвецы.

Когда они неожиданно приходили в какую-нибудь деревушку, где ничего не знали, испуганные жители встречали их, щелкая от страха зубами, и бросались на колени, умоляя о пощаде. В других местах, напротив, к ним протягивали руки, плакали и смеялись вокруг них; содержатели кафе приносили им лучшее вино, а женщины, как в первые дни войны, прибегали с цветами и с корзинами фруктов.

Все удивляло ожившие трупы: и события, и вещи, и люди. Лавки были полны смуглыми покупателями, говорившими с разнообразными акцентами, и от оборванных арабов и болтливых итальянцев воскресшие солдаты узнали, что победоносной Франции удалось одолеть врага.

Вдруг наступила ночь. Дома стали вдруг слепыми, без единого огонька, как во тьме окопов, когда там происходила смена. Слышался лишь усталый топот шедших вперед батальонов, боязливые голоса и стук оружия. Никто не думал: тяжелое утомление сковывало единую душу страшного войска...

Потом, так же внезапно, все осветилось. Дорога превратилась в широкую улицу с высокими мачтами в честь 14-го июля [1]), с лампионами, цветными стаканчиками и бенгальскими огнями. Призраки вступали в Суассон. Военная музыка играла бравурный марш, и оглушенные им мертвецы медленно шли вперед, как бы боясь нарушить празднество... Но нет: в городе не было никакого торжества. Окна были закрыты, а улицы пустынны. Навстречу привидениям вышел только какой-то огромный, весь состоявший из живота, генерал, украшенный многочисленными орденами, в красных штанах до-военного времени и в непомерно высоком кепи, отделанном золотыми лавровыми ветками. Точно на параде, он поднялся на трибуну и закричал в рупор:

— Равнение направо!.. Трубите сбор!..

Ответом ему было молчание.

Тогда он стал читать длинную речь, текст которой, написанный на узком листе бумаги, бесконечно развертывался в его руках. Он приветствовал возвращение мертвецов и говорил им о дисциплине. Он сообщил им, что в казармах Шарпантье для них приготовлены квартиры и что все солдаты должны туда отправиться и в полном порядке демобилизоваться.

— Нет, мы не пойдем! — сказал, выступая из рядов, один пехотинец. — Война кончилась, и мы возвращаемся домой.

---

[1]) День французского национального праздника. *(Прим. ред.).*

В ту же минуту со всех сторон выскочили штабные офицеры, покрытые сверху до низу нашивками и лентами.

— Ступайте скорее в казармы, — начали они уговаривать солдат. — Если вы опоздаете на сборный пункт, вы будете наказаны...

Несколько призраков пустились бежать, не желая слушать начальство, но большинство покорно построилось в колонны. Вдруг на тротуарах появилась публика, чтобы посмотреть прохождение войск. Женщины, узнав своих мужей, пытались пробиться к ним со слезами на глазах, дети кричали „папа!", а старики семенили рядом с шедшими батальонами.

Все лавки наполнились вдруг народом. Первым призракам давали все даром, набивая их торбы разным товаром и наполняя их манерки вином и молоком. Но так как число их увеличивалось, их заставили скоро платить, потом удвоили и утроили цены, а под конец стали им кричать, чтобы они становились в очередь.

Начались ссоры и драки, зазвенели разбитые стекла, корзины полетели в канавы, одни покупатели бросились грабить кассы, а другие воющими толпами пустились в погоню за убегавшими торговцами, которых они настигали и избивали в темных улицах.

Со всех сторон раздался крик:

— Спасайся, кто может!

— Убивают! — вопили люди, удирая во все лопатки.

В то время, как разодетые по-праздничному семьи направлялись группами в казармы, шествие призраков двинулось по дороге в Париж.

Слух о том распространился быстрее, чем мчались беглецы: вся Франция уже узнала о чуде, и все трепетали — кто от надежды, кто от страха.

Каждый понял вдруг, что у него есть покойник, которому он обязан отчетом, покойник, ужасного взгляда

которого он не выдержал бы, если бы тот неожиданно вышел из своей ямы и спросил:

— Что ты сделал?

Каждый, кто обманывал, делал мерзости, воровал и предавал, чувствовал у себя на спине ледяной предсмертный пот при мысли, что его мертвец может вернуться.

Страх делал людей подлыми и они обвиняли друг друга. Жены с нечистой совестью ругались со своими сообщниками, разбогатевшие спекулянты устремились в церкви или толпились на вокзалах, с переполненными бумажниками, с драгоценностями в ручных мешках, а самые отвратительные из них укрепляли на украденных ими домах транспаранты с надписью:

Слава нашим дорогим мертвецам.

В закрытых наглухо казармах волновались заключенные в них солдаты.

— Отоприте! — кричали они, цепляясь за оконные решетки.

До их сведения дошло, что их товарищи всюду мстили за себя. Они узнали, что одни из призраков разбрелись по опустошенным департаментам, убивая торгашей и грабя бараки дельцов, наживавшихся на развалинах, а другие уже вернулись на родину, пробравшись с оружием в руках в поезда. Один мертвец, придя домой, нашел, что его жену и детей угнетает новый муж, и он зарезал его своим карманным ножом. В другом месте, где директор и надзиратели одного сиротского дома стали палачами детей, отцы последних, ворвавшись в эту каторжную тюрьму, истребили учителей. Еще дальше воскресшие покойники вешали уклонившихся от войны ловкачей и душили спекулянтов.

От этих рассказов возбуждение заключенных в казармах солдат быстро росло.

— Отоприте! — вопили они, потрясая решетки.

Они разобрали ружья и, прорвавшись, наконец, в громадный двор, кипели в нем бурной, взбунтовавшейся толпой.

Мужчины и женщины старались подпереть тяжелые ворота, другие, наоборот, пытались им помешать выпустить заключенных людей. Все толкали и терзали друг друга.

Вдруг послышался галоп кавалерии, и все исчезло: и толпа, и солдаты, и казарма...

Мертвецы шли, как говорили, по фландрской дороге, и взволнованные жители Парижа теснились во множестве у городских ворот, спеша навстречу загробному войску.

Первые показавшиеся вдали призраки, истерзанные и страшные, были моментально поглощены устремившимся к ним населением столицы. Тысячи рук подхватили их и понесли в триумфе, среди рыданий, стонов и радостных восклицаний. Все толкали друг друга, и каждый искал среди прибывших дорогих ему мертвецов.

Калеки, безногие и хромые, протягивали к ним руки:

— Помогите нам! Защитите нас!

А вдовы и матери, ставшие нищими, кричали в восторге:

— Все изменится! Они возвращаются!

Все понимали, что призраки несли с собой справедливость, Но, в то же время, этой справедливости боялись. Париж был охвачен неописуемой паникой, еще более ужасной, чем в худшие дни войны. На вокзалах происходили драки из-за мест в поездах, а у застав давили друг друга пешеходы, велосипедисты, автомобили и экипажи. Страх опустошал целые дома, окна которых, сверху донизу, наглухо запирались, придавая пустынным улицам такой вид, словно над городом стряслась катастрофа.

Те, которые не могли убежать, прятались друг у друга, все еще надеясь, что какая-нибудь сила отвратит от них нашествие мертвецов Дрожа от ужаса, они успокаивали друг друга:

— Правительство пошлет войска.

— Полиция на ногах.

А жалкие, утратившие свой пол мужчины, в стянутых рюмочкой пиджаках, шептали с брезгливой миной:

— Ах! опять война!.. Это мерзко!.. У них, значит, нет сердца?

С своей стороны, испуганные толстяки говорили, задыхаясь:

— А Германия? Что скажет Германия?

Притворявшиеся хромыми снова начали хромать; симулянты, которых заключение мира вылечило от их болезней, приняли снова вид страдальцев; проститутки извлекли свои черные вуали, а военные спекулянты, чувствуя надвигавшуюся опасность, поспешно приглашали в свои столовые изувеченных „крестников", которых, еще совсем недавно, они дальше кухни не пускали:

— Пожалуйста, приходите, но непременно в мундире.

Люди готовы были на все, лишь бы спасти свою шкуру. К драме примешивался фарс.

Раненых, которых раньше и видеть не хотели, срочно требовали в канцелярии, как и калек, которых еще накануне грубо гнали вон. Вдовам убитых удвоили их пенсии, а кавалерам военного ордена дали повышение.

— Пошлите ко мне слепого солдата, — умолял бегавший по улице банкир. — Я хочу иметь слепого компаньона!..

Все мысли были сосредоточены на том, как бы умиротворить свирепые призраки, вопли которых доносились вместе с северным ветром. За кого спрятаться?

где найти защиту? Демобилизованные вследствие ран солдаты неожиданно превратились в героев для тех, кто еще недавно не обращал на них внимания.

— Вы их знаете... Поговорите с ними... Умоляем вас, не оставляйте нас!..

Одни увеселительные места закрыли свои двери, а другие, наоборот, разукрасились флагами. Воинствующие политики, столь щедро проливавшие кровь своих ближних, кричали: „Долой бойню!"; люди, проповедывавшие классовую борьбу и войну на улицах, требовали, дрожа, Священного Союза, а бездарные и кровожадные военачальники, зря посылавшие свои полки на убой и в течение пяти лет неустанно поставлявшие живой материал для военных судов, восклицали громче всех:

— Да здравствуют мертвые! Да здравствуют мертвые!

Воровать уже больше не смели. Цены на продукты быстро упали, как и в августе 1914 года, когда, после грабежей во время мобилизации, купцы сделались вдруг осторожными.

Фабриканты, изготовлявшие плохие снаряды и обогащавшиеся на каждом наступлении; миллионеры и их любовницы, бежавшие из занятых германцами местностей и ждавшие, в течение пятидесяти месяцев, в Испании известия о том — называть ли им себя французами или немцами; спекулянты, предатели, дипломаты, для которых война была лишь задачей, требовавшей разрешения, и финансисты, для которых она была лишь биржевой игрой, — все они были полны страха. Для них пробил роковой час. Мертвецы в касках совещались и судили живых, как раньше живые судили их.

— Что вы сделали? — спрашивали призраки у прибежавших к ним товарищей. — Сдержали ли вы данные вами там, на войне, клятвы? Что вы изменили с тех пор, как вы, живые, вернулись домой?

Те, в смущении, опускали головы. Что могли они ответить?

Нет, они не сдержали слова... Может быть, они израсходовали в окопах слишком много мужества и на мирное время его уже не осталось.

Человек — трус: он идет на всякие сделки, он протягивает руку тому, кого поклялся бить по физиономии, он прощает того, кого должен был бы ненавидеть, он говорит себе: „К чему?" И забывает... Те, которые считали себя львами, превратились в вьючных животных, и жертвы войны молили о жалости, вместо того, чтобы требовать своих прав.

— Сделали ли вы что-нибудь для моей жены и ребятишек, чтобы они не подыхали с голоду? — кричал солдат из запаса, с жесткой, как щетина, седой бородой.

— Да, — был ответ: — то же, что и для других: семнадцать су на каждого ребенка.

— А сколько спекулянтов на каторге? Сколько осудили вы предателей?

Ответчики молчали: могли ли они сказать, что ни один не был наказан?..

— А расстрелявший меня генерал? — взывал казненный со связанными назади руками. — Где его могила?

Разве можно было ему сознаться, что его превосходительство пользуется всеми благами жизни и почетом?

А обещанное призракам великое наказание, а месть народов, которая должна, на долгие века, удерживать вождей человеческих масс от новых боен,—выполнено ли все это? Покарали ли виновных после того, как невинные были принесены в жертву? Разысканы ли они, где бы они ни находились и кто бы они ни были, без национальной страсти, без ненависти, а просто из чувства справедливости? Увы! В замке с аллеями из тюльпанов низложенный император развлекался грезами о своей предстоявшей свадьбе.

Им обещали, что это будет последняя война. Ложь... Им говорили, что угнетенные народы будут свободны. Ложь!.. Их уверяли, что неправедно захваченное будет отнято у воров, что неспособные правители и безжалостные начальники будут наказаны. Ложь, все ложь!..

— Значит, вы ничего не изменили, и мы умерли зря?

Значит, война пошла на пользу только богачам; значит, единственная, созданная ею аристократия, это — денежная; значит, мирные договоры толковали лишь о деньгах? Другие народы, обеспечив свои выгоды, вернулись во-свояси, оставив нас среди наших развалин? В большую долговую книгу не забыли внести решительно все, до последней коробки мясных консервов, но не засчитали он одной капли крови? Жизнь отдают просто, без записи, а уголь продают на вес?

Что было сделано на другой день после резни, когда страны, устав от ненависти и убийства, положили оружие? Что было сделано для успокоения взбудораженной земли? Ничего... Мир, утвержденный на миллионах трупов, носит в себе зародыш будущих гекатомб, и, рано или поздно, покорные народы, чтобы заплатить за ошибки своих учителей, должны будут снова протянуть свое горло резнику. Еще не успели убрать всех мертвых в полях, а уже по Европе снова несется лязг оружия.

— О! дайте нам только вернуться! — грозили и клялись в окопах солдаты.

Они вернулись и ничего не сделали. И вот почему поднялись из своих могил мертвецы.

В палате депутатов, среди неописуемого шума, шло второй день заседание. Сознание, что они собрались все вместе для встречи мертвецов, — успокоивало народных представителей.

Какое смешное заседание! Голосовали законы, не обсуждая их, и отпускали миллионы, не считая. А ночь на 4-ое августа была еще смешнее, когда депутаты начали щедро раздавать то, чего они не могли уже уберечь.

На местах для публики слышались угрозы, калеки потрясали там своими костылями. Жак, вместе с Дидье Роже, взгромоздился на железную перекладину и указывал пальцем на опоясанного шарфом Лабаду, который страшно волновался, стоя на ораторской трибуне.

В огромном и обширном, как велодром, зале его голос терялся. Все депутаты хотели говорить одновременно.

— Я требую слова! Я первый! — кричали они.

А внизу лестницы представители народа почти дрались. Каждый хотел дать побольше, придумать что-нибудь получше, изобрести такой неслыханный дар, которой мог бы умиротворить приближавшиеся призраки.

Все то, что этим кузнецам законов представлялось в течение многих лет справедливым, показалось им вдруг беззаконным. Они мычали от негодования при упоминании об ими же назначенных смехотворных пенсиях. Некоторые даже плакали от такой несправедливости.

— Отравленные газами умирают без всякого ухода!— надрывался толстяк с короткими руками, прикованный тучностью к своему парламентскому креслу.

— Сироты не получают и двадцати су в день!—ревел бывший министр. — Нация оставляет своих питомцев в нищете!..

Депутаты испускали крики изумления, словно все происходившее было для них откровением. Воздух дрожал от шиканья. Необходимо было кем-нибудь пожертвовать, чтобы спасти других, и все накинулись на министров. Им угрожали кулаками.

— Негодяи! — неслось со всех сторон.

Депутаты, участники войны, ушедшие в поход, громя существующий строй, и немедленно вернувшиеся к вос-

хвалению его, как только они были избраны в палату, обрели свой прежний воинственный пыл. Страх сблизил все партии. Чтобы успокоить гнев призраков, они отдали им весь бюджет и увеличили в десять раз пенсии вдов, престарелых родителей, раненых и больных.

— Три тысячи франков в год сироте! — предлагал один оратор.

— Пять тысяч! — надбавлял другой, прыгая перед трибуной.

— Десять тысяч! Десять тысяч! — выл охваченный горячкою зал.

Без передышки, они утверждали один за другим законопроекты, лежавшие под сукном со дня выборов, так как депутаты все еще не удосужились их обсудить. Постановили предоставить службу инвалидам, уволить в отставку еще остававшихся под ружьем солдат, повысить вознаграждение за увечья и заклеймить военно-полевые суды.

— Всех героев в Пантеон! — бушевали некоторые.

— Выстроить Триумфальную Аллею! Сплошь мраморные могилы! — взывал какой-то старик, сложив рупором руки.

— Никаких налогов на участников войны!

— Не сажать их в тюрьму!

— Все должны быть богаты!

Предложения скрещивались, как бросаемые со всех сторон камни. Какой-то министр, стоя на своем месте, размахивал, с видом отчаяния, бумагами. От этого каскада миллиардов у него кружилась голова. Кровь застилала ему глаза; он задыхался, тщетно стараясь образумить депутатов.

— Невозможно, — стонал он, — у нас нет денег!

Буря криков и свистков заставила его замолчать. Отталкивая приставов, толпа бросилась к нему.

— Заставьте богатых вернуть награбленное ими! — кричал какой-то промышленник с бледным лицом.

— Ваши жены усыпаны брильянтами! — грозно гремел какой-то банкир, стоя в амфитеатре.

— Арестуйте спекулянтов!

— Конфискуйте незаконные доходы!..

Министр, все еще пытаясь оправдаться, громко шипел:

— Невозможно! Ведь вы голосовали амнистию!..

На этот раз поднялась вся палата:

— Го! Го! Он защищает спекулянтов!..

— Вор! — орал банкир, которого обхватил сзади обеими руками пристав.

Несмотря на крики и гул, слышно было, как на улице становилось все шумнее.

— Мертвецы! Мертвецы! — восклицала толпа.

Призраки приближались, и вокруг трибуны началась форменная драка.

— Я должен их принять! — визжал толстяк, которого кто-то тузил кулаками.

— Нет, я!..

— Нет, я!..

Их было человек десять; все они, стоя наверху, говорили одновременно, между тем как другие, стиснутые и сдавленные, локтями пробивали себе дорогу на лестнице. То был момент, когда все пошли на последние уступки, широко раскрыв свои карманы.

— Если не хватает денег, мы дадим!..

— Да! да!.. мы слишком много зарабатываем! — подтвердило, стоя, все собрание.

— Будем получать попрежнему пятнадцать тысяч!..

— Нет, двенадцать!.. Девять тысяч!..

Каждая цифра вызывала шиканье, и суммы все уменьшались.

— Две тысячи! — бушевал, лоснясь от пота, какой-то банкир. — Слепые получают не больше!..

Шум на улице все возрастал. Слышался топот толпы, звучали выстрелы, неслись резкие крики.

— Под суд министров! — завопили депутаты, скатываясь со своих скамей.

— И генералов туда же! — требовали другие.

— Всех под суд! Всех!

Депутаты трепыхались, как расхлябанные петрушки; все они были похожи друг на друга, с одинаково смешными животами и с одинаково бледными щеками. Из коридоров уже доносился шум стычек... Двери, под напором толпы, медленно поддавались...

Вдруг раздался выстрел, и почти сейчас прегремел залп двухсот ружей. Жак, выпустив из рук железную перекладину, покатился в пустоту . . . . . .

. . . . . .

Он вскочил, наполовину приподнялся и проснулся, весь покрытый потом, в своей разбросанной постели. День, просвечивая сквозь окна, оживлял синие цветы на кретонных гардинах. Слышалось воркование дикого голубя.

Жак дал успокоиться своему бурно колотившемуся сердцу и, подперев еще влажною рукою щеку, широко раскрыл глаза и сидел, размышляя.

Он все еще чувствовал волнение при воспоминании о вчерашнем призраке. Мысленно, он опять увидел, стоявшее в аллее и казавшееся таким бледным, привидение в каске. Боже, как он испугался!..

Даже победив свой ужас и уже поговорив с солдатом, кричавшим им из сада (то был шофер какого-то генерала, сбившийся с пути и просивший указать ему дорогу), он долго еще не мог прийти в себя и очнулся лишь тогда, когда увидел, что Елена билась в нервном припадке. Она так кричала, что сбежались соседи. Тяжелая сцена разыгралась в темной комнате, где люди ощупью искали лампу в то время, как молодая

женщина, все опрокидывая и судорожно цепляясь за мебель, извивалась на полу.

Оставшись вдвоем, они не говорили друг с другом. Все еще дрожа, они молча легли в кровать. Елена еще долго плакала, а Ле-Водуайе, прежде чем ему удалось заснуть, считал до полуночи бой часов.

Неудивительно, что после такого вечера у него был этот чудовищный кошмар.

Когда голова у Жака прояснилась, он старался припомнить до мелочей свой страшный сон, связать между собой разрозненные факты, и чем больше он думал об этом, тем больше ему казалось, что его ночное видение — лишь сверхъественная развязка его дум.

Сон, который он все время видел наяву, продолжался и тогда, когда он спал. Его опасения, надежды и страдания, — все это завершилось в ночном сновидении.

Закрыв глаза, Жак стал собираться с мыслями. Его душа стала свободной и чувствительной, как если бы она избавилась от цепей своего тела. Она прислушивалась к разговору других душ...

Разве это был только сон? Разве только призраками лихорадочной ночи были все эти воскресшие мертвецы, или их несчастные тени, вырвавшиеся из небытия, чтобы предстать ему в том виде, в каком они вышли, в его кошмаре, из недр взбудораженной земли? Они еще стояли пред ним, — угрюмые и страшные, — требуя любви и возмездия. Неужели живущие никогда не исполнят последней воли умерших?

Долго оставался он неподвижен, словно снова заснул. Он думал... думал...

В комнате стало светло. Жак, наконец, поднялся. Он принял твердое решение. Как можно тише, он соскользнул с кровати. Елена, не проснувшись, повернулась к стене, что-то бормоча.

Одевшись, молодой человек еще раз окинул взглядом комнату и спавшую в ней женщину. Он увидел ее круглое обнаженное плечо и волны рассыпавшихся волос. На стуле лежало ее летнее платье, которое ему так нравилось. Невольно он почувствовал, как под веками у него что-то зацарапало. Тогда он бесшумно запер дверь и вышел.

Этот дом не принадлежал ему больше. Где он устроится? Выкупит ли он его позднее? Может быть! Там видно будет...

Прислуга подметала полы.

— Скажите барыне, что мне нужно было отправиться в Маруваль и что я не хотел ее будить. Пусть не ждет меня и уезжает с тем поездом, с каким она обыкновенно ездит.

Когда он проходил через сад, ноги его были налиты словно свинцом; перед садовой решеткой он еще раз спросил себя — твердо ли его решение. И в ту же минуту пошел дальше...

Не успел он сделать несколько шагов по дороге, как ему показалось, что он вырвался из-под чар чьей-то страшной власти. Легкий утренний воздух был пропитан благоуханием сирени, и Жак глубоко вбирал в себя ее аромат. Уже давно молодой человек не был в таком настроении.

Он стал взбираться по крутой тропинке, ведущей к „Дороге виноградарей“, и, не задыхаясь, поднялся по ней. Сверху видны были сады и возрождавшиеся плодовые питомники. Он ласкал их взглядом, и они представлялись его взору мягкими, словно кошачья шерсть. Он узнал розовые черепицы на доме учительницы, потом растрепанную крышу Каниве и, наконец, свой особняк, обезумевший флюгер которого жадно искал ветра.

Долго смотрел он туда. В горле у него словно застрял клубок.

„Кончено“, — думал он.

И слово это звучало в нем, как в пустой комнате.

С секунду казалось, что он передумает.

„Может быть, мне следовало бы написать ей... Объяснить и, по крайней мере...“

Но он тотчас же спохватился.

„Нет, хорошо и так. Я напишу ей в Париж“.

Горькая улыбка появилась у него на губах.

„О, она скоро утешится, — сказал он себе. — Она умеет забывать...“

Чтобы не поддаться меланхолии, снова собиравшейся завладеть им, он быстро повернулся спиною к пейзажу и продолжал свой путь. Все окопы на его пути уже были засыпаны, и на уровне земли оставались лишь розовые или меловые борозды, в зависимости от характера почвы. Огромные круги колючей проволоки лежали по краям тропинки, и птички, забравшись туда, распевали в них, как в кустах ежевики.

Чем дальше от Кресси, тем меньше становилось развалин. С „Дороги виноградарей“ их уже совсем нельзя было различить: они терялись среди множества домов с новыми крышами.

— Это я выстроил их, — с гордостью прошептал Жак, стоя на краю равнины.

Щуря глаза от восходившего солнца, он смотрел на разбросанные под ним жилища, напоминавшие ему о проведенных за работою, в холодном бараке вечерах, о ссорах на постройках, о беспокойствах и хлопотах. И все-таки он осуществил свою мечту, ибо вот оно, его творение!

С крыш тянулся кверху пахнувший горелым деревом дым. Кузнец, насвистывая, трудился на пороге своей мастерской. На „Горе“ виднелся воз, нагруженный каменными плитами. Всюду возвышались леса. Сады опять вошли в свои границы, и на казавшихся мертвыми стволах росли новые побеги.

Какое он выполнил дело с того февральского дня, когда, окоченев от стужи, он высадился из поезда в этой стране развалин!

Елена, должно быть, уже встала. Теперь, вне себя от ярости, она одевается. Несомненно, она все поняла, увидев, что он ушел. Не лучше ли было бы положить всему конец после личного с ней объяснения?

Молодой человек в нерешительности задавал себе этот вопрос. Если он поторопится, то, пожалуй, еще попадет к себе домой до того, как Елена уедет. Не пойти ли ему туда?

Но он удержался. К чему все эти разговоры? Ведь, он хорошо знал, что не мог ее больше любить. Над их отношениями отныне поставлен крест.

Сломав ударом своей толстой палки какой-то стебель, Жак решительно продолжал свой путь.

Подойдя к „Белому дому", стоявшему на вершине косогора, он обратил внимание на приколоченную к столбу мраморную доску. Ему уже говорили об этой надписи, которую велел выгравировать домовладелец, отставной судья.

Приблизившись, Жак прочитал:

Белый дом.
Построен в 1728 году.
Разграблен пруссаками в 1815 году.
Сожжен русскими в 1816 году.
Отстроен в 1835 году.
Разграблен и сожжен баварцами в 1870 году.
Отстроен в 1877 году.
Разграблен и уничтожен до-тла немцами в 1916 году.
Отстроен в 1920 году.

Жак медленно прочитал все написанное, перевел взор на городок, столько раз потерпевший разорение и у него вырвался жест отчаяния.

Итак, вечным будет закон, по которому хищные и смелые народы будут нападать на менее сильные? Итак, до скончания времен люди будут только и делать, что истреблять друг друга? Неужели, кроме убийства, они никогда не найдут лучшего применения для своего высокого стремления к риску и самопожертвованию, для своего божественного порыва отдавать все?.. Неужели, если их останется на земном шаре всего только двое, неужели и тогда они всадят рогатины друг другу в живот?

В глубоком унынии смотрел архитектор на лежавшую перед ним проклятую страну, где столько веков одни и те же народы проливали свою кровь... Но вот его взгляд скользнул по кладбищу, вернулся к городу, и молодой человек выпрямился. В нем воскресла вдруг его вера. Ему показалось, что все эти блестящие стены являются как бы ответом черным крестам. Здесь рыли рвы, это правда, но здесь наводили также крыши. Да, человек убивает, но он же и создает. Он свиреп, себялюбив и жаден, но он же изобретает, работает и строит...

А если так, то можно ли сомневаться в том, что настанет царство счастья? Ну, конечно, это время придет! Оно должно прийти.

Сидя на краю откоса, Жак с гордостью смотрел на городок, еще подернутый дымкой утреннего тумана, тот городок, который он сотворил и вызвал к жизни.

Ему показалось странным, что вместо страдания, которое он должен был бы испытывать, он ощущал в себе столько спокойного счастья. Не во сне ли обрел он тайну внутреннего мира: не иметь никаких обязательств по отношению к живущим и не бояться мертвых... И, погрузившись в грезы, он искал глазами розовую кровлю среди множества теснившихся на горизонте крыш.

В этот момент с берегов Эны послышался свисток, и Жак инстинктивно вскочил на ноги. Поезд... Раскрыв рот, молодой человек пристально смотрел, разыскивая полотно железной дороги. Прошла минута, и на повороте показалась цепь вагончиков, казавшихся издали игрушками. Они заметно замедляли ход, потом остановились...

Скрестив руки на своей толстой палке, Жак стоял с обнаженной головой и не шевелился. Всеми своими напряженными чувствами он смотрел вдаль, словно пытался различить на станционной платформе силуэт в летнем полосатом платье, скрытый под дождевым плащом.

Глаза его стали влажными, и он почувствовал, что губы его дрожат.

— Елена, — прошептал он.

Но он жалел уже не о ней: ему было жаль всего своего прошлого, всех мечтаний, которым они предавались вдвоем, своей ушедшей молодости.

Ветер не донес до него свистка паровоза, и поезд беззвучно тронулся с места.

Жак смотрел, как он удалялся, словно корабль в море. С минуту можно было следить за ним глазами, потом он скрылся за холмом и показался уже гораздо дальше, убегая по полям. Он становился все меньше и меньше...

Скоро можно было различать только небольшой дымок, трепетавший, словно носовой платок, на горизонте.

— Прощай, прощай! — говорил этот белый дымок.

И Жак, с высоты холма, отвечал ему, махая рукою:

— Прощай! Прощай!

42

ОБЪЕДИНЕННАЯ БИБЛИОТЕКА И. К. П.